РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2 Том 48, № 2, апрель – июнь 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ. КАМЕННЫЙ ВЕК

Медведев В.Е., Филатова И.В. Междисциплинарные исследования материалов поселения Сучу (1973 год, раскоп II, жилище 1) 3
Моргунова Н.Л. Произведение первобытного искусства из погребения у поселка Пушкинского в Оренбургской области 14

ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА

Гасымов П.П. Проблема культурной идентификации подкурганных склепов раннего бронзового века на территории Азербайджанской Республики 22
Кореневский С.Н., Юдин А.И. Две редкие находки с поселений майкопско-новосвободненской общности в Причерноморье 29
Хохлова О.С., Наглер А.О. Курган Марфа в Ставропольском крае – пример древнего архитектурного сооружения 38
Чечушков И.В., Овсянников А.А., Усманова Э.Р. К вопросу о времени начала использования желобчатых псалиев и возникновения всадничества (по материалам могильника Новоильиновский II в Северном Казахстане) 49
Гнездилова И.С., Нестеркина А.Л., Соловьева Е.А., Соловьев А.И. Деревянные конструкции в погребениях эпохи палеометалла на Японских островах и Корейском полуострове 59
Малышев А.А., Батченко В.С. Фронтир на юго-востоке Синдики: по материалам Раевского городища 69
Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Полихромный стиль на Мангышлаке (Республика Казахстан) 80
Руденко К.А., Бауло А.В. Металлические изделия из ранее неизвестного могильника в бассейне реки Северная Сосьва (север Западной Сибири) 89

ЭТНОГРАФИЯ

Беляев Л.А., Чехановец Я. Этноархеология русских в Сиро-Палестинском регионе. XVIII–XIX века 97
Бадмаев А.А. Традиционные представления бурят о птицах 106
Рыблова М.А. Предметные символы девушки-невесты в донской казачьей свадьбе 114
Маликов А.М. Празднование Навруза в Бухаре и Самарканде в ритуальной практике и общественных дискурсах (вторая половина XIX – начало XX века) 122
Балюнов И.В. Архитектурно-археологические исследования на территории Тобольского кремля в 1950-х годах (по фотодокументам Тобольского музея-заповедника) 130

АНТРОПОЛОГИЯ И ПАЛЕОГЕНЕТИКА

Перерва Е.В., Березина Н.Я., Кривошеев М.В. Трепанации савромато-сарматского времени по материалам с территории Нижнего Поволжья 140
Зубова А.В., Пихур О.Л., Ободовский А.В., Малютина А.А., Дмитренко Л.М., Чугунова К.С., Поздняков Д.В., Бессонов В.Б. Случай хирургического удаления нижних третьих моляров в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина) 149

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 157
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 158

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
SIBERIAN BRANCH

ACADEMIC JOURNAL

ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF EURASIA

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2 Volume 48, No. 2, April – June 2020

CONTENTS

PALEOENVIRONMENT. THE STONE AGE

V.E. Medvedev and I.V. Filatova. A Multidisciplinary Study of Finds from Suchu Island (1973 Season, Excavation II, Dwelling 1) 3
N.L. Morgunova. A Zoomorphic Antler Staff from an Early Neolithic Burial at Pushkinsky, the Orenburg Region 14

THE METAL AGES AND MEDIEVAL PERIOD

P.P. Gasymov. Cultural Attribution of Early Bronze Age Tombs Under Kurgans in Azerbaijan 22
S.N. Korenevskiy and A.I. Yudin. Two Rare Finds from the Maikop-Novosvobodnaya Sites in the Black Sea Region 29
O.S. Khokhlova and A.O. Nagler. The Marfa Kurgan in the Stavropol Territory: An Example of an Ancient Architectural Structure 38
I.V. Chechushkov, A.A. Ovsyannikov, and E.R. Usmanova. On the Earliest Use of Plate-Formed Cheekpieces and the Emergence of Horse Riding (Based on Finds from the Novoilyinovskiy II Cemetery in Northern Kazakhstan) 49
I.S. Gnezdilova, A.L. Nesterkina, E.A. Solovyeva, and A.I. Solovyev. Wooden Constructions in Bronze and Iron Age Burials in Japan and Korea 59
A.A. Malyshev and V.S. Batchenko. The Southeastern Sindica Frontier: The Raevskoye Fortified Settlement 69
A.E. Astafyev and E.S. Bogdanov. Polychrome Style in Mangystau, Kazakhstan 80
K.A. Rudenko and A.V. Baulo. Metal Artifacts from a Newly Discovered Cemetery in the Severnaya Sosva Basin, Northwestern Siberia 89

ETHNOLOGY

L.A. Belyaev and Y. Tchekhanovets. The Ethnoarchaeology of Russians in the Syro-Palestinian Region (18th–19th Centuries) 97
A.A. Badmaev. Traditional Buryat Beliefs About Birds 106
M.A. Ryblova. Bridal Symbols in the Don Cossack Wedding 114
A.M. Malikov. Celebration of Nowruz in Bukhara and Samarkand in Ritual Practice and Social Discourses (the Second Half of the 19th to Early 20th Centuries) 122
I.V. Balyunov. Architectural and Archaeological Studies in the Tobolsk Kremlin During the 1950s (Based on Photographic Documents at the Tobolsk Museum-Reserve) 130

ANTHROPOLOGY AND PALEOGENETICS

E.V. Pererva, N.Y. Berezina, and M.V. Krivosheev. Trepanations in Sauromato-Sarmatian Crania from the Lower Volga 140
A.V. Zubova, O.L. Pikhur, A.V. Obodovskiy, A.A. Malyutina, L.M. Dmitrenko, K.S. Chugunova, D.V. Pozdnyakov, and V.B. Bessonov. A Case of Surgical Extraction of the Lower Third Molars in a Cranial Series from the Pucará de Tilcara Fortress (Jujuy Province, Argentina) 149

ABBREVIATIONS 157
CONTRIBUTORS 158

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.003-013
УДК 903.2 + 903-03 + 903.21

В.Е. Медведев[1], И.В. Филатова[2]
[1]Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: medvedev@archaeology.nsc.ru
[2]Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет
ул. Кирова, 17, кор. 2, Комсомольск-на-Амуре, 681000, Россия
E-mail: inga-ph@mail.ru

Междисциплинарные исследования материалов поселения Сучу (1973 год, раскоп II, жилище 1)

Представлены результаты исследования практически не освещенных ранее в печати материалов неолитического жилища 1 в раскопе II поселения на амурском о-ве Сучу: изделия из камня и керамики в количестве 3 788 экз., а также полевая документация, хранящиеся в настоящее время в фондах ИАЭТ СО РАН. Статья является продолжением публикуемых в журнале результатов раскопок этого памятника – одного из наиболее ценных объектов археологии Северо-Восточной Азии. Исследуемое жилище 1 – полуземляночное округлое в плане сооружение, углубленное в супесь на 0,8 м. В центре его располагался очаг, уступы-«нары» вдоль стен отсутствовали. В полу зафиксированы многочисленные ямы от столбов, служивших опорами для кровли жилища. Археологический материал изучен с помощью различных методов: стратиграфии и планиграфии, петрографии и морфотипологии, бинокулярной микроскопии и рентгенографии, культурной хронологии. В каменном инвентаре имеются орудия охоты, рыбной ловли, а также переработки добытой дичи и рыбы, инструментарий для обработки камня, дерева, кости, комплект изделий, связанных с обработкой продуктов собирательства, землеройными занятиями. Использовались разнообразные породы осадочного и вулканического происхождения. Культурно-хронологический анализ свидетельствует о принадлежности бытовой керамики носителям нижнеамурских – малышевской и вознесеновской – культур, а также мигрантам с внешних территорий. Выявлены основные технологические, конструктивные, морфологические, декоративные и функциональные признаки каждого керамического комплекса. Уникальные предметы искусства, культа, располагавшиеся компактно в жилище 1 малышевской культуры конца V – начала IV тыс. до н.э., позволяют говорить о существовании в нем «домашнего» святилища.

Ключевые слова: *Сучу, неолит, культура, жилище, инвентарь, анализ.*

V.E. Medvedev[1] and I.V. Filatova[2]
[1]Institute of Archaeology and Ethnography,
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Pr. Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090, Russia
E-mail: medvedev@archaeology.nsc.ru
[2]Amur State University for Humanities and Pedagogy,
Kirova 17, bldg. 2, Komsomolsk-on-Amur, 681000, Russia
E-mail: inga-ph@mail.ru

A Multidisciplinary Study of Finds from Suchu Island (1973 Season, Excavation II, Dwelling 1)

We analyze new finds from a Neolithic dwelling 1 in excavation II at the Suchu Island, on the Amur—3788 lithics and ceramics. We also use field records housed at the Institute of Archaeology and Ethnography of SB RAS. The article continues the series of publications in this journal, outlining the findings at Suchu—one of the key Neolithic sites in Northeast Asia. Dwelling 1 is a 0.8-meter-deep round semi-underground structure dug into the sandy loam. In its center, there was a hearth, and walls were without ledges. On the floor, numerous pits left from pillars that had supported the roof were found. The stratigraphic and planigraphic position of finds was registered; artifacts were studied through approaches such as morphological typology, cultural chronology, petrographic and

© Медведев В.Е., Филатова И.В., 2020

x-ray analysis, and binocular microscopy. Lithics include hunting and fishing tools, those for processing wild game, fish, and wild plants, those for stone, wood, and bone working; and those for digging. Various sedimentary and igneous rocks were used as raw material. In terms of cultural chronology, standard pottery was mostly attributed to the Lower Amur cultures, such as Malyshevo and Voznesenovskoye, and some was apparently manufactured by immigrants. Principal technological, constructive, morphological, decorative, and functional characteristics of each ceramic type were assessed. Unusual artistic and ritual items clustered in dwelling 1 of the Malyshevo type (late 5th to early 4th millennia) are suggestive of a domestic shrine.

Keywords: *Suchu, Neolithic, culture, dwelling, tools, analysis.*

Введение

Данная статья является продолжением серии публикаций, посвященных результатам исследований в 1970-х гг. поселения на о-ве Сучу в низовьях Амура – одного из важнейших поселенческих памятников Северо-Восточной Азии [Медведев, Филатова, 2016, 2017, 2018, 2019]. Стационарные исследования на Сучу были начаты в 1972 г. в юго-восточной оконечности острова. В 1973 г. работы в раскопе I продолжились [Медведев, Филатова, 2016] и к юго-западу от него был заложен раскоп II на месте жилищной западины диаметром 9 м, юго-восточная часть которой была разрушена оврагом [Окладников, 1973; Деревянко, Медведев, 1996]*.

Первоначальные размеры раскопа II 9 × 9 м (в него частично вошел разрушенный оврагом участок без находок). В дальнейшем по ходу работ были сделаны две прирезки с юго-западной (16 м^2) и северо-восточной (7,5 м^2) сторон. Раскоп был размечен на квадраты (1 × 1 м). Длинными сторонами он ориентирован по линии ЮЗ – СВ (цифровые обозначения 2–12), короткими – ЮВ – СЗ (буквенные обозначения А–К). Были оставлены две бровки по линиям 5 и Г, еще одна (по линии 1) сохранялась в ходе прирезки (литологически она в целом не отличалась от бровки по линии 5). Культурный слой – весь вскрытый грунт от дерна до материка на полу жилища – для удобства фиксации находок на послойных планах (рис. 1, *А–Г*) разделили на три условных горизонта. В раскопе был получен рассматриваемый ниже вещественный материал в общем количестве 3 788 экз.

Материалы и методы исследования

Материалами для исследования послужили главным образом археологическая коллекция (каменный инвентарь, керамика, предметы искусства, культа) и полевая документация (чертежи, частично дневники и отчет), хранящиеся в фондах ИАЭТ СО РАН. Вещественный материал изучался с помощью различных методов: стратиграфии и планиграфии (жилище 1), петрографии и морфотипологии (каменный инвентарь), бинокулярной микроскопии и рентгенографии (керамика), культурной хронологии (керамика, предметы искусства и культа). Петрографическое исследование с целью определения пород камня проводилось на оптическом поляризационном микроскопе AXio Imager A2m канд. геол.-мин. наук Н.В. Бердниковым, руководителем лаборатории физико-химических методов исследования Института тектоники и геофизики ДВО РАН (г. Хабаровск). Методическую основу морфотипологического анализа каменного инвентаря составили разработки российских ученых [Деревянко, Маркин, Васильев, 1994]. Керамика исследовалась с помощью бинокулярного микроскопа МК-10. Рентгенофазовый анализ выполнен на рентгеновском дифрактометре Rigaku MiniFlex II ($Cu_{K\alpha}$-излучение, Ni-фильтр; скорость сканирования 2 град/мин; диапазон сканирования 2θ: 6–90°) старшим научным сотрудником Института тектоники и геофизики ДВО РАН канд. физ-мат. наук И.А. Астаповым.

Результаты исследования

Стратиграфия (рис. 1, *Д, Е*). Под дерновым слоем мощностью от 12 до 40 см располагался пласт желтой рыхлой супеси (30–35 см) – верхняя часть заполнения котлована. У северо-восточного края бровки по линии Г (между пикетами 9–11) желтая супесь налегала на стенку жилища 1 и достигала его пола. Основное заполнение жилищного котлована – слой темной плотной супеси мощностью от 8 до 50 см. У юго-западного края бровки по линии Г (между пикетами 1–3) его подстилал супесчаный грунт темного, почти черного цвета с примесью угольков. Возможно, это следы кровли жилого строения, обрушившейся внутрь конструкции. Между пикетами 8–9 (в основании слоя желтой супеси) и 4–6 (в основании слоя темной супеси) располагались линзы прокаленной почвы, насыщенной углем. В последнем случае прокаленный грунт – заполнение очага жилища. Материк представлял собой супесь.

*В раскопках жилища 1 принимали участие сотрудники ИИФФ СО АН СССР А.П. Окладников (начальник Северо-Азиатской экспедиции), В.Е. Медведев (начальник отряда), И.В. Асеев, Ю.В. Гричан, В.Д. Кубарев, В.П. Мыльников и семь студентов Хабаровского пединститута.

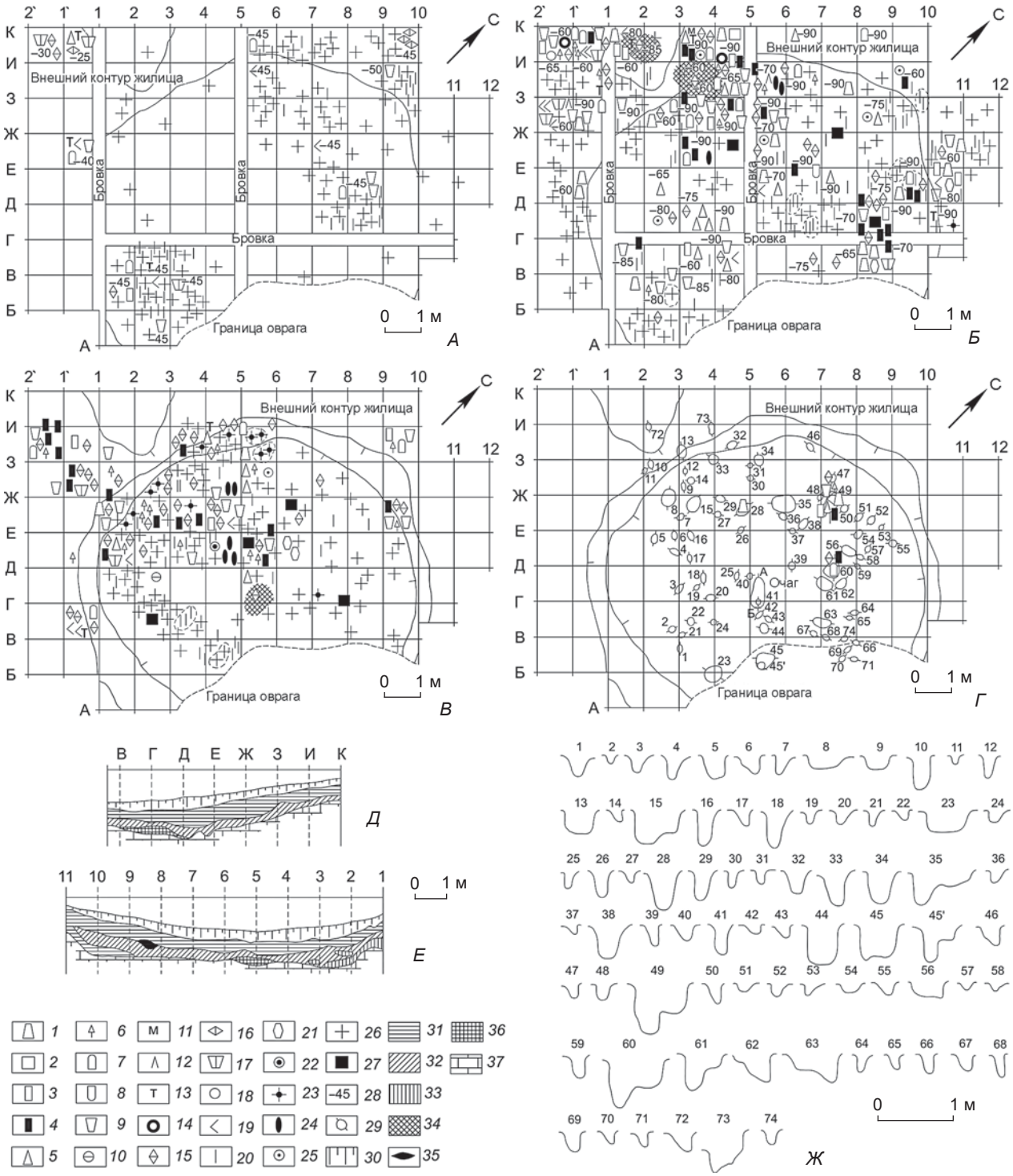

Рис. 1. Планы раскопа II (1973 г.) на уровнях верхнего слоя (*А*), заполнения (*Б*) и пола (*В*) жилища 1, материка (*Г*); разрезы бровок по линиям 5 (*Д*) и Г (*Е*), ям (*Ж*).

1 – тесло; *2* – топор; *3* – нож; *4* – ножевидная пластинка; *5* – наконечник стрелы, дротика; *6* – проколка; *7* – скребок; *8* – скребло; *9* – комбинированное орудие; *10* – грузило; *11* – мотыга; 12 – лощило; *13* – точило; *14* – булава; *15* – заготовка орудия; *16* – обломок орудия; *17* – нуклеус; *18* – отбойник, отжимник; *19* – нуклевидный скол; *20* – отщеп; *21* – изделие из камня; *22* – галька с отверстием; *23* – глиняная скульптурка, поделка; *24* – керамический стерженек; *25* – пряслице; *26* – керамика; *27* – сосуд (развал); *28* – глубина от современной дневной поверхности; *29* – яма; *30* – дерн; *31* – желтая рыхлая супесь; *32* – темная плотная супесь; *33* – темная супесь с угольками; *34* – охристое пятно; *35* – прокаленная почва, насыщенная углем; *36* – углистый слой; *37* – материк.

Жилище 1 (рис. 1, *Г*, *Е*). Котлован-основание округлой формы (диаметр по линии С – Ю 8,8 м, по линии В – З 9,5 м). Его общая площадь ок. 70 м^2, пола жилища – 55 м^2 . Вырыт котлован в материке на глубину до 80 см; наибольшая глубина от современной поверхности составляет 120 см. Стенки сравнительно крутые, с углом наклона 60°. Их высота в северной части жилища до 80 см, в южной и восточной – 70, в западной – 65 см. Уступов внутри котлована вдоль стенок нет. Пол достаточно ровный, с некоторым подъемом к стенкам. В центре жилища располагался очаг – углубление овальной формы (длиной 122 см, глубиной 15 см) с неровным дном и пологими стенками. В раскопе отмечено 74 ямы. Основная их часть расположена в пределах жилища и только пять (10, 11, 13, 72 и 73) – вне его. Большинство ям от столбов, служивших опорами для кровли. Диаметр ям от 11 до 44 см, глубина от 8 до 50 см. Они овальные (41) или округлые (22) с коническим (чаще), чашевидным и ступенчатым (реже) дном; некоторые вырыты наклонно плоскости пола. К категории хозяйственно-бытовых – диаметром от 50 до 86 см и глубиной от 19 до 65 см – относятся 12 ям (8, 15, 23, 35, 44, 45, 45’, 49, 60–63). Они овальные (7), круглые (3) и подтреугольные (2); почти все со ступенчатым дном. Все ямы были заполнены темной гумусированной супесью.

Каменный инвентарь. Рассматриваемая коллекция насчитывает 1 335 экз. Сырьевой базой каменной индустрии служили породы различного генезиса, на что указывают результаты петрографического анализа (табл. 1). Использовался преимущественно мелкогалечник, реже крупногалечник и единично средневалунник различных цветов (рис. 2).

Инструментарий (23 экз., 1,7 % от каменной индустрии) – отбойник, девять точильных камней-абразивов (два целых и семь в обломках), четыре лощила, четыре точила-наковальни, точило-курант, точило-лощило, точило – правильный камень для древков, отбойник-наковальня, отбойник-лощило – обнаружен в верхнем слое (5), в заполнении (3), на полу (1), в яме (2) жилища и за его пределами (12). Точильные камни-абразивы имеют следы шлифовки или правки орудий, наковальни – мелкие ямки, выбоины. Рабочие концы отбойников выщерблены, лощил – заглажены или заполированы.

Нуклевидные формы (28 экз., 2,1 %) – пять нуклеусов и пять микронуклеусов, заготовка нуклеуса, 17 нуклевидных обломков – найдены в верхнем слое (6), в заполнении (3), на полу (3), в яме (1) жилища и за его пределами (15). Представлены нуклеусы и микронуклеусы трех типов: клиновидные (по 2 экз.), подпризматические (по 2 экз.) и торцовые (по 1 экз.). Все они одноплощадочные с приостренными (чаще) и притупленными (реже) основаниями; площадки в основном прямые. Размеры нуклеусов от 5,0 × 4,9 × 3,6 до 6,9 × 7,2 × 1,8 см, микронуклеусов от 2,0 × 1,4 × 0,9 до 4,3 × 3,2 × 2,4 см. Основным типом заготовок служили мелкие гальки преимущественно кремнистых пород.

Индустрия сколов (992 экз., 74,4 %) – отщепы, пластины и отходы производства. Отщепы (440 экз., 32,98 % от каменной индустрии в целом, 44,4 % от индустрии сколов) отмечены в верхнем слое (26), в заполнении (165), на полу (92) и в ямах (2) жилища, а также за его пределами (155). Преобладают средние экземпляры (27,4 %*). По соотношению длины и ширины наиболее многочисленными являются удлиненные сколы (26,6 %). Остаточные ударные площадки в основном прямые (27,5 %), преимущественно гладкие (10,5 %) и точечные (10,4 %). Дорсальная огранка отщепов в большинстве случаев продольная однонаправленная (10,6 %). Пластины (39 экз., 2,9 % от каменной индустрии в целом и 3,9 % от индустрии сколов) обнаружены в заполнении (17), на полу (9) и в ямах (2) жилища, а также за его пределами (11). Целых изделий 28 экз. (71,8 %). Преобладают средние (0,5 %) и мелкие (0,8 %) экземпляры. Отмечены пластины преимущественно с прямой (1,9 %) и гладкой (2 %) остаточной ударной площадкой. Преобладает продольная однонаправленная огранка дорсальной поверхности (2 %). Категория отходов производства (513 экз.) – 18 колотых галек, 204 скола и 291 осколок.

Орудийный набор представлен 268 экз. (96 целых, 34 в обломках, 137 целых заготовок и один обломок), что составляет 20 % от каменной индустрии. Орудия, их обломки и заготовки обнаружены в верхнем слое (11), в заполнении (116), на полу (58) и в ямах (9) жилища, а также за его пределами (74).

Метательные орудия (наконечники дротиков и стрел) найдены в верхнем слое (1), в заполнении (12) и на полу (6) жилища. Наконечники дротиков (6 экз.: два целых, три в обломках и заготовка; 2,2 % от орудийного набора) – бифасы листовидной в плане и линзовидной в сечении формы. Обе плоские стороны покрыты уплощающей захватывающей ретушью. Наконечники стрел (13 экз.: восемь целых, пять в обломках; 5 %) – трех типов: 1) бифасы удлиненно-подтреугольной в плане и линзовидной в сечении формы с прямым или выемчатым основанием; 2) на отщепе с чуть выемчатым основанием; 3) удлиненной подтрапециевидной в плане и прямоугольной в сечении формы. Для первых двух типов характерна обработка плоских сторон уплощающими сколами или уплощающей захватывающей ретушью, краев – двусторонней субпараллельной и параллельной плоской ретушью. У наконечников третьего типа плоские стороны зашлифованы, боковые заточены. Размерный ряд от 1,3 × 1,3 × 0,2 см до 2,9 × 1,8 × 0,3 см.

*Здесь и далее – в индустрии сколов.

Таблица 1. **Результаты петрографического анализа артефактов из жилища 1**

Шифр образца	Полевой шифр	Квадрат	Глубина, слой	Порода
С-1	С-73-PII-58	3/Ж	90 см	Вулканическое стекло, частично раскристаллизованное
С-2	С-73-PII-121	5/Ж	То же	Базальт
С-3	С-73-PII-171	1/Ж	»	Яшма
С-4	С-73-PII-174	То же	»	Не определена (не удалось сделать шлиф)
С-5	С-73-PII-205	5/Д	Пол	Базальт
С-6	С-73-PII-214	9/Е	»	Вулканическое стекло, частично раскристаллизованное
С-7	С-73-PII-216	То же	»	Обсидиан
С-8	С-73-PII-217	»	»	Базальт
С-9	С-73-PII-222	»	»	Обсидиан
С-10	С-73-PII-264	»	»	Алевропелит
С-11	С-73-PII-282	»	»	Игнимбрит
С-12	С-73-PII-283	»	»	Алевролит
С-13	С-73-PII-286	»	»	Вулканическое стекло с порфировыми выделениями плагиоклаза и биотита
С-14	С-73-PII-288	9/Е	»	Яшма
С-15	С-73-PII-336	2/Е	»	Базальт
С-16	С-73-PII-350	1’/В	»	Кварцит
С-17	С-73-PII-407	2’/Ж	»	Вулканическое стекло, частично раскристаллизованное
С-18	С-73-PII-410	То же	»	Обсидиан
С-19	С-73-PII-420	»	»	Песчаник
С-20	С-73-PII-500	1’/В	»	Вулканическое стекло
С-21	С-73-PII-501	То же	»	Алевролит
С-22	С-73-PII-520	»	»	Игнимбрит
С-23	С-73-PII-521	»	»	Обсидиан
С-24	С-73-PII-563	2’/З	»	Микрокварцит
С-25	С-73-PII-728	9/З	»	Яшма
С-26	С-73-PII-982	3/Ж	»	Базальт
С-27	С-73-PII-994	1/Д	»	Кремень
С-28	С-73-PII-995	То же	»	Халцедон
С-29	С-73-PII-1111	4/З	»	Риолит
С-30	С-73-PII-2234	2/Ж	60 см	Вулканическое стекло, частично раскристаллизованное

Режущие орудия – ножи (16 экз.: пять целых, шесть в обломках, четыре целые заготовки и один обломок; 5,9 %) – выявлены в верхнем слое (1), в заполнении (6), на полу (1), в яме (1) жилища и за его пределами (7). Они трех типов: 1) листовидные или удлиненно-подовальные в плане бифасы; 2) на отщепе, ассиметричной ромбовидной в плане формы; 3) коленчатые в плане. Плоские стороны режущих орудий всех типов обработаны уплощающими сколами, бифасов и «рыбных» ножей также параллельной полукрутой ретушью; края – двусторонней полукрутой или плоской ретушью. Размеры целых изделий от 3,1 × 3,0 × 0,4 до 9,4 × 4,8 × 0,6 см.

Рубящие орудия (топоры и тесла) обнаружены в заполнении (13), на полу (2), в ямах (2) жилища и за его пределами (8). Топоры (2 экз.: обломок и заготовка; 0,7 %) подпрямоугольной в плане и подтреугольной в сечении формы обработаны выемчатыми продольными или двусторонними прилежащими субпараллельными сколами. Размеры заготовки 11,8 × 6,8 × 3,3 см. Тесла (23 экз.: 8 целых, 13 в обломках, 2 заготовки; 8,6 %) трех типов: 1) удлиненно-подтрапециевидные в плане, линзовидные, подовальные, прямоугольные или подтрапециевидные в сечении; 2) подпрямоугольные в плане, подовальные или подтреугольные в сечении; 3) удлиненные подтре-

Рис. 2. Фотографии шлифов (*1–12*) и изделий из камня (*13–51*).

1 – С-8 (шифр образца, см табл. 1); *2* – С-19; *3* – С-9; *4* – С-21; *5* – С-12; *6* – С-22; *7* – С-13; *8* – С-30; *9* – С-14; *10* – С-28; *11* – С-24; *12* – С-27; *13–21* – ножевидные пластины; *22–25* – нуклеусы; *26* – точило – правильный камень; *27–31* – наконечники стрел; *32*, *33* – обломки наконечников дротиков; *34*, *35*, *42*, *43* – ножи; *36–38* – скребки; *39–41* – проколки; *44*, *51* – комбинированные орудия; *45* – лощило; *46* – обломок тесла; *47* – тесловидно-скребловидное орудие; *48* – отбойник-наковальня; *49* – галька с отверстием; *50* – мотыга.

угольные в плане, линзовидные или подтреугольные в сечении. Обработаны оббивкой, шлифовкой, заточкой. Обушки приостренные, закругленные или прямые. Размеры целых изделий от 6,9 × 3,1 × 1,2 см до 11,2 × 4,2 × 2,3 см.

Тесловидно-скребловидное орудие (0,4 %) обнаружено за пределами жилища. Оно асимметричной подпрямоугольной в плане и линзовидной в сечении формы, размерами 9,8 × 6,4 × 2,4 см. Обработано оббивкой. Обушок и асимметрично заточенное лезвие приострены.

Скребки и скребло отмечены в верхнем слое (6), в заполнении (44), на полу (23), в ямах (3) жилища и за его пределами (32). Скребки (107 экз.: 21 целый, 86 заготовок; 40 %) – самая многочисленная категория орудий. Выделяются концевые, боковые, угловые, скошенные, двухконцевые, концевые боковые, концевые скошенные, двухконцевые скошенные, с ретушью продольных краев и на ¾ периметра. Рабочие края подправлялись параллельными и ступенчатыми продольными полукрутыми сколами или обрабатывались в основном краевой параллельной либо субпараллельной преимущественно крутой, реже полукрутой или плоской ретушью. Размерный ряд от 2,2 × 2,3 × 0,5 до 5,7 × 3,0 × 1,0 см. Заготовками служили гальки, отщепы, сколы. Скребло (0,4 %) простое продольное выпуклое, подовальной в плане, линзовидной в сечении формы. Рабочий край подработан крупной крутой ступенчатой ретушью. Лезвие с выщерблинами, затуплено. Размеры 8,3 × 4,0 × 2,0 см.

Проколки (28 экз.: 16 целых, 12 заготовок; 10,4 %) найдены в заполнении (10), на полу (9), в яме (1) жилища и за его пределами (8). Выявлены срединные, срединная плечиковая, угловые, двойные, в т.ч. с противолежащими жальцами, срединная и типа шале. Они в основном ромбовидной, подтреугольной, подпрямоугольной в плане и сечении формы. Размеры варьируют от 1,9 × 1,2 × 0,2 до 4,5 × 4,8 × 0,9 см.

Комбинированные орудия (62 экз.: 32 целых, 30 заготовок; 23,1 %) обнаружены в верхнем слое (3), в заполнении (26), на полу (15) и в ямах (2) жилища, а также за его пределами (16). Представлены пять комбинаций двух видов орудий (скребок-проколка (16 и 25 заготовок), нож-скребок (7 и заготовка), нож-проколка (5 и заготовка), проколка-выемчатое орудие, проколка-острие) и две – трех (нож-скребок-проколка и резец-скребок-проколка). Размерный ряд повторяет соответствующие типы орудий. Есть также тесло, которое могло использоваться как ударное орудие, пилящее орудие-скребок и выемчатое скребковое орудие.

Прочие орудия (9 экз., 3,3 %) – землеройное, два обломка навершия булавы, грузило, галька с отверстием и четыре фрагмента орудий, назначение которых не определяется, – обнаружены в заполнении (5), на полу (2) жилища и за его пределами (2). Землеройное орудие удлиненной подовальной в плане формы изготовлено оббивкой из песчаниковой гальки (12,4 × 5,2 × 2,7 см). На боковых сторонах в верхней части сколами выделены «ушки» для крепления. Самый крупный обломок (8,4 × 7,3 × 3,8 см) булавы из базальта подквадратной в плане и удлиненной подтрапециевидной в сечении формы изготовлен оббивкой с пришлифовкой по всем сторонам. Грузило – песчаниковая галька со сколами на противолежащих концах для крепления.

Отщепы с ретушью (24 экз., 1,8 % от каменной индустрии) обнаружены в верхнем слое (7), в заполнении (6) и на полу (4) жилища, а также за пределами котлована (7). Целые экземпляры в основном удлиненные, средних размеров. Основными приемами вторичной обработки являются ретушь и шлифовка.

Таким образом, в наборе типологически значимых изделий преобладают орудия, связанные с охотой и обработкой продуктов охотничьего промысла: скребки и скребла (8,1 %), комбинированные орудия (4,6 %), проколки (2,1 %), метательные (1,4 %), режущие (1,2 %) орудия. В довольно большом количестве представлены также рубящие орудия (1,9 %).

Бытовая керамика (рис. 3, табл. 2). В коллекции 2 415 экз.: сосуды (восемь целых и археологически целых) и их части (2 156), другие изделия из глины (251). Это в основном неолитическая керамика малышевской, вознесеновской культур, белькачинского комплекса и не идентифицируемая с нижнеамурской. Есть немногочисленные черепки эпохи палеометалла.

Малышевская культура – 1 666 экз.: сосуд и три археологически целых сосуда, 39 верхних и 3 нижние части, 2 боковины, 162 обломка венчиков, 1 119 фрагментов стенок и 140 донцев; 16 пряслиц (два целых, пять обломков, шесть целых заготовок и три обломка); 181 скребок (один готовый, 179 заготовок и обломок). Обнаружены в верхнем слое (278), в заполнении (780), на полу (343), в ямах (14) жилища и за его пределами (251). Не орнаментировано 379 экз.; окрашенных красной краской 53 экз. С помощью бинокулярной микроскопии для ряда образцов установлено добавление в тесто шамота, песка, дресвы и единично раковин моллюсков. Поверхности сосудов затирались, заглаживались, лощились, покрывались ангобом, окрашивались красной краской снаружи и изнутри. При формовке применялись донный, донно-емкостный и емкостно-донный начины, ленточный и жгутовой кольцевой налеп. Представлены сосуды с горловиной и без нее, открытые и закрытые, от миниатюрных до крупных. Венчики прямые, загнутые вовнутрь или отогнутые наружу; верхний срез округлый, приостренный, уплощенный или скошенный. Донца плоские, большей частью без закраины. Единично использовался поворотный круг. В декоре представлены обе разновидности рельефа, а также

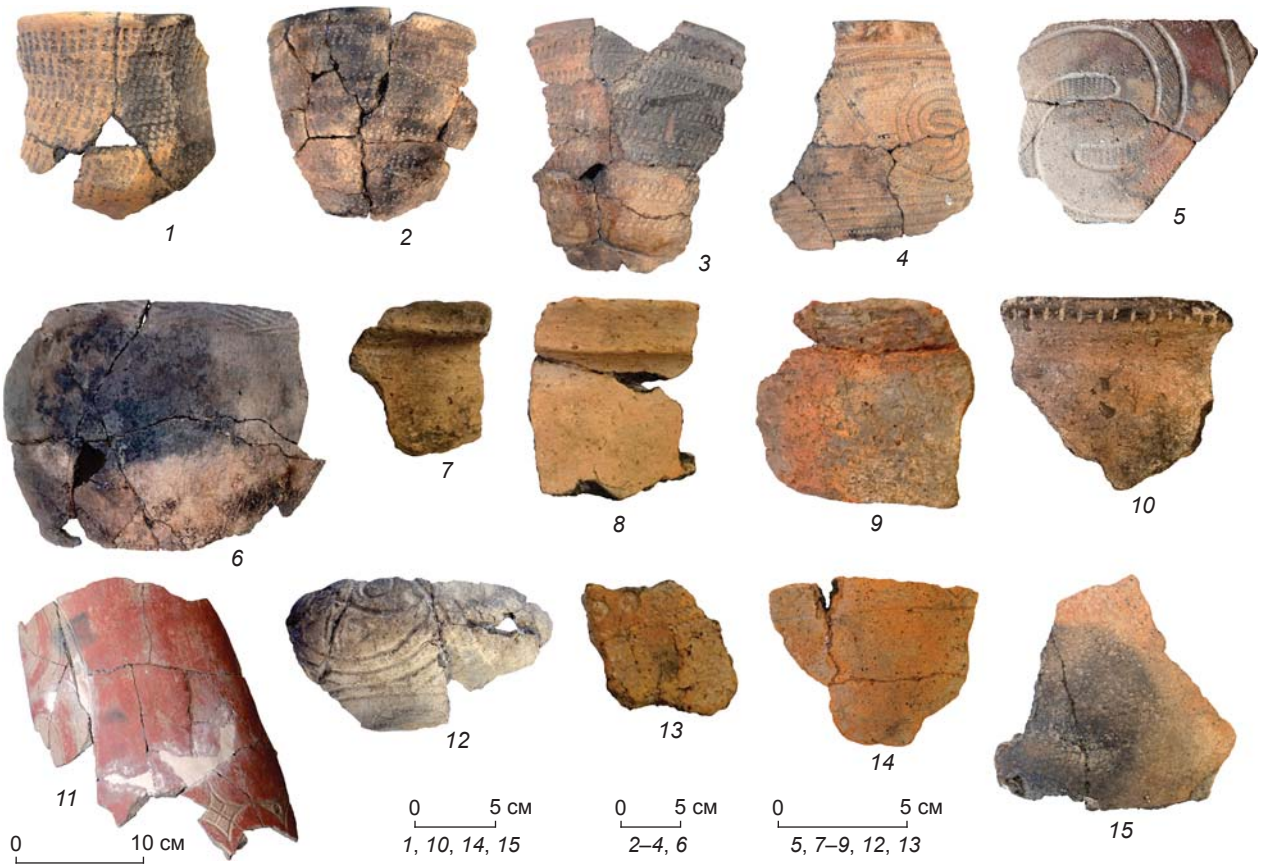

Рис. 3. Керамика малышевской (*1–5*) и вознесеновской (*7–12*) культур, белькачинского комплекса (*6*), с признаками разных культурных традиций (*13–15*).

плоскостной декор. Наиболее часто встречающиеся технико-декоративные элементы – оттиски гребенчатого штампа (от двух до восьми зубцов, чаще трехзубчатый) и отступающей лопатки (угольчатые и скобковидные). Есть также различные по форме отпечатки зубчатого колесика, пальцевые и ногтевые вдавления, налепные валики (прямые, в т.ч. с карнизом и волнистые), прочерченные линии и желобки, разнообразные насечки, наколы и др. Они компоновались в простые (горизонтальные, вертикальные и наклонные ряды, дуги и пр.) и сложные (углы, треугольники, сегменты, сетка, меандр, спираль, «личины» и пр.) мотивы, составлялись в орнаментальные композиции. Выделяются две группы керамики: бытовая (кухонная, столовая, тарная) и ритуальная*. Признаками первой группы кроме размеров служит нагар снаружи и/или изнутри, второй – окрашивание красной краской (особенно изнутри). Отмечены скребки и пряслица из стенок битых сосудов, а также специально изготовленные два пряслица, декорированные спиральными завитками и меандром. Малышевская керамика – единый, выдержанный по всем параметрам комплекс развитого этапа гончарной традиции.

Вознесеновская культура – 162 экз.: три археологически целых сосуда, 5 верхних и 2 нижние части, 10 венчиков, 111 стенок, 14 донцев; 17 заготовок скребков. Найдены в верхнем слое (16), в заполнении (99) и на полу (32) жилища, а также за его пределами (15). Большая часть керамики (120 экз.) без орнамента. Бинокулярная микроскопия показала наличие в тесте добавок – пресноводных моллюсков (раковины и тело) и единично шамота. Поверхности в основном затирались и покрывались ангобом. Один образец окрашен красной краской и представляет, видимо, ритуальный сосуд. Цвет керамики серый или темно-серый изнутри и в изломах, желтовато-серый, серо-коричневый снаружи, что свидетельствует об использовании при обжиге окислительно-восстановительного режима (650–700 °С). При формовке применялись донно-емкостный начин и ленточно-кольцевой налеп. Сосуды в основном закрытой формы с горловиной, средних и крупных размеров. Венчики чаще отогнуты наружу, редко прямые; обрез устья приострен или закруглен. Донца плоские. По декоративным ха-

*По прочим своим характеристикам ритуальная керамика не отличается от бытовой, поэтому ее описание включено в данный раздел.

Таблица 2. **Результаты рентгенографического анализа неолитической керамики из жилища 1**

Шифр образца	Полевой шифр	Квадрат	Глубина, слой	Часть сосуда	Состав кристаллической фазы
Малышевская культура					
С-1	С-73-PII-1292	10/Г	90 см	Стенка	Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, иллит
С-2	С-73-PII-1617	4/З	То же	»	То же
С-3	С-73-PII-1913	1/Б	85 см	Венчик	»
С-4	С-73-PII-2204	5/Д	70 см	»	»
С-5	С-73-PII-243	3/Е	Пол	Донце	»
Белькачинский комплекс					
С-6	С-73-PII-387	1/Ж	Пол	Стенка	Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, иллит
С-7	С-73-PII-479	1/В	»	Венчик	То же
С-8	С-73-PII-1136	4/З	»	Стенка	»
С-9	С-73-PII-1274	10/Г	90 см	Венчик	»
С-10	С-73-PII-2153	1/Ж	60 см	Стенка	»
Вознесеновская культура					
С-11	С-73-PII-677	7/Ж	Пол	Стенка	Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, иллит
С-12	С-73-PII-2057	9/Е	70 см	»	То же
С-13	С-73-PII-2887/2965	1/В	45 см	»	»
С-16	С-73-PII-1230	7/З	90 см	Венчик	»
С-17	С-73-PII-1433	3/Г	То же	Донце	»
Керамика с инокультурными признаками					
С-22	С-73-PII-41	3/Ж	90 см	Стенка	Кварц, плагиоклаз, ортоклаз
С-23	С-73-PII-838	4/Е	Пол	»	Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, иллит
С-24	С-73-PII-1748	3/И	90 см	»	То же
С-25	С-73-PII-2881	6/Ж	45 см	»	»
С-27	С-73-PII-3105	3/И	60 см	»	Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, силлиманит

рактеристикам большая часть керамики относится к двум разновидностям: 1) с туловом, украшенным вертикальным зигзагом из оттисков гребенки и колесика, наколов; 2) с гладким туловом. Венчики в обеих группах оформлялись налепными валиками, поверх которых наносились оттиски гребенчатого штампа или овальные наколы. Исключение – два образца. Первый, декорированный спиралями и «личинами», по технологическим характеристикам не отличается от прочей керамики, но по форме и орнаменту аналогичен сосуду из святилища вознесеновской культуры, открытого на о-ве Сучу в 1993 г. в раскопе 5 [Медведев, 1994; 1996, с. 159–160, рис. 17, *18*; 2005, с. 54, рис. 24, *3*; Медведев, Филатова, 2014, с. 81, рис. 54, *6*]. Второй образец выделяется по всем параметрам. В керамическом тесте отсутствует органическая примесь, поверхности окрашены красной краской и залощены до блеска. Сосуд орнаментирован «личинами», составленными из прочерченных желобков, промежутки между которыми заполнены оттисками многозубчатой гребенки. Он напоминает крашеную керамику из Вознесенского и Тахты [Медведев, 2005, с. 47, рис. 8, *1*, *3*, рис. 9; с. 58, рис. 31; с. 59, рис. 34]. Вся керамика, за исключением орнаментированной спиралями и «личинами», бытовая. Кроме посуды, есть заготовки концевых скребков из стенок сосудов. В целом вознесеновская керамика – выдержанный по основным признакам комплекс, соотносимый с поздним этапом развития культуры.

Белькачинский комплекс – 557 экз.: археологически целый сосуд, 15 верхних частей, боковина, 43 венчика, 459 стенок, донце с придонной стенкой; две заготовки пряслиц и 35 скребков из стенок сосудов. Обнаружены в верхнем слое (37), в заполнении (204) и на полу (139) жилища, а также за пределами жилищного котлована (177). Вся керамика орнаментирована. С помощью бинокулярного микроскопа в ряде образцов выявлены примеси дресвы и шамота, а также раковин моллюсков (единично). Поверхности сосудов затирались и заглаживались, покрывались ангобом. Режим обжига определяется как окислительный при температуре не более 800 °С. Использовался прием «задым-

ления». При формовке применялся ленточно-кольцевой налеп. Сосуды открытые и закрытые, со слегка выделенной горловиной, малых, средних и крупных размеров. Донца круглые или округло-приостренные (с «шипом»). Венчики украшены налепным валиком, поверх которого могли наноситься оттиски зубчатого колесика или многозубчатой гребенки. Стенки орнаментированы шнуровыми оттисками с небольшими модификациями. Вся керамика относится к бытовой сфере. Зафиксированы также пряслица и скребки из стенок разбитых сосудов. Локализация почти ⅓ белькачинской керамики за пределами жилища и почти половины только в кв. Е–И/1'–2' и З–И/1'–2 позволяет говорить о сравнительно непродолжительном пребывании на острове ее создателей после прекращения функционирования жилища 1.

Имеются также верхняя часть, два венчика и девять стенок с признаками сходства с неолитической керамикой Сахалина [Василевский, 2008]. Обнаружены они в верхнем слое (1), в заполнении (8) и на полу (2) жилища, а также за его пределами (1).

Предметы искусства, культа. Коллекция насчитывает 38 экз. Найдены они главным образом на ограниченном участке вдоль западной стенки на полу (30) жилища и в его заполнении (8). Изделия из камня представлены тремя обломками лабреток и частью фаллического конусовидного предмета с женским символом. Изделия из глины – дисковидная чуринга, антропоморфная (женская) скульптурка, шесть зооморфных скульптурных изображений (одно – медведя, пять – летящих птиц из семейства чистиковых, их размеры 3,2–4,2 см), пять полиэйконических фигурок (голова медведя – мелкого зверька и четыре двухконечных фаллоса длиной 2,8–4,0 см с верхними концами, оформленными в виде головы тюленя) и один обломок фигурки, а также десять миниатюрных сосудиков разных форм, восемь стержней (целый и семь в обломках), два штампа-колесика [Деревянко, Медведев, 1996, с. 218–219; Медведев, 2000, с. 58, рис. 4; с. 59, рис. 3, *2*; с. 62, рис. 6, *4–6*, *8–10*; с. 67, рис. 8, *3*; 2005, с. 55, рис. 28, *3*, *4*; с. 56]. Значительное количество выявленных в жилище полисемантических по своей сути предметов искусства, культа, вероятно, свидетельствует о весьма развитых солярных и промысловых культах, а также культах плодородия и предков. Культовые предметы позволяют говорить о наличии у обитателей жилища элементов тотемизма и магии.

Выводы

Планиграфический анализ жилища-полуземлянки 1 с очагом в центре выявил основные особенности его конструкции: средние размеры, неглубокий котлован и отсутствие уступов вдоль стен. В расположении довольно многочисленных ям от столбов в границах жилища можно выделить несколько условных рядов: пять по направлению с СЗ на ЮВ и три по направлению с ЮЗ на СВ. Это ямы от деревянных опор, поддерживавших кровлю. На дне котлована выявлены также углубления, использовавшиеся, видимо, для хранения продуктовых запасов, утвари и крупного инвентаря.

Каменные и бытовые керамические предметы четко указывает на то, что древнее население острова вело комплексное хозяйство, основой которого были охота и рыболовство, а также собирательство. Значительное количество в каменном орудийном наборе скребков (40 %) (их морфотипы повторяются и в керамике) позволяет говорить о вероятной хозяйственной специализации обитателей жилища 1, занимавшихся либо изготовлением скребков («мастерская»), либо массовой обработкой продуктов охотничьего промысла. По своей культурно-хронологической принадлежности подавляющее большинство каменных артефактов связано с малышевской индустрией, что подтверждается основным массивом керамики из жилища 1, относящейся к малышевской же культуре.

Результаты анализа керамики свидетельствуют о развитых гончарных традициях с ярко выраженными индивидуальными особенностями. Они также указывают на миграции с северных материковых и восточных островных территорий начиная со средних этапов неолита (конец V – начало IV тыс. до н.э.). Многочисленные предметы искусства, культа свидетельствуют не только о развитых духовных традициях, но и, как мы теперь знаем, о начальной стадии формирования в IV тыс. до н.э. культового центра на о-ве Сучу. Судя по количеству найденных в жилище 1 подобных артефактов, их компактному расположению, можно говорить о существовании в нем «домашнего» святилища.

Полученная и проанализированная информация о жилище 1, каменном инвентаре, керамике и уникальных предметах искусства, культа, частью не имеющих аналогов, определенно расширяют научные представления о среднем неолите Приамурья и сопредельных территорий.

Благодарности

Авторы искренне благодарят всех участников работ на о-ве Сучу в 1973 г., а также О.С. Медведеву за фотографии и помощь в подготовке материала к печати.

Список литературы

Василевский А.А. Рубежи и контактные зоны в северном регионе островного мира Восточной Азии в эпоху неолита // Окно в неведомый мир: к 100-летию со дня рождения акад. А.П. Окладникова. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – С. 118–123.

Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. – Новосибирск: Наука, 1994. – 288 с.

Деревянко А.П., Медведев В.Е. Остров Сучу – уникальный памятник археологии Дальнего Востока // Археология Северной Пасифики. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – С. 214–221.

Медведев В.Е. Неолитическое святилище на Амуре // АО 1993 года. – М.: ИА РАН, 1994. – С. 177–178.

Медведев В.Е. Неолитическое поселение на острове Сучу (по раскопкам 1993 года) // Хан кангу-ксахакбо. – 1996. – № 22. – С. 129–162 (на кор. яз.).

Медведев В.Е. Новые сюжеты в искусстве нижнеамурского неолита и связанные с ними представления древних // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 56–68.

Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 4. – С. 40–69.

Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 168 с.

Медведев В.Е., Филатова И.В. Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 4. – С. 46–59.

Медведев В.Е., Филатова И.В. Итоги междисциплинарных исследований каменного инвентаря из жилища Г поселения Сучу (1974 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 3. – С. 17–28.

Медведев В.Е., Филатова И.В. Итоги исследований материалов с острова Сучу (1974 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 4. – С. 22–32.

Медведев В.Е., Филатова И.В. Материалы раскопок на острове Сучу (1975 год, раскоп I): итоги исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 30–42.

Окладников А.П. Отчет о раскопках неолитического поселения на о-ве Сучу Хабаровского края. 1973 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5072. 34 л.

Материал поступил в редколлегию 07.04.20 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.014-021
УДК 903.2

Н.Л. Моргунова
Оренбургский государственный педагогический университет
ул. Советская, 19, Оренбург, 460014, Россия
E-mail: nina-morgunova@yandex.ru

Произведение первобытного искусства из погребения у поселка Пушкинского в Оренбургской области

В статье представлен редкий артефакт – жезл с зооморфным навершием, вырезанный из изогнутой части рога лося и случайно найденный в 1982 г. на берегу р. Ток в Западном Оренбуржье. Изделие находилось в могиле с погребенным в положении сидя. Рассматривается местонахождение, культурная и хронологическая принадлежность артефакта. Приводится информация о подобных предметах эпох мезолита – неолита на территории Восточной Европы. Анализируются результаты радиоуглеродного датирования захоронений с роговыми жезлами и погребенными в положении сидя. Подобные изделия датируются VI – началом III тыс. до н.э. Жезл находился в погребении елшанской культуры, относящейся к раннему неолиту. Сделан вывод о том, что жезл из погребения у пос. Пушкинского по смысловой нагрузке близок к артефактам, представленным, как правило, на памятниках мезолита – неолита лесной зоны Восточной Европы, но имеет особенности. Вероятно, художник стремился создать образ лошади, а не лося, что могло быть связано с направленностью охотничье-промысловой деятельности местного населения в условиях степи – лесостепи. Показана связь жезлов, имеющих зооморфные навершия, с представителями служителей культов. Сделано предположение о зарождении традиции использования таких жезлов в культовой практике на территории степи – лесостепи; позже в период неолита она распространилась в культурах населения лесной зоны.

Ключевые слова: *зооморфное навершие, погребение, мезолит – неолит, Южное Приуралье.*

N.L. Morgunova
Orenburg State Pedagogical University,
Sovetskaya 19, Orenburg, 460014, Russia
E-mail: nina-morgunova@yandex.ru

A Zoomorphic Antler Staff from an Early Neolithic Burial at Pushkinsky, the Orenburg Region

I describe a rare artifact—a staff with a zoomorphic top, carved from a curved part of an elk antler. It was found in 1982 on the Tok River bank, in the western Orenburg Region. The artifact was in a seated burial, discovered by chance. The archaeological context is described, and a cultural and chronological attribution is proposed. It is concluded that the burial is associated with the Early Neolithic Elshanka culture. Similar staffs were mostly found in Mesolithic and Neolithic burials in the forest zone of Eastern Europe. Radiocarbon analyses suggest that seated burials with zoomorphic antler staffs date to the interval from the 6th to the early 3rd millennium BC. The peculiar feature of the Pushkinsky specimen is that it likely depicts a horse rather than an elk, probably because the economy in the steppe and forest-steppe focused on horse hunting. Such artifacts were apparently ritual, and the practice could have originated in the steppe and forest-steppe from whence in spread to the forest zone.

Keywords: *Zoomorphic staff, burial, Mesolithic-Neolithic, Southern Urals.*

Введение

Жезл из рога с зооморфным навершием был обнаружен на берегу р. Ток (бассейн р. Самары) в 500 м к югу от современного с. Пушкинского в Красногвардейском р-не Оренбургской обл. (рис. 1). Современный ландшафт территории можно охарактеризовать скорее как степной. Однако немного севернее уже на-

© Моргунова Н.Л., 2020

чинаются типичные лесостепи. Вероятно, на протяжении голоцена природно-климатические условия на территории Западного Оренбуржья неоднократно менялись то в сторону большей увлажненности, то – большей аридности. Следовательно, в результате колебания климата граница между степью и лесостепью могла сдвигаться с юга на север или с севера на юг.

Эпохи неолита и энеолита на территории Волго-Уралья, как было установлено при проведении исследований на поселении Ивановском, расположенном в непосредственной близи от пос. Пушкинского, соответствовали атлантическому периоду. По мнению специалистов, это был этап второго оптимума атлантического периода голоцена, он характеризовался влажным и прохладным климатом, сопровождавшимся увеличением облесенности территории с участием сосны и березы [Лаврушин, Спиридонова, 1995]. Эти выводы подтверждаются данными о палеофауне, на представителей которой охотились жители Ивановского поселения в указанный период. Объектами охоты были лоси, бобры, олени, барсуки, выдры, кабаны и даже медведи, но главными – дикие лошади [Петренко, 1995].

На поселении Ивановском и других памятниках исследования проводились в 1977–1982, 2014–2015 гг. [Моргунова, 1995, 2011; Моргунова и др., 2017]. Жезл оказался у археологов в 1982 г.: житель пос. Пушкинского В.Н. Мячин привез мешок костей человека, обнаруженных им на берегу р. Ток примерно в 7 км выше по течению от поселения Ивановского; среди них были фрагменты изделия из рога с навершием в виде головы то ли лося, то ли лошади. При определении вида животного мнения участников осмотра разделились, разногласия на сей счет остаются и сегодня. Сообщение о находке приведено в «Археологических открытиях 1982 года» [Моргунова, 1984]; позже жезл был опубликован С.В. Богдановым в его авторской интерпретации [Богданов, 1992]. С тех пор пушкинский жезл (считаю, что его следует назвать именно так, по месту обнаружения) упоминается в целом ряде работ, посвященных изучению подобных предметов [Кашина, 2005; Жульников, Кашина, 2010; Савченко, 2018; и др.]. Данный жезл, конечно, можно рассматривать в ряду с другими лосиноголовыми жезлами, но он достаточно далек от них и в территориальном, и в некоторой степени в хронологическом плане. И этим объясняется необходимость вновь обратиться к указанному предмету, который, безусловно, является одним из выдающихся произведений первобытного искусства.

Рис. 1. Карта расположения погребения у пос. Пушкинского.

Описания погребения у пос. Пушкинского и жезла

Прежде всего следует остановиться на характеристике места обнаружения жезла. Нет сомнений в том, что предмет находился в погребении. По словам В.Н. Мячина, во время рыбалки на обрывистом берегу он увидел в профиль скелет человека, «сидевшего» на корточках с подтянутыми к подбородку ногами. Поскольку об археологических раскопках в районе было хорошо известно, то погребению «повезло»: все материалы были тщательно собраны.

Место находки было осмотрено археологами. Высота берега (обрыва) над уровнем воды в реке достигала 5 м. Вдоль обрыва была заложена траншея шириной 4 м. В отложениях не выявлены остатки могильника. Прослежена следующая последовательность почвенных слоев. Ниже слоя дерна залегал ровный слой темно-серого гумуса, не содержавший артефактов, мощностью 0,8 м. Обычно в подобных слоях обнаруживают поселения позднего этапа бронзового века. Этот слой лежал на погребенной почве, которая состояла из светло-серого суглинка мощностью 1 м, без находок. Далее прослежен слой бурого суглинка комковатой структуры мощностью 0,9 м, под которым уже до самой поверхности воды находились чистые слои глин. Именно в последнем гумусном слое на глубине 3 м от поверхности было обнаружено погребение с жезлом. Судя по характеристикам почвы и глубине залегания, слой мог сформироваться в эпоху мезолита или раннего неолита. Связь погребения с этим периодом подтверждают малочисленные находки. При вскрытии траншеи в данном слое были обнаружены пять мелких фрагментов керамики без орнамента, кусочки охры, чешуйки кремня, два фрагмента микропластинок без следов ретуширования и фаланга стопы человека. Находки в слое не облада-

ют четкими диагностирующими признаками, однако их вместе с данными литологии можно сопоставить с аналогичными материалами Старо-Токской стоянки эпохи мезолита и неолитического слоя поселения Ивановского, в котором находились изделия раннего этапа елшанской культуры [Моргунова, 1995].

Все антропологические материалы из погребения около пос. Пушкинского были переданы в Институт этнографии АН СССР. По определению антрополога этого института Р.А. Мкртчян, скелет принадлежал мужчине 45–50 лет протоевропеоидного типа. К сожалению, интерпретация материалов приостановилась, данные не публиковались, а сами находки были утрачены.

Жезл, бесспорно, является творением выдающегося художника своего времени (рис. 2, 3). Скульптура выполнена в распространенном в периоды мезолита и неолита стиле слияния образа животного с каким-либо предметом утилитарного или культового назначения. Жезл вырезан из изогнутой части рога лося (по определению археозоолога Института археологии АН СССР В.Н. Данильченко). Длина изделия от изгиба до конца рукояти 48 см, длина навершия 18 см. Предмет состоит из двух частей – рукояти и навершия, но воспринимается как цельный образ животного с достаточно выразительно переданной мордой (навершие) и туловищем (рукоять). Художник, соединив черты двух животных – лося и лошади, создал абстрактно-синкретический образ. Изящество фигурки подчеркивается удлиненностью морды, определенной, вероятно, формой роговой заготовки.

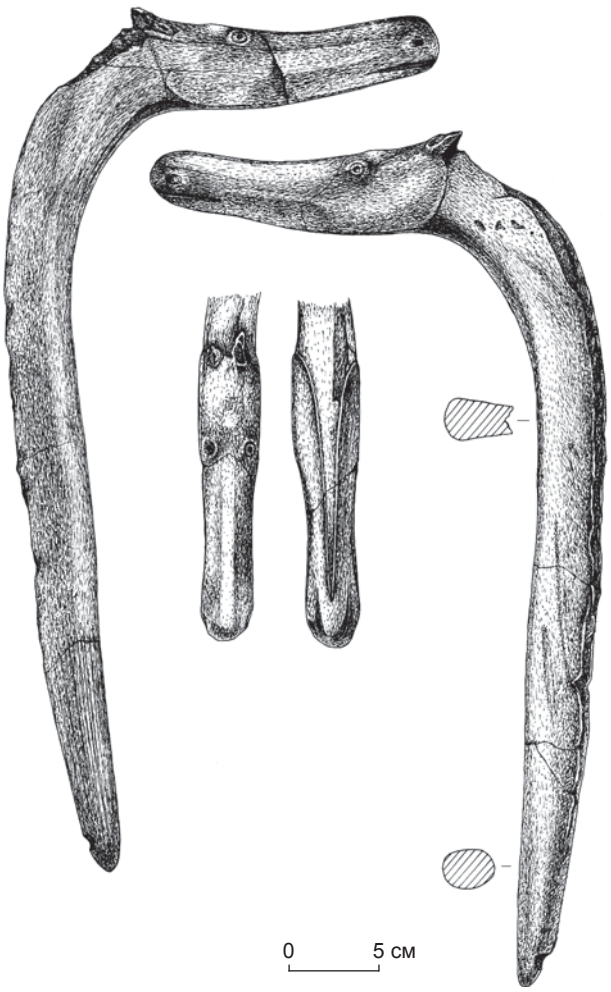

Рис. 2. Роговой жезл с зооморфным навершием из погребения у пос. Пушкинского.

Культурно-хронологическая интерпретация жезла

Аналоги пушкинского жезла встречаются редко и только в лесной зоне Восточной Европы в могильниках и на поселениях, а также в наскальной живописи.

По размерам и стилистике к рассматриваемому жезлу наиболее близки три роговых жезла из погребений мужчин, захороненных в положении стоя, на Оленеостровском могильнике на Онежском озере [Гурина, 1956, рис. 129–131; 1971, 1989]. Еще семь жезлов, отличающихся значительно меньшими размерами, несколько иной конфигурацией и относящихся к гораздо более позднему времени, обнаружены на Кольском Оленеостровском могильнике [Колпаков, 2018, с. 176–177]. Два роговых жезла с навершиями в виде голов лося залегали в слое с изделиями нарвской неолитической культуры на стоянке Швянтойи-3 в Прибалтике [Римантене, 1975]. На территории мезо-неолитического могильника Звейниеки в Латвии найден жезл, аналогичный оленеостровским изделиям [Загоркис, 1983, рис. 2, *1*].

Значительный интерес вызывают обнаруженные в Шигирском торфянике на Среднем Урале в Свердловской обл. скульптурные изображения головы лося (рукояти не сохранились) из рога [Чернецов, Мошинская, 1971, рис. 81]. Культурный и хронологический контекст находок не известен. Однако очевидна их близость к изделиям из Карелии и Прибалтики, а также пушкинскому жезлу. Из Шигирского торфяника извлечено еще одно навершие, отличающееся от изучаемого формой крепления на рукоять – для насада на нее имеется просверленное отверстие. Другая особенность изделия – животное изображено в абстрактном стиле, это фантастический зверь с устрашающе оскаленной пастью [Савченко, 2018]. Сходство данного и лосиноголовых жезлов проявляется не только в общей конфигурации, но и в проработке морды, например, под нижней челюстью прорисована V-образная выемка. Примечательно, что полученная по рогу АМС-дата позволила отнести эту скульптуру к эпохе мезолита [Там же, с. 198].

Рис. 3. Роговые жезлы с зооморфными навершиями из погребения у пос. Пушкинского (*1–5*) и могильника Екатериновский Мыс (*6*).

Среди аналогов обращают на себя внимание крупные кинжаловидные предметы из рога лося. На территории Прикамья в погребениях с вытянутыми костяками эпохи неолита на могильниках Меллятамакский V и Русско-Шуганский такие изделия имеют плавно изогнутую форму и как бы слабо выделенные навершия без зооморфных черт [Казаков, 2011, с. 38, 45, рис. 106, 118]. Длина одного из кинжалов 40 см. По узкому краю у него сделаны пазы для кремневых пластин. Интересно, что и в спинке пушкинского жезла имеется глубокий паз, в котором, возможно, крепились кремневые вкладыши; в таком виде изделие, вероятно, использовалось и как орудие, допустим, для жертвоприношения.

Таким образом, ареал аналогов пушкинского жезла не выходит за пределы лесной зоны от Среднего Урала до Прибалтики и Карелии. Каждая находка по-своему уникальна: она имеет художественную ценность и связана с достаточно редко встречающимися неординарными комплексами, прежде всего погребальными.

На обширных пространствах к востоку от Урала лосиноголовые жезлы не известны. Исключением являются небольшие роговые жезлы длиной до 20 см с навершиями в виде голов птиц из погребений могильника Сопка-2 одиновской культуры раннего этапа бронзового века в Барабинской лесостепи [Молодин, 1985, с. 56; 2012, с. 166–168]. Важно отметить, что образ лося занимал важное место в искусстве и мифотворчестве населения Сибири предшествующих эпох неолита и энеолита. Известны вырезанные из кости скульптурные изображения лося малых форм, передающие зверя в полный рост, что является особенностью древнего сибирского искусства [Окладников, 1950а, с. 280–282; 1971]. Масштабные фигуры животного представлены в многочисленных памятниках наскальной живописи [Окладников, 1950а, с. 283–284; Формозов, 1969, с. 82–93]. Изучение этнографических материалов Сибири позволило обосновать гипотезу об особом статусе лося в жизни древнего лесного населения; образы лося и медведя занимали в мифологической иерархии и в шаманской практике высшие ступени [Окладников, 1950б, с. 12–14].

В наскальной живописи и скульптуре Европы и Сибири образ лося воплощен по-разному, что, возможно, связано с особенностями мифологии и культовых ритуалов. Однако как в Сибири, так и в Восточной Европе образ лося получил широкое распространение, играл ведущую роль в духовной сфере древних сообществ от мезолита до начала бронзового века и был связан с культовой практикой лесных охотников [Кашина, 2005, с. 15–19]. Эта связь особенно четко прослеживается по наскальным рисункам Фенноскан-

дии. А.Д. Столяр подробно проанализировал назначение лосиноголовых жезлов, обнаруженных в могильниках. По его мнению, они могли использоваться так же, как изображенные на скалах длинные шесты-рукояти с подобным жезлом посередине и с треугольным венцом на конце, – в шаманских ритуалах [1983, с. 153–158]. Многие исследователи считают комплексы с лосиноголовыми жезлами погребениями шаманов [Гурина, 1956; Богданов, 1992; Сериков, 1998]. Идеи магической и ритуальной значимости жезлов с головой лося, базирующиеся на анализе наскальной живописи, скульптурных изображений и этнографических данных, получили развитие в ряде работ [Жульников, Кашина, 2010; Колпаков, 2018].

Обзор аналогов пушкинского жезла позволяет сделать вывод о том, что образ лося, воплощенный в разных видах первобытного искусства, был широко распространен в лесной зоне Евразии в эпохи мезолита – неолита – энеолита наряду с другими зооморфными образами, но занимал среди них ведущее место. В свете данного заключения пушкинский жезл, найденный фактически в степи – лесостепи, следует оценивать как исключительно важную находку.

В Самарском Поволжье несколько зооморфных наверший обнаружено в грунтовом могильнике Екатериновский Мыс, исследования которого начаты недавно и продолжаются в настоящее время [Королев, Кочкина, Сташенков, 2018]. Могильник, судя по первым публикациям радиоуглеродных дат, относится к самарской культуре раннего энеолита (калиброванная дата конец VI – конец первой четверти V тыс. до н.э.). Одно из наверший очень близко к пушкинскому жезлу. Оно, вероятно, составляло единое целое с утраченной рукоятью (рис. 3, *б*). Изображение животного, как и на пушкинском жезле, стилизовано, голова вытянута, не обозначены наиболее яркие признаки лося – горбатый нос, нижние отвисшие части губы и челюсти, маленькое ухо [Korolev, Kochkina, Stashenkov, 2019, p. 395, fig. 14].

Определить эпохальную и культурную принадлежность пушкинского жезла может помочь анализ обряда погребения, представленного в захоронении, где обнаружен предмет. Как отмечено выше, человек был погребен в положении сидя с подтянутыми к груди коленями. Подобный способ погребения достаточно редко использовался в культурах степной зоны, в лесных культурах Евразии он неизвестен [Телегин, 1976, с. 17–18; Хлобыстина, 1991]. Исследователи отмечают его связь в основном с мужскими захоронениями, содержавшими редкий или престижный инвентарь и даже остатки человеческих жертвоприношений, что позволяет предполагать особый статус человека в первобытной социальной иерархии [Хлобыстина, 1991, с. 36; Потемкина, 1985, с. 150–153; Шилов, Маслюженко, 2006, с. 189].

Практика погребения умерших в положении сидя известна с позднего палеолита (Костёнки), но наибольшее распространение она получила в эпохи мезолита и неолита. Погребения, совершенные по подобному обряду, обнаружены на Хвалынских могильниках эпохи энеолита; на памятниках ямной культуры раннего этапа бронзового века они всегда рассматриваются как неординарные [Васильев, 2004, с. 57–58]. Два «сидячих» погребения, к сожалению, безынвентарных, удалось обнаружить в Западном Оренбуржье. Они находились под насыпью одного из курганов Лабазовского могильника срубной культуры позднего этапа бронзового века, но не вписывались в стандартный обряд этого памятника. Радиоуглеродное датирование, проведенное в лабораториях Москвы, Томска и Университета Пенсильвании, позволило получить по три даты для каждого погребения. Примечательно, что все даты оказались очень близкими и показали калиброванный интервал в пределах последней четверти VII тыс. до н.э. [Купцова и др., 2019, с. 134]. Согласно результатам датирования, погребения не имели отношения к кургану, они появились задолго до его сооружения, вероятно, в период раннего неолита, когда формировалась елшанская неолитическая культура [Выборнов и др., 2016, с. 85–90]. Уместно отметить, что в слое, где находилось Пушкинское погребение, залегали черепки, сравнимые с керамикой елшанского типа.

В связи с выводом о времени появления «сидячих» погребений небезынтересно обратиться к вопросу о хронологической принадлежности указанных выше аналогов лосиноголовых жезлов из лесной зоны. Здесь, как отмечалось, они были распространены в эпохи мезолита и неолита. Однако, согласно современным радиоуглеродным данным, эти эпохи в лесной зоне наступали значительно позже, чем в степной [Тимофеев, 2000; Зайцева, Мазуркевич, 2016].

Для погребений Онежского Оленеостровского могильника имеется большая серия ^{14}C-дат, на основании которых памятник относят к мезолиту [Гурина, 1989, с. 30]. Дата погр. № 153, в котором находился один из самых известных лосиноголовых жезлов, 7140 ± 140 л.н. (ГИН-4452); другие комплексы датируются немного более поздним временем [Зайцева и др., 1997, с. 121–122]. Все ^{14}C-даты для Оленеостровского могильника получены сцинтилляционным методом по кости человека, и, вероятно, возможность резервуарного эффекта в них не учтена. Но даже с учетом его возможного вычета даты указанных погребений вряд ли выйдут за пределы VI тыс. до н.э. По материалам других памятников, граница между концом мезолита и началом неолита в лесной зоне Восточной Европы достаточно расплывчата, переход в разных регионах происходил неравномерно в пределах VI тыс. до н.э. Установлено, что появление неоли-

тических традиций в лесной зоне связано с импульсами из южных степных областей Восточной Европы [Зайцева, Мазуркевич, 2016].

Для других памятников имеются ^{14}C-даты, соответствующие неолиту северо-западных областей Восточной Европы. Так, для ряда погребений могильника Звейниеки по кости получена серия ^{14}C-дат в пределах VI–V тыс. до н.э., дата для погр. № 57 с жезлом 6825 ± ± 60 л.н. (Ua 3636) [Зайцева и др., 1997, с. 125; Тимофеев и др., 2004, с. 107–108]. Еще более поздняя дата – IV – начало III тыс. до н.э. – характеризует нарвскую культуру [Римантене, 2000].

Таким образом, в лесной зоне традиция использования лосиноголовых жезлов возникла в мезолите и продолжала бытовать в условиях стабильного охотничье-рыболовного хозяйства на всем протяжении неолита – в VI – начале III тыс. до н.э. В степной зоне Восточной Европы в период, соответствующий мезолиту лесной зоны, были уже сложившиеся неолитические культуры, а в конце VI тыс. до н.э. начался переход к энеолиту [Неолит Северной Евразии, 1996, с. 330–348, 378].

Артефактов, представляющих искусство эпох мезолита и неолита степных областей, меньше по сравнению с таковыми лесной зоны, что объясняется прежде всего тем, что в почвах степи сохранить деревянные и зачастую костяные изделия невозможно. Кроме того, в степной зоне единичны такие памятники, как могильники. Однако на немногих могильниках эпохи мезолита, например, Васильевском I и III в Поднепровье, где изучены десятки погребений, выявлены только кремневые вкладыши-пластины [Мезолит СССР, 1989, с. 122–124]. Отдельные скульптуры малых форм обнаружены на памятниках эпохи неолита и энеолита [Неолит Северной Евразии, 1996]. Изделия выполнены из камня, глины или кости, в редких случаях они передают зооморфные образы. На западе Северного Причерноморья уже в неолите были широко представлены антропоморфная пластика и расписная керамика. В восточной части ареала степей свидетельствами художественного творчества населения являются исключительно орнаментальные мотивы на глиняной посуде и редкие изделия мелкой пластики. Примечательно, что в этих фигурках воплощен образ быка или лошади. Культ этих животных прочно вошел в ритуальную практику степного населения и в дальнейшем нашел широкое отражение в погребальных ритуалах, а также в художественном творчестве [Формозов, 1969, с. 135–138; Васильев, Матвеева, 1979; Юдин, 2004]. Обожествление коня, его значение и место в религии кочевников раннего железного века рассмотрены в ряде научных работ (см., напр.: [Кузьмина, 2002, с. 46–73]).

На связь изобразительной деятельности, излюбленных образов в первобытном искусстве со средой обитания и с основными направлениями жизнеобеспечения обращали внимание многие исследователи [Окладников, 1950а, б; Формозов, 1969; Гурина, 1971; и др.]. Очевидно, что в эпохи мезолита, неолита, а также энеолита промысловая деятельность населения степной зоны и примыкавшей к ней южной части лесостепи отличалась от таковой лесных регионов и была связана с разными видами животных, например, для жителей степи – лесостепи наибольшее значение имели туры, лошади, сайгаки [Белановская, 1995, с. 145–147; Моргунова, 1995, с. 81–83; Котова, 2002, с. 111–119; Юдин, 2004, с. 195].

Заключение

Погребение у пос. Пушкинского, вероятно, было совершено в эпоху раннего неолита, скорее всего представителями елшанской культуры. Найденный в нем жезл является одним из выдающихся произведений первобытного искусства. По смысловой нагрузке он относится к ряду подобных артефактов, обнаруженных в основном на памятниках лесного мезолита – неолита Восточной Европы и связанных с охотничьими культами и мифотворчеством. Вместе с тем пушкинский жезл имеет особенности, которые проявляются в стилистике изображения и выборе прототипа, зависевшего, вероятно, от направленности промысловой деятельности местного населения в условиях степи – лесостепи. Поэтому, хотя древний художник стремился создать образ лошади, а не лося, сам предмет, по исполнению близкий к канону, обнаруживает связь с какими-то общими для всего ареала подобных изделий традициями.

При рассмотрении изделий в виде жезлов с зооморфными навершиями, на мой взгляд, необходимо учитывать разницу в хронологии эпох разных ландшафтных зон. С учетом данных о формировании неолита северных областей в результате импульсов из южных регионов и о широком распространении в гончарстве лесной зоны многих черт, присущих елшанской, сурско-днепровской и другим степным культурам, можно предположить, что традиция использования изогнутых жезлов с зооморфными навершиями в культовой практике зародилась в степи – лесостепи, затем она, адаптированная к иным природным условиям, стала бытовать в лесных культурах.

Необходимо обратить внимание на то, что погребение, в котором обнаружен жезл, принадлежало мужчине, по тем временам преклонного возраста; судя по положению костей, его похоронили в положении сидя. На Оленеостровском могильнике находилось погребение человека, захороненного в положении стоя. Обряд как первого, так и второго погребений является исключительным. Обстоятельства погребения,

а также наличие в захоронении уникального изделия свидетельствуют в пользу предположения о престижности жезлов с зооморфными навершиями и об их связи с людьми, которые находились на высшей ступени иерархической лестницы; как известно, в первобытных обществах ими являлись служители культов.

Благодарности

Работа выполнена за счет гранта РФФИ (проект № 18-09-40031). Автор благодарит А.И. Королева, А.Ф. Кочкину, Д.А. Сташенкова за предоставление фотографии жезла из могильника Екатериновский Мыс и возможность ее использования в данной публикации. Выражаю также большую признательность А.А. Выборнову за консультации в ходе подготовки статьи.

Список литературы

Белановская Т.Д. Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья. Поселение времени неолита и энеолита Ракушечный Яр. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 1995. – 200 с.

Богданов С.В. Токский жезл // Древняя история населения волго-уральских степей. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ин-та, 1992. – С. 195–207.

Васильев И.Б. Погребение в «позе сидя» у с. Старо-Кабаново в Башкирии // Вопросы археологии Урала и Поволжья. – Самара: Самар. гос. ун-т, 2004. – Вып. 2. – С. 50–66.

Васильев И.Б., Матвеева Г.И. Могильник у с. Съезжее на р. Самаре // СА. – 1979. – № 4. – С. 147–166.

Выборнов А.А., Андреев К.М., Кулькова М.А., Нестеров Е.М. Радиоуглеродные данные к хронологии неолита лесостепного Поволжья // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э. – Смоленск: Свиток, 2016. – С. 74–96.

Гурина Н.Н. Оленеостровский могильник. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 430 с. – (МИА; вып. 47).

Гурина Н.Н. Искусство неолитических племен лесной полосы Европейской части СССР // История искусства народов СССР. – М.: Изобраз. искусство, 1971. – Т. 1. – С. 64–71.

Гурина Н.Н. Мезолит Карелии // Мезолит СССР / под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1989. – С. 27–31. – (Археология СССР).

Жульников А.М., Кашина Е.А. «Лосиноголовые» жезлы в культуре древнего населения Зауралья, Северной и Восточной Европы // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2. – С. 71–78.

Загоркис Ф.А. Костяная и роговая скульптура из могильника Звейниеки // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. – Л.: Наука, 1983. – С. 138–142.

Зайцева Г.И., Мазуркевич А.Н. Введение // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э. – Смоленск: Свиток, 2016. – С. 11–13.

Зайцева Г.И., Тимофеев В.И., Загорская И., Ковалюх Н.Н. Радиоуглеродные даты памятников мезолита Восточной Европы // Радиоуглерод и археология. – СПб.: ИИМК РАН, 1997. – Вып. 2. – С. 117–127.

Казаков Е.П. Памятники эпохи камня в Закамье // Археология Поволжья и Урала. Материалы и исследования. – Казань: Фолиантъ, 2011. – Вып. 1. – 180 с.

Кашина Е.А. Искусство малых форм неолита – энеолита лесной зоны Восточной Европы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2005. – 22 с.

Колпаков Е.М. Лосиноголовые жезлы (топоры) Северной Европы // Stratum Plus. – 2018. – № 1. – С. 163–180.

Королев А.И., Кочкина А.Ф., Сташенков Д.А. Результаты новых исследований могильника Екатериновский Мыс // XXI Уральское археологическое совещание: мат-лы Всерос. научн. конф. – Самара, 2018. – С. 40–42.

Котова Н.С. Неолитизация Украины. – Луганск: Шлях, 2002. – 268 с.

Кузьмина Е.Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2002. – 288 с.

Купцова Л.В., Зарецкая Н.Е., Моргунова Н.Л., Хохлов А.А. Древнейшие погребения в Оренбуржье (о двух захоронениях курганного могильника у с. Лабазы) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII: Антропология. – М.: Моск. гос. ун-т, 2019. – № 1. – С. 131–139.

Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А. Результаты палеогеоморфологических исследований на стоянках неолита – бронзы в бассейне р. Самара // Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. – Оренбург: Южный Урал, 1995. – С. 177–199.

Мезолит СССР / под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1989. – 352 с. – (Археология СССР).

Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 3. – 220 с.

Моргунова Н.Л. Раскопки Турганикской стоянки // АО 1982 года. – М.: Наука, 1984. – С. 163.

Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. – Оренбург: Южный Урал, 1995. – 222 с.

Моргунова Н.Л. Энеолит Волжско-Уральского междуречья. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2011. – 220 с.

Моргунова Н.Л., Васильева И.Н., Кулькова Н.А., Рослякова Н.В., Салугина Н.П., Турецкий М.А., Файзуллин А.А., Хохлова О.С. Турганикское поселение в Оренбургской области. – Оренбург: Изд. центр Оренбург. гос. аграр. ун-та, 2017. – 300 с.

Неолит Северной Евразии / под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1996. – 379 с. – (Археология СССР).

Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. – Л.: Изд-во АН СССР, 1950а. – 412 с. – (МИА; № 18).

Окладников А.П. Культ медведя у неолитических племен Восточной Сибири // СА. – 1950б. – № 14. – С. 7–19.

Окладников А.П. Искусство неолитических племен Сибири // История искусства народов СССР. – М.: Изобраз. искусство, 1971. – Т. 1. – С. 86–96.

Петренко А.Г. Результаты определения археозоологических материалов из раскопок Ивановской стоянки // Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. – Оренбург: Южный Урал, 1995. – С. 205–220.

Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. – М.: Наука, 1985. – 376 с.

Римантене Р.К. Художественные изделия стоянки Швянтойи-3 // Памятники древнейшей истории Евразии. – М.: Наука, 1975. – С. 138–142.

Римантене Р.К. Хронология неолита в Литве // Хронология неолита Восточной Европы. – СПб.: ИИМК РАН, 2000. – С. 67–68.

Савченко С.Н. Раннемезолитическое роговое навершие в виде головы фантастического зверя из Среднего Зауралья // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2018. – № 2. – С. 191–207.

Сериков Ю.Б. Шаманские погребения Зауралья // Вопросы археологии Урала. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. – Вып. 23. – С. 29–47.

Столяр А.Д. «Жезлы» онежских петроглифов и их материальные прототипы // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. – Л.: Наука, 1983. – С. 145–158.

Телегин Д.Я. Об основных позициях в положении погребенных первобытной эпохи Европейской части СССР // Энеолит и бронзовый век Украины. – Киев: Наук. Думка, 1976. – С. 5–21.

Тимофеев В.И. Радиоуглеродные даты и проблемы неолитизации Восточной Европы // Хронология неолита Восточной Европы. – СПб.: ИИМК РАН, 2000. – С. 81–82.

Тимофеев В.И., Зайцева Г.И., Долуханов П.М., Шокуров А.М. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. – СПб.: ИИМК РАН: Теза, 2004. – 158 с.

Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. – М.: Наука, 1969. – 255 с.

Хлобыстина М.Д. «Сидячие» погребения культур Северной Евразии эпохи неолита и бронзы // КСИА. – 1991. – Вып. 203. – С. 32–38.

Чернецов В.Н., Мошинская В.И. Древнее искусство Урала и Западной Сибири // История искусства народов СССР. – М.: Изобраз. искусство, 1971. – Т. 1. – С. 71–82.

Шилов С.Н., Маслюженко Д.Н. Сидячие погребения эпохи энеолита на территории степного Притоболья // Вопросы археологии Поволжья. – Самара: Науч.-технич. центр, 2006. – Вып. 4. – С. 186–191.

Юдин А.И. Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 2004. – 199 с.

Korolev A., Kochkina A., Stashenkov D. The Early Eneolithic burial ground at Ekaterinovsky Cape in the forest-steppe Volga region // Documenta Praehistorica. – 2019. – Vol. XLVI. – P. 388–397.

Материал поступил в редколлегию 17.02.20 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.022-028
УДК 903.5

П.П. Гасымов
Институт археологии и этнографии
Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu
pr. H. Cavid, 115, Baki, AZ1143, Azərbaycan
E-mail: parviz.pashaoglu@gmail.com

Проблема культурной идентификации подкурганных склепов раннего бронзового века на территории Азербайджанской Республики

Статья посвящена вопросу о культурной принадлежности специфического курганного типа погребений, относящихся к раннему бронзовому веку, в Северо-Западном Азербайджане, вдоль восточных предгорий Малого Кавказа. Они вошли в научный оборот под названием «подкурганные склепы» или «курганы с камерами коллективного погребения». Существует мнение, что данная традиция относится к протокуро-араксской культуре. Для верификации этого предположения был проведен анализ керамики из подкурганных склепов Шадылы, Узун-Рама и Ментеш-Тепе, радиоуглеродные даты которых известны. Он показал, что эта керамика не содержит растительной примеси, изготовлена вручную и является грубой имитацией форм урукской традиции. Она генетически не связана с красно-черной полированной куро-араксской керамикой ручной работы. Кроме того, в развитой куро-араксской культуре и ее локальных вариантах не наблюдается продолжение традиции коллективных захоронений в подкурганном склепе и его сжигания в конце функционирования. Дискуссионными остаются вопросы, связанные с корнями данной традиции. Можно только заключить, что она появилась в XXXIV в. до н.э. и исчезла на рубеже XXXI–XXX вв. до н.э., когда на Южном Кавказе получила распространение куро-араксская культура.

Ключевые слова: *подкурганные склепы, коллективное погребение, куро-араксская культура, ранний бронзовый век, Южный Кавказ, лейлатепинская культура, культура ямочно-гребенчатой керамики.*

P.P. Gasymov
Institute of Archaeology and Ethnography,
Azerbaijan National Academy of Sciences,
H. Javid Ave. 115, Baku, AZ 1143, Azerbaijan
E-mail: parviz.pashaoglu@gmail.com

Cultural Attribution of Early Bronze Age Tombs Under Kurgans in Azerbaijan

This study focuses on the cultural attribution of a distinct category of Early Bronze Age burials in the eastern piedmont of the Lesser Caucasus, northwestern Azerbaijan, known as "tombs under kurgans" or "kurgans with collective burials in tombs". There was an opinion that such burials belong to the early period of the Kura-Araxes (or proto-Kura-Araxes) culture. To test this idea, we analyzed ceramics from tombs under kurgans at Shadyly, Uzun-Rama, and Mentesh-Tepe, all of which have radiocarbon dates. Results suggest that the vessels are hand-made, their paste contains no organic temper, and they are a coarse imitation of the Uruk ceramics. This tradition is unrelated to the Kura-Araxes culture, marked by a handmade red-and-black burnished pottery. Also, at the highly developed stage of the Kura-Araxes in any of its local versions, collective burials in tombs were not practiced. Thus, before the emergence of the Kuro-Araxes culture in the Southern Caucasus, there was a population practicing the tradition of kurgans with collective burials in tombs. The origin of this tradition is a contentious matter. What we know only is that it emerged in the 34th century BC and disappeared around the 31st–30th centuries BC, following the Kura-Araxes expansion in the Southern Caucasus.

Keywords: *Tombs under kurgans, collective burial, Kura-Araxes culture, Early Bronze Age, Southern Caucasus, Leyla-Tepe culture, Pit-Comb Ware culture.*

© Гасымов П.П., 2020

Введение

На северо-западе Азербайджана, вдоль восточных предгорий Малого Кавказа, была отмечена особая группа курганов раннего бронзового века (рис. 1): Дашлытепе (Габалинский р-н), Дашлытепе (Шамкирский р-н), Борсунлу (Тертерский р-н), Дашуз (Шекинский р-н), Османбозу (Шамкирский р-н), Ментеш-Тепе (Товузский р-н), Узун-Рама и Шадылы (Геранбойский р-н), Гянджа, Гёйгёль, Ханкенди (возле соответствующих одноименных городов). Их объединяет наличие прямоугольных или круглых в плане камер с коллективными захоронениями. Погребения этого типа были введены в научный оборот под названием «подкурганные склепы» и отнесены к периоду ранней стадии куро-араксской культуры. Их классификация по различным аспектам выполнена Т. Ахундовым [1999].

В течение довольно длительного времени предполагалось, что подкурганные склепы существовали в период перехода от раннего к среднему бронзовому веку. Среди курганов данного типа, исследованных в начале второго десятилетия XXI в., только три (Шадылы, Узун-Рама и Ментеш-Тепе) имеют радиоуглеродные даты. Их датирование опровергло имеющееся мнение о возрасте рассматриваемых памятников. Более того, общие черты курганов этого типа, относящихся ко второй половине IV тыс. до н.э., т.е. к началу раннего бронзового века, не характерны для куро-араксской культуры. Информация о кургане Узун-Рама представлена в статье Б. Джалилова [Jalilov, 2018], о Ментеш-Тепе – в публикации Б. Лионне [Lyonnet, 2014] и коллективных работах азербайджанских и французских исследователей [Lyonnet, Quliyev, Bouquet et al., 2011; Lyonnet, Guliyev, Helwing et al., 2012; Lyonnet, Pecqueur, Guliyev, 2013; Lyonnet, Guliyev, Baudouin et al., 2017].

Существует мнение, что подкурганные склепы относятся к ранней стадии куро-араксской культуры (или к протокуро-араксской) [Poulmarc'h, Pecqueur, Jalilov, 2014, p. 231, 239]. Анализ материалов этих памятников дает основания говорить об отсутствии единства в погребальном обряде и керамическом комплексе куро-араксцев и населения, создавшего подкурганные склепы. Последнее исчезло по неизвестным причинам во время перемещения носителей куро-араксской культуры на Южный Кавказ. Сходство их традиций связано с общими культурными корнями (урукская традиция).

Проблемы культурной идентификации

Прежде чем начать эту тему, отметим проблему хронологии кургана Ментеш-Тепе, обнаруженного на территории одноименного неолитического поселения. Б. Лионне, одна из руководителей азербайджано-

Рис.1. Расположение курганов с коллективными погребениями в камерах-склепах.
1 – Дашлытепе (Шамкирский р-н); *2* – Гянджа; *3* – Гёйгёль; *4* – Дашуз; *5* – Дашлытепе (Габалинский р-н); *6* – Османбозу; *7* – Ханкенди; *8* – Борсунлу; *9* – Шадылы; *10* – Узун-Рама; *11* – Ментеш-Тепе.

французской археологической экспедиции, по материалам памятника выделила четыре периода, последний из которых длился со второй половины IV тыс. до н.э. до середины III тыс. до н.э. [Lyonnet, Guliyev, Helwing et al., 2012, s. 87]. На основании ^{14}C-дат были определены три интервала: 3500–2900 гг. до н.э. (фаза 1), к которому относится курган с коллективным захоронением в склепе, 2800–2450 гг. до н.э. (фазы 2 и 3) и 2536–2300 гг. до н.э. (фаза 3) [Lyonnet, 2014, p. 118–119, 121, 125, 127].

Мы уже отмечали хронологический парадокс, связанный с радиоуглеродными датами подкурганного склепа Ментеш-Тепе. Аналогичные курганы Узун-Рама и Шадылы функционировали в XXXIV/XXXIII–XXXII вв. до н.э. [Poulmarc'h, Pecqueur, Jalilov, 2014, p. 242], т.е. не более 200 лет. Это дает основание усомниться в датировке подкурганного склепа Ментеш-Тепе 3500–2900 гг. до н.э. (XXXVI–XXX вв. до н.э.) или второй половиной IV тыс. до н.э. [Lyonnet, Guliyev, Helwing et al., 2012, s. 92–93; Lyonnet, 2014, p. 119; Lyonnet, Guliyev, Baudouin et al., 2017, p. 137–139; Poulmarc'h, Pecqueur, Jalilov, 2014, p. 240–242]. Трудно представить, что курган мог функционировать 600 лет, тем более, что в нем похоронено только 39 чел. [Lyonnet, Pecqueur, Guliyev, 2013, s. 103]. Мы столкнулись с проблемой отбора образцов для радиоуглеродного анализа [Qasimov, 2019, s. 34–36]. В кратком отчете, опубликованном в 2015 г., курган Ментеш-Тепе отнесен к 3100–2900 гг. до н.э. и период функционирования склепа определен в 150–200 лет [Guliyev, Lyonnet, 2015, s. 363], что более реалистично.

Как мы отмечали выше, подкурганные склепы Ментеш-Тепе, Шадылы и Узун-Рама датируются периодом, соответствующим ранней стадии куро-аракс-

ской культуры. М. Поулмарх определила подобные памятники как «особую группу курганов» и отнесла их к данной культуре [Poulmarc'h, Pecqueur, Jalilov, 2014, p. 239]. Но так ли это?

Б. Лионне особо отметила, что керамика, найденная в Ментеш-Тепе на уровне фаз 2, 3, аналогична обнаруженной в курганах Узун-Рама и Борсунлу, подкурганном склепе в Габалинском р-не, а также на поселении Гаракёпектепе в Физулинском р-не и на памятниках ранней куро-араксской культуры в Грузии. Анализ керамических материалов из подкурганного склепа Ментеш-Тепе показал, что сосуды были сделаны не на гончарном круге. Основная часть керамики изготовлена из низкокачественной глины, которая не очень хорошо вымешивалась, а ее цвет был красноватым, сероватым с коричневым оттенком. Чистой черной керамики пока не обнаружено. Отпечатков ткани на фрагментах не зафиксировано. Большинство сосудов имели горшковидную форму, ручки располагались между ободком и верхней частью плеча [Lyonnet, 2014, p. 118–119, 120, fig. 4].

На первый взгляд в склепах Ментеш-Тепе, Шадылы и Узун-Рама представлена керамика одного и того же типа. Аналогичные керамические изделия зарегистрированы в других регионах Южного Кавказа и Анатолии. Существует серьезное расхождение во взглядах Б. Лионне и Б. Джалилова на проблему культурной идентификации подкурганных склепов. Керамические изделия, обнаруженные в курганах Шадылы (в 2011 г.) и Узун-Рама (в 2012 г.) Гёйгёль-Геранбойской археологической экспедицией, аналогичны материалам кургана Ментеш-Тепе. Б. Джалилов отметил, что они отличаются от классических горшков куро-араксской культуры. Эта разница особенно четко прослеживается в форме ручек. У сосудов из подкурганных склепов они простые, с овальным поперечным сечением. Нет ручек в форме полусферы, напоминающих «бычий нос», и с выпуклыми украшениями, как у классических куро-араксских горшков. У последних переход от туловища к горловине явно разделяется, а у сосудов из склепов нет. Также отмечены специфические формы туловища [Jalilov, 2012, s. 151; 2013, s. 132, ill. 6; 2018, fig. 9–11; Lyonnet, 2014, p. 120, fig. 4]. Сравнительный анализ образцов материальной культуры из рассматриваемых курганов и куро-араксских памятников показал, что они имеют разные характерные черты. По мнению Б. Джалилова, основанному на историко-аналитических исследованиях, материалы подкурганных склепов относятся к тому же периоду, что и куро-араксские, но тем не менее это другая культура [Jalilov, 2012, s. 146–152; 2013, s. 128–134]. Следует отметить, что сначала он датировал данные памятники, согласно классификации Т.И. Ахундова [1999, с. 46, 84–87], переходным периодом от раннего к среднему бронзовому веку. Но после того как стали известны ^{14}C-даты курганов Шадылы и Узун-Рама, Б. Джалилов признал, что они относятся к начальному этапу эпохи ранней бронзы [Poulmarc'h, Pecqueur, Jalilov, 2014, p. 242].

По мнению Б. Лионне, керамика из подкурганного склепа Ментеш-Тепе обнаруживает аналогии в керамическом комплексе фазы VIA Арслантепе [Lyonnet, 2014, p. 118–119]. Последний, согласно исследованиям Дж. Палумби, подразделяется на две группы: посуду, изготовленную на гончарном круге в соответствии с урукскими традициями, и изделия ручной работы, полированные, красно-черного цвета. При этом Дж. Палумби особо подчеркивает, что керамика первой группы не была простой имитацией сирийско-месопотамской того же периода, в ней прослеживается смешение урукской и местной гончарных традиций. Вторая группа постепенно увеличивается к фазе VII Арслантепе. Дж. Палумби связывает корни этой керамики с традициями Центральной и Северо-Восточной Анатолии [Palumbi, 2008, p. 79, 81].

Существует большая разница между керамическими материалами из подкурганных склепов раннего бронзового века и фазы VIA Арслантепе как по составу формовочных масс, так и по форме изделий. Различие по последнему критерию очевидно при сравнении образцов из Арслантепе [Ibid., p. 82–87, fig. 3, *15*, *20*] и курганов Ментеш-Тепе [Lyonnet, 2014, p. 120, fig. 4], Шадылы и Узун-Рама. Здесь единственным исключением является подкурганный склеп Дашлытепе (Шамкирский р-н), где у четырех керамических сосудов из 11 ручки имеют форму полусферы и похожи на «нахчыванские» («бычий нос»), характерные для классических горшков куро-араксской культуры [Ахундов, 1999, с. 15–16, табл. XI, 1, 2, 4, 5]. Однако следует отметить, что это единственный подкурганный склеп, в котором зарегистрированы образцы, аналогичные куро-араксской керамике.

Можно сделать вывод, что в период формирования куро-араксской культуры на Южном Кавказе существовала совершенно иная общность, характеризующаяся традицией коллективных захоронений в подкурганных склепах. И если эта общность трансформировалась в один из компонентов куро-араксской культуры, то подкурганные склепы должны были сооружаться на Южном и Северном Кавказе, в Анатолии или Леванте после 3000–2900 гг. до н.э. Тем не менее они не отмечены в ареале развитой куро-араксской культуры.

Таким образом, керамика из Ментеш-Тепе сходна с таковой из курганов Шадылы и Узун-Рама, ^{14}C-даты которых известны. Аналогичные керамические материалы обнаружены и в других исследованных подкурганных склепах, например, в кург. 103 Ханкенди [Гуммель, 1939, с. 87–88, табл. VI, 18].

Отметим один интересный момент. По словам Б. Лионне, на керамике из кургана Ментеш-Тепе не за-

фиксированы текстильные отпечатки (на внутренней или внешней поверхности?) [Lyonnet, 2014, p. 118–121]. Однако на некоторых образцах из кургана Узун-Рама они прослеживаются на внутренней стороне или в изломе фрагментов стенок. По словам Б. Джалилова, здесь наблюдается продолжение керамических традиций халколита: «…образцы формовались в формах, изготовленных с использованием тканевых мешков. В этом случае в состав глиняной смеси были добавлены относительно крупные частицы песка и мелкие камни. Затем и внутренняя, и внешняя поверхность готовых сосудов заглаживалась и полировалась. Тем не менее на некоторых участках оттиски ткани четко прослеживаются у основания горшка, особенно в труднодоступных местах» [Jalilov, 2018, p. 99]. Следует отметить, что текстильные отпечатки на внутренней поверхности керамики из кургана Узун-Рама были обнаружены после первой публикации о памятнике [Jalilov, 2013, s. 132–133]. Исходя из этого, было бы интересно еще раз исследовать материалы курганов Шадылы и Ментеш-Тепе на наличие таких отпечатков на внутренней стороне горшков. Керамика, изготовленная с использованием тканевых мешков («мешочная керамика»), отмечена на поселениях халколита и раннего бронзового века на Южном Кавказе и в Дагестане [Гаджиев, 1983, с. 6–15; 1991, с. 23, 140–143]. Я. Гуммель описал тип плетения ткани (на рус. яз. «гроденапль», на англ. яз. «plain/tabby/linen/taffeta weave») по оттискам на внутренней поверхности некоторых горшков из склепов кург. 103 и 119 Ханкенди [1939, с. 87–88, табл. VI, 18; 1948, с. 19].

Технология изготовления керамики с использованием тканевых мешков в сочетании с традицией коллективных захоронений в подкурганных склепах дает основание поддержать мнение Б. Джалилова о том, что мы имеем дело с совершенно новой археологической культурой [Jalilov, 2012, s. 146–152; 2013, s. 128–134].

Проблемы генезиса

Подкурганные склепы были обнаружены вдоль восточной части Малого Кавказа [Lyonnet, 2014, p. 118–119]. Мы полностью согласны с мнением Б. Лионне о том, что пока невозможно подтвердить гипотезу об их локализации только в этом районе, т.к. территория Азербайджанской Республики, расположенная вблизи Каспийского моря, еще недостаточно исследована, там не проводился целенаправленный поиск памятников данного типа [Ibid., p. 128]. Трудно определить истоки традиции коллективных захоронений в подкурганных склепах. Долгое время предполагалось, что она существовала в период перехода от раннего к среднему бронзовому веку. Радиоуглеродные даты трех подкурганных склепов (Шадылы, Узун-Рама и Ментеш-Тепе) опровергли эту версию. Мы больше не можем говорить о привнесении данной традиции племенами с севера, как предполагалось ранее [Ахундов, 1999, с. 77–87], а также связывать ее генезис с майкопской или новотиторовской культурами [Гей, 2000, с. 197–198; 2009, с. 16], в которых отсутствовал похожий погребальный обряд.

Традиция коллективных захоронений в камерах с дромосом, ритуал сожжения в конце их использования, а также большинство форм керамики в основном локализованы в западной части Азербайджана. По мнению Б. Лионне, это может указывать на то, что они привнесены с запада, т.е. с территории Грузии [Lyonnet, 2014, p. 128]. Однако там аналогичные рассматриваемым подкурганные склепы, относящиеся к первой половине IV тыс. до н.э., не найдены (может быть, пока?). Подобные формы массовых захоронений в погребальных камерах на территории Грузии (курганы Алазанской долины, Кикети, Кода, Бедени, Самгори) датируются поздними этапами раннего бронзового века [Jalilov, 2018, p. 95].

Могли ли носители лейлатепинской культуры принять участие в генезисе традиции подкурганных склепов? Как известно, с этой культурой связано возникновение курганного погребального обряда в позднем халколите [Museibli, 2014, p. 65–72]. Курганы Южного Кавказа древнее североевразийских [Kohl, Trifonov, 2014, p. 1577]. Поздние ^{14}C-даты лейлатепинских курганов относятся к середине IV тыс. до н.э. [Мусеибли, 2010], и они на 200 лет древнее дат подкурганных склепов. Б. Лионне отметила, что конструктивные элементы рассматриваемых объектов находят аналогии в жилищных сооружениях типа землянок и полуземлянок лейлатепинской культуры, использовании кирпича-сырца в погребальных камерах. Однако в подкурганных склепах раннего бронзового века не обнаружены детские захоронения в сосудах, характерные для этой культуры, а в ней не зафиксирована традиция коллективного захоронения с сожжением в конце функционирования подкурганного склепа [Lyonnet, 2014, p. 120–121].

Основную информативную базу лейлатепинской культуры составляют древние поселения, в то время как места обитания создателей подкурганных склепов не обнаружены. Возможно, исследователи до сих пор не смогли связать поселенческие комплексы позднего халколита и раннего бронзового века с этими памятниками. И есть некоторые различия между керамическими материалами позднего халколита [Museibli, 2016, p. 284–287; Алмамедов, 2009–2010; Мусеибли, 2012а, с. 21] и керамикой из подкурганных склепов.

Представляют интерес выводы Т. Ахундова и Х. Алмамедова о культурных процессах в Южном Закавказье накануне появления куро-араксской культуры. В верхних слоях неолитических поселений первой половины IV тыс. до н.э. на территории Муганской степи до равнин средней Куры встречается керамика (очень похожая

Рис. 2. Образцы керамики, сходной с ямочно-гребенчатой, из верхних слоев неолитического поселения Аликомектепе в Джалилабадском р-не (хранятся в археологическом фонде Института археологии и этнографии НАНА, инв. Аликомектепе-71, № 2, 8).

на ямочно-гребенчатую), неизвестная на местных поселениях предшествующего периода, а также в Юго-Западной Азии и Анатолии (рис. 2)*. По словам Т. Ахундова и Х. Алмамедова, во второй четверти IV тыс. до н.э. носители урукской традиции, расширявшие свой ареал, достигли Южного Кавказа. Они способствовали генезису лейлатепинской культуры, которая впоследствии распространилась до Северокавказского региона, где оказала влияние на формирование различных местных культур, а позднее майкопской. «Урукская экспансия» была прервана появлением в районах, прилегающих к Южному Кавказу, куро-араксских племен, отрезавших коммуникационные пути и приостановивших переход от неолита к эпохе бронзы. Носители майкопской культуры продвигались на юг, прежде всего на Южный Кавказ. Это продвижение было прервано в начале III тыс. до н.э., когда куро-араксские племена, расселившись на Южном Кавказе, перекрыли проходы на север [Akhundov, Almamedov, 2009, p. 33–34].

Некоторые керамические сосуды из подкурганных склепов по форме похожи на урукские или даже убейдские. Например, образцы из курганов Шадылы [Jalilov, 2012, p. 151] и Узун-Рама [Jalilov, 2018, p. 102, fig. 11] имеют параллели с керамикой северо-западного ареала урукской традиции (район Мескине, Северная Месопотамия, Западная Сирия, бассейн верхнего Ефрата) из коллекции М.Г. Трентин [Trentin, 1991, vol. II, p. 22, tabl. XVIa, *1–4*; p. 26, tabl. XXIa, 1, *1–5*; p. 77, tabl. Ib, *4*, *a–c*; p. 86, tabl. VIIb, *1*, *4*; p. 100, tabl. XXIb, I, *2*; p. 141, tabl. LXIIIb, 4; p. 149, tabl. Ic; p. 151, tabl. IIIc, *13–15*; p. 171, tabl. XXIIc, *3*; p. 276, tabl. LXXIId, *1*, *5*, *9*, *10*]; два экземпляра из подкурганного склепа Ментеш-Тепе [Lyonnet, 2014, p. 120, fig. 4, *1*, *2*] – с керамикой урукского периода из Северной Месопотамии и Западной Сирии [Trentin, 1991, vol. II, p. 77, tabl. Ib, *4*, *a–c*; p. 149, tabl. Ic, 2, *6*; p. 207, tabl. Id, *6*, *6a*]. Но керамические изделия из подкурганных склепов сделаны не на гончарном круге, в их тесте нет растительной примеси, они не были искусно и пестро декорированы. Похоже, что эти образцы были грубыми имитациями (реминисценциями) некоторых форм керамики убейд-урукского круга.

Керамические сосуды из подкурганных склепов изготовлены в формах с использованием тканевых мешков, большинство из них имеют одну или две горизонтальные ленточные ручки по бокам, а у некоторых ручки соединяют плечо и венчик или шейку [Jalilov, 2018, p. 99]. Как интерпретировать эту керамику? Как «протокуро-араксскую» традицию или «докуро-араксскую», существовавшую накануне продвижения куро-араксцев в Восточное Закавказье?

Азербайджано-французской археологической экспедицией в Ментеш-Тепе обнаружено коллективное захоронение, относящееся к позднему неолиту. Это может быть оценено как важное открытие не только для Южного Кавказа, но и для всего Ближнего Востока. Следует подчеркнуть: не было зафиксировано каких-либо «переходных склепов» в пространстве и времени, позволяющих предположить, что традиция коллективных захоронений в подкурганных склепах раннего бронзового века коренится в неолите. Более 2 300 лет (!) разделяет подкурганные склепы и неолитическое коллективное захоронение, которое датировано 5700 г. до н.э. [Pecqueur et al., 2017, p. 163–164].

Однако отметим, что некоторые признаки сближают подкурганные склепы с коллективными погребениями (толосами) периода Намазга III [Bonora, Vidale, 2013, p. 143] в Туркменистане, датируемыми 3200–2800 гг. до н.э., например, использование сырцовых кирпичей, наличие дромосов, обычай сдвигать кости раннее погребенных к стенам при захоронении новых тел и т.д. [Алекшин, 1986, с. 22–24]. Тем не менее это памятники разных культур; на разделяющей их территории никакие «переходные склепы» не зафиксированы. В настоящее время можно предположить, что мы столкнулись с похожими традициями, которые возникли примерно в один и тот же период в разных регионах, т.е. с конвергенцией [Qasimov, 2019, s. 40].

*Выражаю благодарность Т. Ахундову за предоставление фотографий этих фрагментов керамики.

Дискуссия

Стоит затронуть еще один вопрос: является ли обычай сжигания склепа в конце его функционирования репрезентативным для всех подкурганных склепов? Например, склепы в кург. 7 Борсунлинского могильника [Ахундов, 1999, с. 20–21], кург. 103 [Там же, с. 22–23; Гуммель, 1939, с. 82–88] и 119 [Ахундов, 1999, с. 24–25; Гуммель, 1948, с. 15–19] в Ханкенди не были сожжены и положение костяков не нарушено. Но в информации Я. Гуммеля о двух последних курганах отмечены некоторые несоответствия, связанные с подкурганными склепами [Jafarov, 2000, s. 31, 34]. В общем, проблема корреляции хронологии и культурной атрибуции курганов Шадылы, Узун-Рама и Ментеш-Тепе (^{14}C-даты которых известны) с другими подкурганными склепами, обнаруженными в XX в., все еще ждет своего исследования.

Влияние убейд-урукской традиции на Южном Кавказе несомненно [Мусеибли, 2012б]. Как мы показали выше, Дж. Палумби также отметил урукский компонент в протокуро-араксской керамике. Убейд-урукские традиции (керамика, строительство и т.д.) в разной мере представлены в лейлатепинской, майкопской и куро-араксской культурах. Не могли ли они быть одной из составляющих культуры населения, оставившего подкурганные склепы? Можно ли рассматривать это население как «протокуро-араксское» или «куро-араксское» только на основании общих для всего региона традиций (убейд-урукских)? В таком случае лейлатепинскую и майкопскую культуры тоже нужно интерпретировать как «протокуро-араксские» (?!). То есть мы должны «стирать» границы между археологическими культурами?! Мы предполагаем, что древнее общество, оставившее подкурганные склепы, существовало накануне движения куро-араксских племен в Восточное Закавказье. Оно испытало влияние урукской культуры, но сохранило самобытность в погребальной и керамической традициях.

Есть еще одна общая исследовательская проблема – соответствие названия типа археологических объектов, подобных склепам с коллективными захоронениями под искусственным холмом (в нашей работе это «подкурганные склепы»), термину «курганный тип погребальных памятников». По данным археологии и этнографии, кочевые и полукочевые народы не хоронили так много своих умерших соплеменников в склепе под рукотворным холмом, и использовался он короткое время, по сравнению с коллективными погребальными склепами раннего бронзового века в восточных предгорьях Малого Кавказа. Возможно, мы имеем дело с погребением сгоревшего склепа (склепа-землянки или склепа-полуземлянки), а не с курганным типом погребальных памятников. Вообще существует проблема обозначения археологических объектов этого типа. Есть необходимость в экстенсиональном и интенсиональном определении таких терминов, как «погребальный холм», «курган», «тумулус», «подкурганный склеп» и т.д.

Заключение

Таким образом, имеющаяся информация пока не дает достаточное представление о культурной и социальной жизни населения, оставившего погребальные склепы с коллективными захоронениями. Можно сказать следующее. Традиция коллективных захоронений в подкурганных склепах появилась в XXXIV в. до н.э. (середина третьей четверти IV тыс.) и исчезла на рубеже XXXI–XXX вв. до н.э. (в конце IV – начале III тыс.). Носители этой традиции обитали вдоль восточных предгорий Малого Кавказа. Они были мобильными скотоводами, не имевшими долговременных поселений. Единственное, что связывает данную популяцию с параллельно существовавшими носителями ранней куро-араксской культуры, – урукские традиции. Не зафиксированы археологические памятники, свидетельствующие о миграции создателей подкурганных склепов в вышеуказанную область из других районов Южного Кавказа либо из более отдаленных соседних регионов. Данная традиция прекратила свое существование в 3000–2900 гг. до н.э., когда на эту территорию пришли куро-араксские племена. Характерные для нее специфическая керамика и коллективные погребения в подкурганных склепах-камерах не наблюдаются в развитой куро-араксской культуре (даже после 3000–2900 гг. до н.э.) и ее локальных вариантах. Исчезновение традиции может быть связано с депопуляцией вследствие голода, инфекционных заболеваний и т.п., или синтезом культур, или ассимиляцией местного населения пришлым. Еще раз необходимо отметить, что данные выводы сделаны в рамках рабочей гипотезы. Они могут быть опровергнуты в результате новых исследований.

Список литературы

Алекшин В.А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего Востока). – Л.: Наука, 1986. – 191 с.

Алмамедов Х.И. Крашеная и расписная керамика Азербайджана эпохи энеолита // Археология Кавказа. – Тбилиси, 2009–2010. – № 2/3. – С. 3–18.

Ахундов Т.И. Древнейшие курганы Южного Кавказа (культура подкурганных склепов). – Баку: Эльм, 1999. – 94 с.

Гаджиев М.Г. Поселения горного Дагестана эпохи ранней бронзы // Древние и средневековые поселения Дагестана. – Махачкала: Дагестан. фил. АН СССР, 1983. – С. 6–43.

Гаджиев М.Г. Раннеземледельческая культура Северного Кавказа (эпоха энеолита и ранней бронзы). – М.: Наука, 1991. – 264 с.

Гей А.Н. Новотиторовская культура. – М.: Старый сад, 2000. – 224 с.

Гей А.Н. О характере, критериях и векторах миграционных процессов бронзового века Циркумпонтийской зоны // КСИА. – 2009. – Вып. 223. – С. 13–19.

Гуммель Я.И. Раскопки в Нагорно-Карабахской автономной области в 1938 г. // Изв. Азерб. фил. АН СССР. – 1939. – № 4. – С. 77–90.

Гуммель Я.И. Некоторые памятники раннебронзовой эпохи Азербайджана // КСИИМК. – 1948. – Вып. 20. – С. 15–28.

Мусеибли Н.А. Радиокарбонная хронология лейлатепинской культуры // XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа (Магас, 26–30 апр. 2010 г.): Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа: тез. докл. Междунар. конф. – Магас: Археол. центр им. Е.И. Крупнова, 2010. – С. 264–265.

Мусеибли Н.А. Курганный могильник позднего энеолита у с. Союгбулаг в Азербайджане // РА. – 2012а. – № 1. – С. 16–25.

Мусеибли Н.А. Лейлатепинская культура эпохи энеолита между Передней Азией и Северным Кавказом // Зап. ИИМК РАН. – 2012б. – Вып. 7. – С. 31–38.

Akhundov T., Almamedov Kh. South Caucasia in the Neolithic to Early Bronze Age (Central and Eastern Regions) // Azerbaijan – Land between East and West: Transfer of knowledge and technology during the „First Globalization“ of the VIIth–IVth millennium BC: Intern. Symposium, Baku, April 1–3 2009 = Азербайджан – страна, связывающая восток и запад: Обмен знаниями и технологиями в период «первой глобализации» VII–IV тыс. до н.э.: Междунар. симп., Баку, 1–3 апр. 2009 г. – В.: Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung, 2009. – P. 35–37 (на англ. и рус. яз.).

Bonora G.L., Vidale M. The Middle Chalcolithic in Southern Turkmenistan and the archaeological record of Ilgynly-Depe // Ancient Iran and Its Neighbours: Local Developments and Long-range Interactions in the 4th Millennium BC. – Oxford: Oxbow Books, 2013. – P. 140–165.

Guliyev F.E., Lyonnet B. Menteştepe qedim yashayish yeri Tovuz rayonu // Azərbaycanda arxeoloji tedqiqatlar – 2013–2014. – Baki: Xəzər Universiteti, 2015. – S. 361–364.

Jafarov H.F. Azərbaycan e.a. IV minilliyin akhiri – I minilliyin evvellerinde (Garabaghin Gargarchay ve Terterchay hovzelerinin materiallari esasinda). – Baki: Elm, 2000. – 187 s.

Jalilov B.M. Göygöl-Goranboy arxeoloji ekspedisiyasinin Goranboy rayonu ərazisində apardigi tedqiqatlar (Göygöl, Goranboy rayonlari) // Azərbaycanda arxeoloji tedqiqatlar – 2011. – Baki: Xezer Universiteti, 2012. – S. 146–155.

Jalilov B.M. Goygol-Goranboy arxeoloji ekspedisiyasinin apardigi arxeoloji tedqiqatlar (Dashkesen, Goranboy rayonlari) // Azərbaycanda arxeoloji tedqiqatlar – 2012. – Baki: Xezer Universiteti, 2013. – S. 128–137.

Jalilov B.M. The collective burial kurgan of Uzun Rama // TÜBA-AR. – 2018. – Vol. 1, Özel Sayi. – P. 93–106.

Kohl Ph., Trifonov V. The Prehistory of the Caucasus: Internal Developments and External Interactions // The Cambridge World Prehistory: in 3 vols. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2014. – Vol. 3: West and Central Asia and Europe / eds. C. Renfrew, P. Bahn. – P. 1571–1595.

Lyonnet B. The Early Bronze Age in Azerbaijan in the light of recent discoveries // Paléorient. – 2014. – Vol. 40. – N 2: The Kura-Araxes culture from the Caucasus to Iran, Anatolia and the Levant: Between unity and diversity. – P. 115–130.

Lyonnet B., Guliyev F., Baudouin E., Bouquet L., Bruley-Chabot G., Samzun A., Fontugne M., Degorre E., Husson X., Raymond P. Mentesh Tepe (Azerbaijan), a Preliminary Report on the 2012–2014 Excavations // The Kura Projects: New Research on the Later Prehistory of the Southern Caucasus / eds. B. Helwing, T. Aliyev, B. Lyonnet, F. Guliyev, S. Hansen, G. Mirtskhulava. – B.: D. Reimer Verl., 2017. – P. 125–141. – (Archäologie in Iran und Turan; Bd. 16).

Lyonnet B., Guliyev F., Helwing B., Aliyev T., Hansen S., Mirtskhulava G. Ancient Kura 2010–2011: the first two seasons of joint field work in the Southern Caucasus // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. – 2012. – Bd. 44. – S. 1–190.

Lyonnet B., Pecqueur L., Guliyev F. A kurgan of the beginning of the second half of the 3rd millennium BC at Mentesh Tepe // “Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində” Beynəlxalq Elmi Konfransin materiallari, Baki, 10–14 Noyabr 2013. – Baki: Xəzər Universiteti, 2013. – S. 103–104.

Lyonnet B., Quliyev F.E., Bouquet L., Huseynov F., Samzun A., Fontugne M., Zamanov O., Makharadze Z., Bedianashvili G., Ibrahimli N., Ismayılov Z., Mirqedirov M., Muradova E., Olivier V., Pecquer L., Poul’marc M., Raymond P., Reynaud K. Menteshtepe gedim yashayish yerinde arxeolojhi tedqiqatlar (Tovuz rayonu) // Azərbaycanda arxeoloji tedqiqatlar – 2010. – Baki: Xəzər Universiteti, 2011. – S. 314–323.

Museibli N. The grave monuments and burial customs of Leilatepe culture. – Baku: Nafta-Press, 2014. – 140 p.

Museibli N. Potter`s marks on Leilatepe culture pottery: Eastern Anatolian chalcolithic traditions in the Caucasus // Mediterranean Archaeology and Archaeometry. – 2016. – Vol. 16, N 1. – P. 283–294.

Palumbi G. The Red and Black: Social and Cultural Interaction between the Upper Euphrates and the Southern Caucasus Communities in the Fourth and Third Millennium B.C. – Roma: Sapienza Università di Roma, 2008. – 344 p. – (Studi di Preistoria Orientale; vol. 2).

Pecqueur L., Jovenet E., Abadie I., Ringenbach C. La sépulture 342 de Mentesh Tepe (Azerbaïdjan): un exemple de chaîne opératoire funéraire complexe au Néolithique: Etude préliminaire // The Kura Projects: New Research on the Later Prehistory of the Southern Caucasus / eds. B. Helwing, T. Aliyev, B. Lyonnet, F. Guliyev, S. Hansen, G. Mirtskhulava. – B.: D. Reimer Verl., 2017. – P. 163–178. – (Archäologie in Iran und Turan; Bd. 16).

Poulmarc’h M., Pecqueur L., Jalilov B. An overview of Kura-Araxes funerary practices in the Southern Caucasus // Paleorient. – 2014. – Vol. 40. – N 2: The Kura-Araxes culture from the Caucasus to Iran, Anatolia and the Levant: Between unity and diversity. – P. 231–246.

Qasimov P. Menteşhtəpə Ilk Tunc dövrü kurqani: xronoloji paradoks // Azərbaijan arkheologiyasi. – 2019. – C. 22, s.1. – S. 32–52.

Trentin M.G. North-Western Uruk period pottery assemblages: PhD diss. / Univ. of London. – 1991. – Vol. I. – 411 p.; Vol. II. – 315 p.

Материал поступил в редколлегию 24.09.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.029-037
УДК 903.26

С.Н. Кореневский[1], А.И. Юдин[2]
[1]Институт археологии РАН
Ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия
E-mail: Skorenevskiy@yandex.ru
[2]Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия
ул. Глебучев Овраг, 492, Саратов, 410003, Россия
E-mail: Aleyudin@yandex.ru

Две редкие находки с поселений майкопско-новосвободненской общности в Причерноморье

В статье вводятся в научный оборот две уникальные находки из материалов раскопок 2018 г. на поселениях майкопско-новосвободненской общности Первомайское и Чекон в Краснодарском крае – подвеска-амулет и глиняная статуэтка богини. Паркетный орнамент на кулоне позволяет проводить аналогию между этим изделием и цилиндрической подвеской-печатью из Чекона. Такой орнамент хорошо представлен на «пуговичных» печатях Ближнего Востока. Изделия с подобным декором были известны в древней Анатолии как символы богини плодородия. Семантика паркетного орнамента связана с магией этой богини. Поэтому подвески с поселений Первомайское и Чекон можно рассматривать как амулеты с символами культа плодородия. Скульптурка богини из Чекона определена как статуэтка серезлиевского типа позднетрипольской культуры. Она отражает связи местного майкопского населения с трипольским конца IV – первой четверти III тыс. до н.э. Обе публикуемые находки дают повод для реконструкций далеко не однородных верований племен майкопско-новосвободненской общности в развитый и поздний периоды ее существования.

Ключевые слова: *майкопско-новосвободненская общность, поселение, амулет, культ, статуэтка, трипольская культура.*

S.N. Korenevskiy[1] and A.I. Yudin[2]
[1]Institute of Archaeology,
Russian Academy of Sciences,
Dm. Ulyanova 19, Moscow, 117292, Russia
E-mail: skorenevskiy@yandex.ru
[2]Research Center for the Preservation of Cultural Heritage,
Glebuchev Ovrag 492, Saratov, 410003, Russia
E-mail: aleyudin@yandex.ru

Two Rare Finds from the Maikop-Novosvobodnaya Sites in the Black Sea Region

We describe two unique finds from the 2018 excavations at the Maikop-Novosvobodnaya settlements at Pervomayskoye and Chekon in the Krasnodar Territory—a trapezoid pendant and a clay figurine of a goddess, respectively. The "parquet" design on the pendant is paralleled by that on a cylindrical pendant-seal from Chekon. It is frequent on Near Eastern button-seals, and occurs on Anatolian artifacts symbolizing the fertility goddess and the magic related to her. Therefore, the Pervomayskoye and Chekon pendants, too, may be associated with the fertility cult. The figurine of a goddess from Chekon can be attributed to the Serezlievka type of the Late Tripolye culture. It testifies to ties between Maikop and Tripolye in the late 4th to early 3rd millennia BC. Both finds shed light on vastly diverse beliefs of the Maikop-Novosvobodnaya tribes at the middle and late stage of that culture.

Keywords: *Maikop-Novosvobodnaya community, settlement, amulet, cult, figurine, Tripolye culture.*

© Кореневский С.Н., Юдин А.И., 2020

Введение

Две уникальные находки из материалов раскопок 2018 г. на поселениях Первомайское и Чекон в Краснодарском крае представляют большой интерес как предметы культовой символики племен майкопско-новосвободненской общности (МНО), отражающие их верования, которые далеко не одинаковы по своему источнику формирования. В качестве экскурса в историографию понятия МНО отметим, что оно было введено вместо прежнего термина «майкопская культура» с целью сохранить своеобразие включенных в ее состав памятников на фоне бурного накопления нового материала и выделить их типологические особенности. Так, на основании анализа всего керамического фонда МНО удалось выявить диагностические типы посуды, которые указывают на четыре типологических варианта этой общности (майкопский или галюгаевско-серегинский, псекупский, долинский и новосвободненский). Их общими чертами являются отсутствие искусственных минеральных примесей в формовочной массе керамики, красноватые или желтоватые, охристые тона лощеной посуды, элементы орнаментов, находящие аналогии в памятниках Восточной Анатолии времени Арслантепе VIA, обычай хоронить умерших в скорченном положении на боку, покрывать тела красной краской, нередко помещать их на галечную выкладку на дне могилы. Каждый из выделенных вариантов по условиям своего формирования может рассматриваться как особая культура, но детальные механизмы их сложения пока не ясны [Кореневский, 2004, с. 49–64].

Рис. 1. Расположение поселений Первомайское (*1*) и Чекон (*2*).

Находка с поселения Первомайское

Поселение расположено на надпойменной террасе правого берега р. Псиф (левый приток Кубани). Его площадь ок. 3,4 га. Основная территория поселения застроена домами вдоль улицы Первомайской в с. Кеслерове Крымского р-на Краснодарского края, которое находится в 16 км к юго-востоку от ст. Варениковской и примерно в 55 км к северо-востоку от г. Анапы и берега Черного моря (рис. 1).

Общая площадь археологических исследований на поселении Первомайское составила почти 3 000 м^2. Культурный слой, перекрытый пахотным, представляет собой коричневый суглинок мощностью от 0,4 до 0,6 м. В ходе раскопок обнаружено 76 объектов, в т.ч. три безынвентарных захоронения. Двое погребенных, обнаруженных на нижнем уровне культурного слоя, были уложены в скорченном положении на правом боку. Третий скелет находился в округлой могильной яме, которая располагалась над устьем хозяйственной ямы. Человек был захоронен на спине, с согнутыми в коленях ногами, вытянутой вдоль туловища правой рукой и согнутой в локте левой.

Полученный в результате раскопок археологический материал представлен керамикой МНО двух основных типов (рис. 2); очажными приставками-конусами, характерными для псекупского варианта МНО; дисками из стенок сосудов с просверленными отверстиями; глиняной моделью колеса; фрагментом льячки в форме маленькой ложечки; костяными и каменными изделиями, в т.ч. фрагментами каменных топоров; бронзовым ножом. Возраст майкопского слоя в какой-то мере может быть определен по дате, полученной по кости человека из погр. 1, – 4 150 ± ± 70 л.н. (Ki-19677), 2979–2892 гг. до н.э., т.е. XXX–XXIX вв. до н.э. Она соответствует финалу МНО.

Подвеска-кулон (рис. 3) была найдена на участке памятника близ края террасы, на глубине немногим более 0,3 м от поверхности, в верхней части культурного слоя, на одном уровне с майкопской керамикой (см. рис. 2, *1–4*) и каменными предметами (кремневый отщеп, обломок топора). В квадрате, где обнаружена подвеска, имелись хозяйственные ямы, но они располагались в среднем на 0,9 м ниже, в материке.

Изделие, вероятно, изготовлено из рога. Оно имеет желтоватый цвет, трапециевидную форму и овальное сечение. Поверхность предмета заполирована до бле-

ска. Видимо, в древности его много раз протирали. Длина изделия 30 мм, ширина 20, толщина 7 мм; диаметр отверстия для подвешивания 3 мм. На кулоне с двух сторон нанесен одинаковый орнамент: некое подобие косого креста в центре и заштрихованные крест-накрест четыре окружающих его треугольника. Композицию можно представить и как четыре сомкнутых треугольника, заштрихованных по принципу паркета.

Кулон, вероятно, был амулетом. Однако его орнамент напоминает оформление геометрических штампов на подвесках-печатях Ближнего Востока, что позволяет относить изделие к этой категории предметов. Но, конечно, его функция печати условна. В материалах памятников МНО известны две находки данной категории. Первая – гагатовая цилиндрическая бусина из погребения псекупского варианта МНО в кургане у с. Красногвардейского (рис. 4, *1*). На ней выгравированы Древо Жизни и стоящий перед ним олень. Длина бусины 1,9 см, диаметр 1 см [Нехаев, 1986, с. 247, рис. 3]. А.А. Нехаев находит аналогии среди «пуговичных» печатей Ближнего Востока. Одна из них происходит с поселения Тепе-Гавра, другая (рис. 4, *2*), видимо, также из Месопотамии [Там же, рис. 3, *2, 4*].

Вторая майкопская печать в виде цилиндрической бусины (длина 3 см) найдена на поселении Чекон [Бочковой и др., 2013, с. 11] (рис. 4, *3*). Ее поверхность гладкая, полированная, темного цвета. Видимо, бусина изготовлена из насыщенной минеральными примесями глинистой массы. На ней прорезан орнамент, развертка которого представляет собой ряд соприкасающихся ромбов, заштрихованных по принципу паркета. Сверху и снизу они ограничены двойными горизонтальными линиями (рис. 4, *4*). Таким образом, на цилиндрической печати из Чекона такой же вариант паркетного орнамента, как на подвеске-кулоне с поселения Первомайское.

Два оттиска одной и той же печати псекупского типа обнаружены на обломке головки конуса-приставки к очагу с поселения Натухаевское-3 возле г. Новороссийска (рис. 4, *5, 6*) [Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2013]. На них различим геометрический орнамент с зигзагами, напоминающими элементы паркетного орнамента. Что же мог означать этот вид орнамента для древних людей? Изложим нашу версию.

Паркетный орнамент на «пуговичных» печатях фиксируется в Месопотамии с эпохи Убейда [Amiet, 1961, pl. 8, 154, 155]. Он хорошо прослеживается на находках с поселения Сиалк III в Иране (рис. 5, *1–6*) [Ghirshman, 1938, fig. 8, *1*, *4*, *5*; pl. LXXXVI, 117, 417, 1701]. Печати с таким

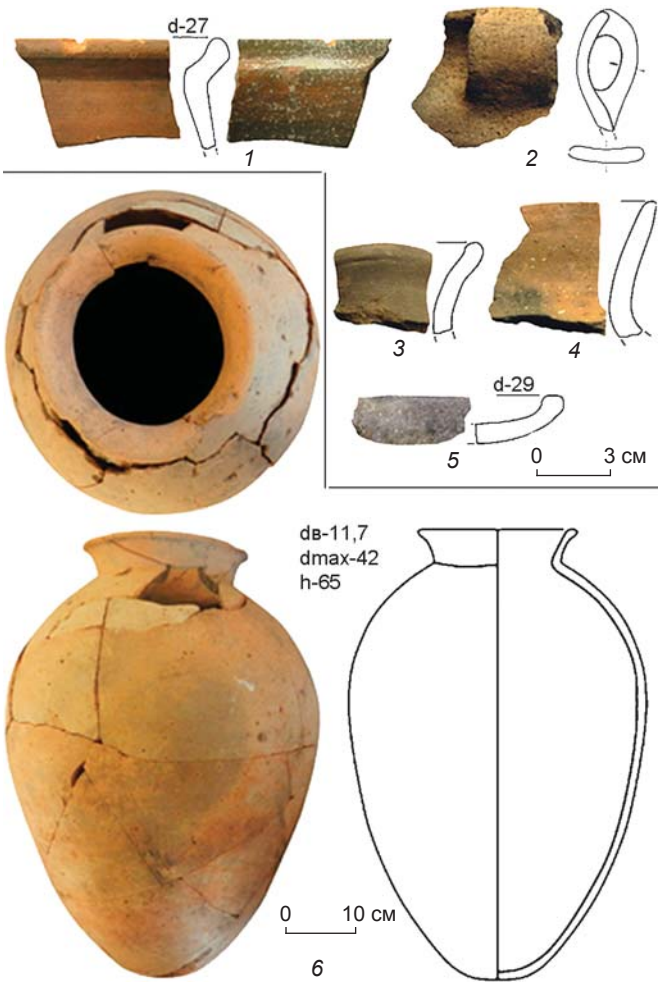

Рис. 2. Керамика с поселения Первомайское.

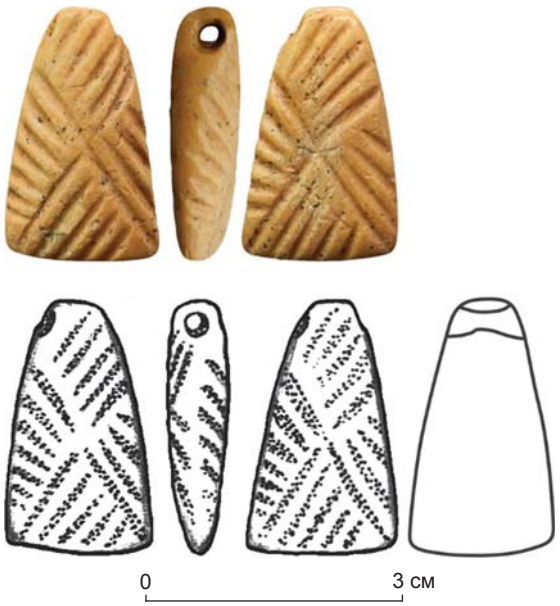

Рис. 3. Подвеска с поселения Первомайское.

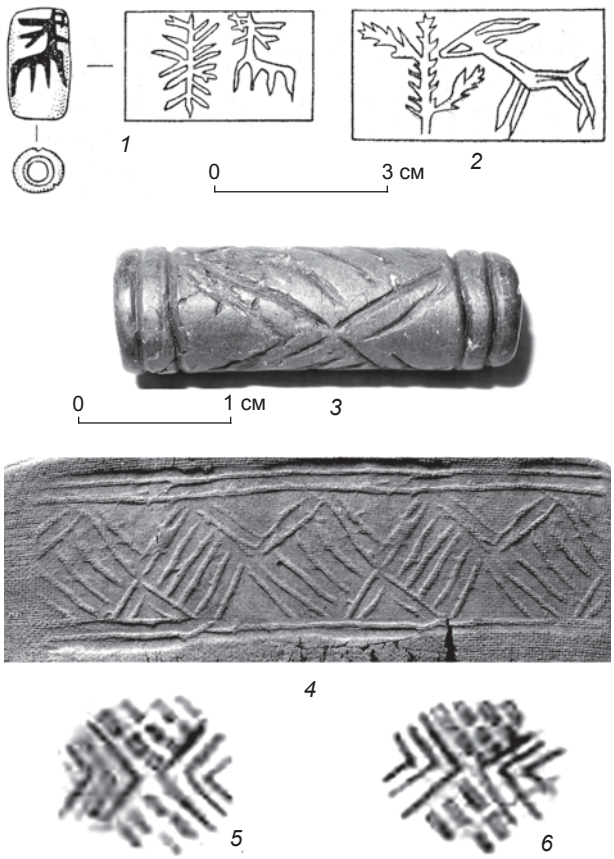

Рис. 4. Печати псекупского варианта.
1 – цилиндрическая печать из погр. 4 кург. 1 могильника Красногвардейский (по: [Нехаев, 1986]); *2* – оттиск печати из Месопотамии (по: [Amiet, 1961]); *3* – цилиндрическая печать с поселения Чекон (фото С.Н. Кореневского); *4* – развертка орнамента на ней; *5*, *6* – оттиски печати на верхней части – головке глиняного конуса-приставки к очагу с поселения Натухаевское-3 (по: [Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2013]).

орнаментом обнаружены в слоях XVI, XII, XI поселения Тепе-Гавра (рис. 5, *7–9*) [Tobler, 1950, pl. CLIX, 21, 26, 27; CLXXII, 19, 24]. На этом же памятнике найдены кулоны-подвески с подобным геометрическим оформлением (рис. 5, *10*, *11*). Древности Сиалка III относятся в целом к финалу убейдского периода и ранней – средней урукской эпохе с общим диапазоном ок. 4500–3500 лет до н.э. [Voigt, Dyson, 1984], так же, как и упомянутые выше слои Тепе-Гавры [Porada et al., 1984]. Круг аналогий печатям с паркетным орнаментом на Ближнем Востоке может быть шире, но нам достаточно сейчас сведений о подобных изделиях, существовавших во время немного более раннее, чем дата МНО, и аналогиях периода ее бытования в Предкавказье в IV тыс. до н.э.

Надо полагать, что устойчивое использование такого геометрического орнамента на предметах вряд ли было случайным явлением. По своему функциональному предназначению подвеска-печать могла играть роль метки собственности или восприниматься как вещь, на которой орнамент приобретал магический смысл. Прояснить ситуацию помогает анализ анатолийских печатей более позднего времени. На предметах из Измира, с городища Абу-Хабба (Сиппар), а также на случайных находках из коллекций древностей Анатолии (рис. 6) изображена богиня плодородия в окружении различных символов и предметов, среди которых присутствуют круглые и квадратные знаки с паркетным орнаментом (печати?). Таким образом, семантика этого орнамента напрямую связана с магией великой богини и ее волшебными функциями. Датируются упомянутые выше изделия 2400–2200 гг. до н.э. [Tonussi, 2007, SM/4, SM/6, SM/8, SM/9]. По всей вероятности, данную трактовку символики паркетного орнамента можно перенести на более древние верования народов Ближнего Востока, учитывая глубокий консерватизм культов богини – покровительницы всего живого.

Таким образом, подвески из Чекона (см. рис. 4, *3*) и с поселения Первомайское (см. рис. 3) можно рассматривать как амулеты с символами культа плодородия. Оттиски печати на головке конуса из Натухаевско-

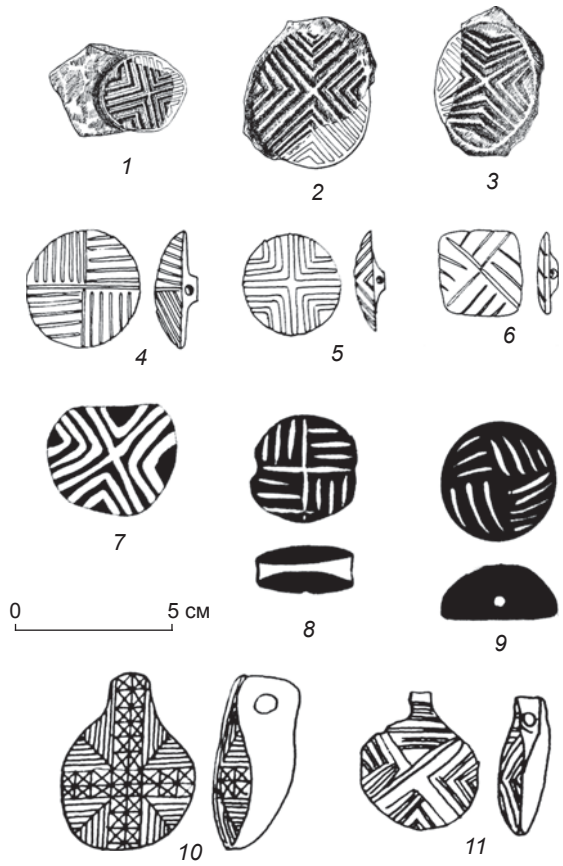

Рис. 5. Паркетный орнамент на «пуговичных» печатях (*1–9*) и кулонах (*10*, *11*).
1–6 – Сиалк III (по: [Ghirshman, 1938]); *7–11* – Тепе-Гавра, слой XVI, XII, XI (по: [Tobler, 1950]).

Рис. 6. Оттиски печатей Анатолии с изображениями богини и знаков с паркетным орнаментом, 2400–2200 гг. до н.э. (по: [Tonussi, 2007]).
1 – Измир; *2* – Абу-Хабба (Сиппар); *3*, *4* – точное место неизвестно (Анатолия).

го-3, видимо, представляли знаки богини, отвечающей за процветание всего живого, на вещи, связанной с ее культом [Кореневский, 2013]. Цилиндрическая печать из кургана у с. Красногвардейского (см. рис. 4, *1*) по своей значимости также относится к предметам с символикой культа плодородия, одним из воплощений которого было изображенное на ней Древо Жизни.

Печати как явление экономики населения Ближнего Востока были ярким показателем формирования права собственности в предгосударственных образованиях, связанных с началом становления производящего хозяйства, как, например, находки на поселении Телль-Магзалия, памятнике дохассунского времени VIII–IX тыс. до н.э. [Бадер, 1989, с. 103, табл. 39, *2*; с. 314]. На Кавказе печати появились в культурах северо-месопотамского круга IV тыс. до н.э., известных как лейлатепинская Южного Кавказа [Мусеибли, 2007, с. 173, рис. 14, *1*] и близкая ей МНО Предкавказья. Играли ли эти подвески роль знаков собственности у кавказского населения? Вопрос открыт, т.к. число таких находок очень мало. Более оправданно видеть в них символы-амулеты, которые носили в виде бус и кулонов.

В материалах МНО паркетный орнамент встречен также на костяных «булавках» из кургана Соломенка [Круглов, Подгаецкий, 1941, с. 195, рис. 33, *7*] и погр. 9 кург. 11 могильника Клады [Резепкин, 2012, с. 145, рис.16, *6*]. Он представлен и на керамике долинского варианта, например, из Иноземцевского кургана, исследованного в 1976 г. [Кореневский, 2004, с. 88, рис. 58, *1*], и погр. 13 кург. 5 II Нежинской группы [Там же, с. 189, рис. 59, *6, 7*]. Такой декор встречен на реберчатом сосуде из погр. 20 кург. 11 могильника Клады [Резепкин, 2012, с. 151, рис. 23, *5*] и на сосуде псекупского варианта из погребения кургана Венцы в Закубанье [Кореневский, 2004, с. 186, рис. 56, *10*]. В целом можно сказать, что паркетный орнамент стал довольно распространенным символом богини плодородия у различных племен МНО на позднем этапе ее существования.

Находка с поселения Чекон

Поселение находится возле одноименного поселка Анапского р-на Краснодарского края, на левом берегу р. Чекон (правый приток р. Капиляпсин, правобережье р. Кубань). Его общая площадь превышает 25 000 м^2. Ранее раскопки на памятнике проводили В.В. Бочковой (2011 г.) и А.Д. Резепкин (2014 г.). Ими было вскрыто более 1 000 м^2 площади [Бочковой и др., 2012; 2013, с. 5–16; Резепкин, 2014]. В 2018 г. исследовано свыше 6 400 м^2 культурного слоя, толщина которого колеблется в пределах 1 м [Юдин, Кочетков, 2019]. Здесь насыщенность артефактами больше, чем на поселении Первомайское, но в целом материалы в культурном отношении сопоставимы. Этот памятник также относится к псекупскому варианту МНО. Для него получены две даты: по кости животного из ямы в культурном слое поселения – 4 480 ± ± 80 л.н. (Ki-19621), 3352–3120 гг. до н.э.; по кости человека из погр. 1 – 4 380 ± 60 л.н. (Ki-19679), 3091–2911 гг. до н.э., что соответствует концу IV – началу III тыс. до н.э.

Во время раскопок 2018 г. на поселении Чекон обнаружены жилища, хозяйственные ямы, культовые сооружения (?), погребения. Следы очагов не выявлены, хотя в культурном слое обычны скопления турлука и комков прокаленной глины. Глубокие, расширяющиеся ко дну ямы, заполненные брикетами турлука, керамикой и камнями, предположительно являются остатками культовых сооружений. На их дне зафиксированы зола и редкие угольки, но не обнаружены следы красного прокала от долговременного функционирования очагов. Исследовано девять погребений, из них четыре оказались парными и одно тройное. Единый погребальный обряд отсутствует.

Основную массу находок составляют кости животных и керамика. Последняя представлена двумя классами. Первый – это посуда строгих симметричных форм, без минеральных примесей в формовочной

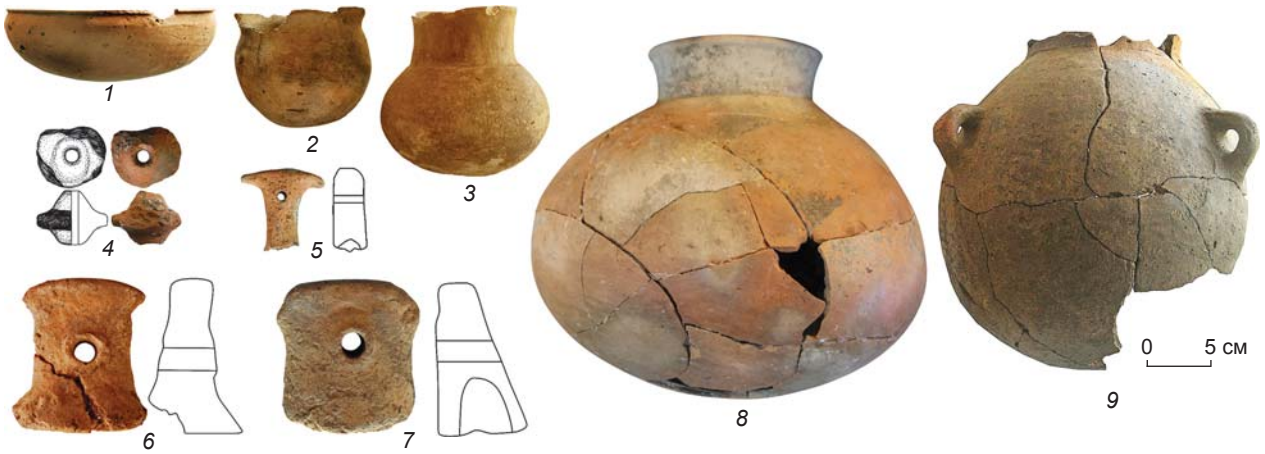

Рис. 7. Керамика с поселения Чекон.

массе. Реконструируемые типы характерны для псекупского варианта МНО (рис. 7, *1–3, 8, 9*). Представлены емкости с круглым дном разных размеров. Есть небольшие сосуды с рифленым туловом. Много круглодонных мисок. Встречены сосуды с прочерченной волнообразной линией по венчику. Ко второму классу принадлежит лепная посуда с минеральными добавками в формовочной массе. Нередки фрагменты керамики с примесью ракушки.

Другие керамические изделия представлены очажными приставками с полым туловом (рис. 7, *5–7*), пряслицами или моделями колес (рис. 7, *4*), крышками и пробками для сосудов. Найдены предметы из сплавов на медной основе (20 экз.): небольшие ножи-кинжальчики, шилья, булавки, стержни, втульчатый топор и отходы производства. Многочисленны изделия из камня: крупные кремневые вкладыши, в т.ч. с пильчатой ретушью, топоры со сверлиной, мотыги, песты, лощила, терочники, отбойники, абразивы. Из костяных предметов встречены проколки, пронизки, пряслица, топор-клевец, черешковый наконечник стрелы [Юдин, Кочетков, 2019; Юдин, Кореневский, Баринов, в печати].

Рассматриваемая глиняная антропоморфная фигурка, которая может быть интерпретирована как статуэтка, была найдена в заполнении постройки, располагавшейся в центральной части поселения. Контур сооружения напоминает прямоугольник с сильно закругленными углами. Длинная ось постройки ориентирована по линии юго-восток – северо-запад. Размер помещения ок. 4,4 × 3,4 м. Дно котлована неровное и покатое. Оно как бы делится на две части с разными направлениями наклонов поверхности. Стенки удалось проследить на глубину от 14 до 50 см. В центре постройки имеется небольшая ямка диаметром ок. 1 м и глубиной максимум ок. 20 см от уровня пола. Данное сооружение, скорее всего, является нижней частью жилища-полуземлянки, а верхняя находилась выше уровня залегания материка и четко не определялась в культурном слое.

Аналогичные полуземлянки на поселении Чекон известны по раскопкам В.В. Бочкового [2013]. Первая публикация о них уже представлена Е.Н. Булахом [2014]. Типология полуземлянок на поселениях причерноморской зоны МНО пока находится в стадии разработки. Можно лишь отметить, что они могут быть округлыми и подпрямоугольными. Подобная подпрямоугольная полуземлянка известна на поселении Тузла-15, расположенном на Таманском полуострове в Темрюкском р-не Краснодарского края. Пятно строения было зафиксировано ниже слоя распашки и на 25–30 см выше уровня залегания материка. Раскопки показали, что постройка имела размеры 3,4 × 3,2 м и была ориентирована по сторонам света. На дне котлована имелось углубление. Стенки сооружения удалось проследить в материке на глубину 40 см [Кореневский, 2014].

Набор находок из постройки, в которой найдена статуэтка, типичен для комплексов жилищ-полуземлянок псекупского варианта МНО. В нем отмечается бой керамики. Как правило, целые изделия не встречаются. Присутствуют обломки т.н. круговых сосудов, изготовляемых при помощи поворотных устройств. Такая керамика не содержит минеральных примесей. Встречаются также черепки лепных сосудов с минеральными примесями [Кореневский, 2004, с. 173, рис. 43, *77, 81*]. Регулярно в таких наборах находят обломки глиняных конусов-приставок к очагу. Подобные бытовые отходы, вероятно, появились в результате забрасывания покинутого строения обломками посуды и конусов-приставок как особого ритуала, завершающего функционирование постройки. С чем этот ритуал мог быть связан? Возможно, с идеей возрождения и почитанием богини плодородия, атрибутами культа которой у населения МНО были приставки к очагам [Кореневский, 2013].

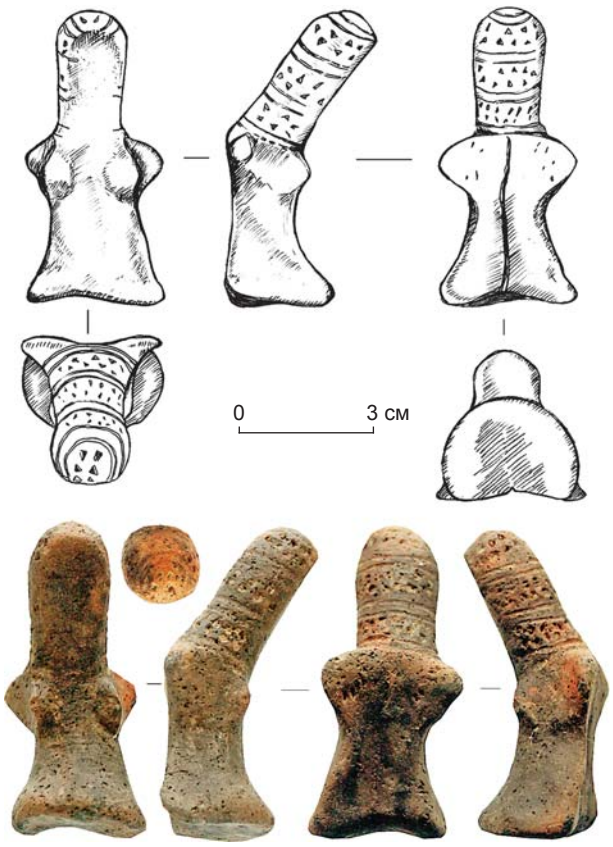

Рис. 8. Керамическая статуэтка с поселения Чекон.

Глиняная статуэтка находилась в северном углу строения практически на дне полуземлянки. Была ли она оставлена обитателями постройки или брошена в покидаемое жилище – однозначно сказать трудно. Однако символика этой вещи могла быть такая же, как и приставок к очагам, характерных для культов богини-матери и возрождения. Поэтому нахождение магического предмета, связанного с великой богиней плодородия, в заброшенном майкопском строении, возможно, и не случайно.

Антропоморфная фигурка имеет немного вогнутое основание, которое обеспечивает ее постановку в вертикальном положении (рис. 8). Высота статуэтки всего 66 мм. Фигура человека передана схематично. Хорошо выделены голова с шеей. Эта часть фигурки немного наклонена вперед. Ее лицевая поверхность плоская, без каких-либо изображений и деталей, задняя, боковые и верх головы покрыты орнаментом. Возможно, так передан головной убор, напоминающий платок или накидку. Орнамент представляет собой горизонтальные полосы с двумя рядами наколов, разделенные двойными линиями.

В верхней части туловища фигурки сделаны два выступа, которые могли обозначать руки. Двумя выпуклостями передана грудь женщины. Это позволяет предполагать, что перед нами изображение женского божества. Нижняя часть фигурки спереди выглядит как длинное одеяние (?). Сзади торс разделен надвое вертикальной чертой. Не вполне понятно, что это означает. Изгиб корпуса, скорее всего, соответствует сидячему положению, которое характерно для многих энеолитических антропоморфных фигурок Кавказа и трипольской культуры [Ковалева, 2004, с. 498].

Наиболее близкие аналогии антропоморфной скульптурке находятся среди статуэток серезлиевского типа (рис. 9), в т.ч. из погр. 26 кург. 6 у с. Зеленый Гай Днепропетровской обл. [Ковалева, 2003, рис. 3]. И.Ф. Ковалева отмечает, что такие статуэтки встречаются на территории степного правобережья Днепра в подкурганных захоронениях как атрибуты локальной днепро-бугской группы постмариупольской культуры. В погребениях этой группы покойные были уложены в скорченном положении на левом или правом боку, иногда на спине [Відейко, 2004, с. 475]. Памят-

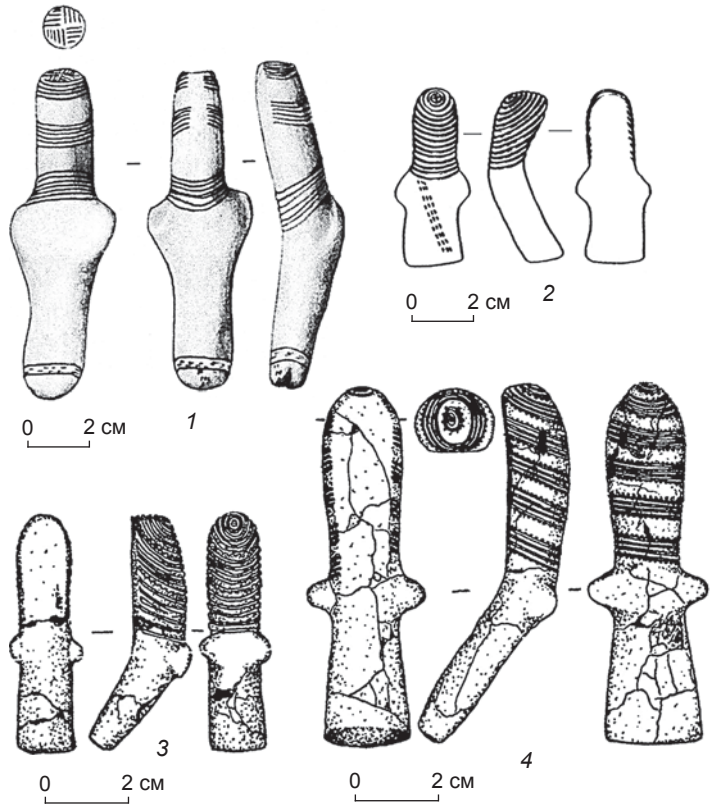

Рис. 9. Статуэтки серезлиевского типа (по: [Бурдо, 2018]).
1 – Сандраки; *2* – Широкое; *3*, *4* – Зеленый Гай.

ники серезлиевского, софиевского, усатовского, гординештского, городского типов относятся к фазе Триполья CII, датируемой 3200–2750 гг. до н.э. [Відейко, 2003, с. 115]. С этим периодом хорошо согласуются даты, полученные для поселения Чекон в 2018 г.

Вопрос о культурных контактах трипольского населения и племен Северного Кавказа ставился ранее, в т.ч. и в связи с поздними майкопскими памятниками [Збенович, 1974, с. 144–149]. Но в данном случае обнаруженная на поселении МНО статуэтка серезлиевского типа является уникальным и бесспорным примером таких контактов. Примечательно, что это едва ли не единственное свидетельство влияния идеологии степного населения на майкопское.

Н.Б. Бурдо составлена карта распространения статуэток серезлиевского типа [2018]. Их ареал связан с Южным Бугом и правобережьем Днепра. Одна из таких статуэток найдена в кург. 17 могильника Заозерное в районе г. Евпатории на юго-западе Крыма, но вне захоронений [Попова, 2016]. Эта находка отражает распространение культа трипольской («серезлиевской») богини из области расселения позднетрипольских племен на юг. Нахождение статуэтки такого типа на поселении Чекон свидетельствует о проникновении данной традиции даже в среду племен псекупского варианта МНО (рис. 10). В этой среде статуэтка трипольской богини выглядела необычным предметом поклонения, поскольку хорошо известно, что на памятниках МНО никаких иных глиняных статуэток женских божеств нет. Фигурки сидячих богинь Южного Кавказа или Предкавказья относятся к более раннему времени и к культурному контексту южнокавказского халколита, как, например, статуэтка с поселения Галгалартепеси в Азербайджане [Нариманов, 1987, с. 224, рис. 28].

Рис. 10. Распространение статуэток серезлиевского типа (по: [Бурдо, 2018] с добавлением Чекона).
1 – Сандраки; *2* – Серезлиевка; *3* – Долинка; *4* – Петропавловка; *5* – Зеленый Гай; *6* – Широкое; *7* – Орджоникидзе; *8* – Баратовка; *9* – Чкаловская группа; *10* – Новоалексеевка; *11* – Заозерное; *12* – Чекон.

Таким образом, нахождение статуэтки серезлиевского типа на поселении псекупского варианта МНО отражает явные связи местного населения с территориально далекими от них племенами днепро-бугской группы постмариупольской культуры, возможно имевшими своих посредников в Крыму. Более того, сам факт обнаружения такой культовой фигурки позволяет думать, что она была нужна именно людям, которые придерживались верований населения, находившегося под позднетрипольским культурным влиянием, а не культов майкопских племен. Однако в керамическом комплексе Чекона нам не удалось выявить инокультурную керамику. Можно ли на основе рассмотренной находки говорить о присутствии людей иного, «трипольского мира» на поселении псекупского варианта МНО? Этот вопрос имеет смысл поставить, но решить его весьма непросто.

Заключение

Подведем некоторые итоги нашей публикации. Обе рассмотренные вещи относятся к т.н. маркерам культурных связей. Подвеска с паркетным орнаментом отражает проникновение с юга символики культа Древа Жизни и связанной с ним мифологии возрождения и плодородия. Такой вывод хорошо согласуется с известным положением, что формирование МНО в Предкавказье было обусловлено миграцией населения из Северной Месопотамии и с Южного Кавказа.

Вместе с тем более важно найти ответ на вопрос, почему печати и паркетный орнамент встречаются на памятниках псекупского, долинского вариантов и поздней новосвободненской группы могильника Клады, а не раннего майкопского варианта МНО, становление которого относится к первой половине IV тыс. до н.э. (3900/3800 – 3600 гг. до н.э.) [Кореневский, 2011, с. 27–30]. Пока он еще плохо обеспечен источниками, кроме того, что такие влияния с юга могли иметь место в позднеурукское время и эпоху Джемдет Насра – во второй половине IV – начале III тыс. до н.э. [Vignola et al., 2019]. Нахождение статуэтки серезлиевского типа на поселении Чекон прямо указывает на совершенно иные контакты местного населения с племенами Юго-Западного Причерноморья – носителями поздней трипольской культуры. Они были обусловлены некими событиями финала МНО, повлиявшими на своеобразие местного культурного процесса.

Список литературы

Бадер Н.О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. – М.: Наука, 1989. – 368 с.

Бочковой В.В. Отчет Краснодарской археологической экспедиции о раскопках поселения Чекон и кургана у с. Юровка в 2011 г.: в 6 т. Краснодар, 2013 // Архив ИА РАН. Р-1. № 29344.

Бочковой В.В., Марченко И.И., Лимберис М.Ю., Резепкин А.Д. Материалы поселения Чекон и классификация керамики майкопской культуры // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. – СПб.: ИИМК РАН: Периферия, 2012. – Кн. 2. – С. 95–100.

Бочковой В.В., Марченко И.И., Лимберис М.Ю., Резепкин А.Д. Поселение майкопской культуры «Чекон» // Археология и этнография понтийско-кавказского региона. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2013. – Вып. 1. – С. 5–18.

Булах Е.Н. Полуземлянки поселения Чекон // VI «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа: Западный Кавказ в контексте международных отношений в древности и средневековье. – Краснодар: Традиция, 2014. – С. 30–36.

Бурдо Н. Антропоморфная пластика курганных погребений раннего бронзового века в Буго-Днепровском междуречье и Поднепровье // Tyragetia. Ser. Nouă. – 2018. – Vol. XII [XXVII], nr. 1. – P. 97–114.

Відейко М.Ю. Нова хронологія Кукутені – Трипілля // Трипільська цивілізація у спадщині України. – Київ: Просвіта, 2003. – С. 106–117.

Відейко М.Ю. Серизліївский тип // Енциклопедія трипільскої цивілізації. – Київ: Просвіта, 2004. – С. 475–476.

Збенович В.Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. – Киев: Наук. думка, 1974. – 176 с.

Ковалева И.Ф. Зеленогайский комплекс антропоморфной пластики: культурная принадлежность и семантика // Курганы энеолита – бронзы в криворожском течении Ингульца. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та, 2003. – С. 102–127.

Ковалева І.Ф. Статуетки серезліївского типу // Енциклопедія трипільскої цивілізації. – Київ: Просвіта, 2004. – С. 497–498.

Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья: Майкопско-новосвободненская общность: Проблемы внутренней типологии. – М.: Наука, 2004. – 242 с.

Кореневский С.Н. Древнейший металл Предкавказья: Типология. Историко-культурный аспект. – М.: Таус, 2011. – 335 с.

Кореневский С.Н. Культ жилища и очага у племен майкопско-новосвободненской общности (к проблеме символики обитаемого пространства) // Stratum plus. – Кишинев, 2013. – № 2: Обитаемое пространство в европейской преистории. – С. 103–131.

Кореневский С.Н. Отчет о раскопках поселения Тузла-15 Темрюкского района Краснодарского края в 2013 году. М., 2014 // Архив ИА РАН. Р-1. № 40750.

Круглов А.П., Подгаецкий Г.В. Долинское поселение у г. Нальчика // Материалы по археологии Кабардино-Балкарии. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – С. 147–212. – (МИА; вып. 3).

Мусеибли Н. Энеолитическое поселение Беюк-Кесик. – Баку: Нафта-Пресс, 2007. – 227 с.

Нариманов И.Г. Культура древнейшего земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана. – Баку: Элм, 1987. – 260 с.

Нехаев А.А. Погребение майкопской культуры из кургана у села Красногвардейское // СА. – 1986. – № 1. – С. 244–248.

Попова Е.А. Антропоморфная статуэтка из кургана эпохи бронзы некрополя у поселка Заозерное в Северо-Западном Крыму // Исторический журнал: научные исследования. – 2016. – № 6. – С. 703–709.

Резепкин А.Д. Новосвободненская культура (на основании могильника Клады). – СПб.: Нестор-История, 2012. – 342 с.

Резепкин А.Д. Отчет о раскопках Майкопской экспедиции поселения Чекон в Анапском районе Краснодарского края. 2014 // Архив ИА РАН. Р-1. № 45582.

Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В. Исследование поселения майкопской культуры у ст. Натухаевской в 2007 году // Третья Абхазская международная археологическая конференция: Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. – Сухум: Дом печати, 2013. – С. 89–98.

Юдин А.И., Кореневский С.Н., Баринов Д.Г. Раскопки поселений майкопской культуры в Краснодарском крае // АО 2019 года. – М.: ИА РАН (в печати).

Юдин А.И., Кочетков Ю.Е. Майкопское поселение Чекон на Кубани и проблемы культурных взаимодействий // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н.э. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2019. – С. 60–68.

Amiet P. La glyptique mésopotamienne archaïque. – P.: CNRS, 1961. – 454 p.

Ghirshman R. Fouilles de Sialk Pres de Kashan: 1933, 1934, 1937. – P.: Paul Geuthner, 1938. – Vol. 1. – VIII, 152 p.

Porada E., Hansen D., Dunham S., Babcock S. Mesopotamia // Chronology in Old World of Archaeology / ed. R.W. Ehrich. – Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1984. – P. 96.

Tobler A. Excavations at Tepe Gawra. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1950. – Vol. II. – 260 p.

Tonussi M. Dall'Eufrate allo Scamandro: Contatti e scambi nel III millennio a. C. – Padova: Il Poligrafo, 2007. – 441 p.

Vignola C., Marzaioli F., Balossi Restelli F., Di Nocera G.M., Frangipane M., Masi Al., Passartello I., Sadori L., Terrasi F. Changes in the Near Eastern chronology between the 5th and 3rd millennium BC New AMS ^{14}C dates from Arslantepe (Turkey) // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. – 2019. – Vol. 456. – P. 276–282.

Voigt M., Dyson R. Iran // Chronology in Old World of Archaeology / ed. R.W. Ehrich. – Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1984. – P. 127.

Материал поступил в редколлегию 26.08.19 г.,
в окончательном варианте – 30.10.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.038-048
УДК 902.6 (470.56)

О.С. Хохлова[1], А.О. Наглер[2]
[1]Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН»
ул. Институтская, 2, Пущино, 142290, Россия
E-mail: olga_004@rambler.ru
[2]Германский археологический институт, Берлин, Германия
Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung,
Im Dol 2–6, Haus 2, 14195, Berlin, Deutschland
E-mail: Anatoli.Nagler@dainst.de

Курган Марфа в Ставропольском крае – пример древнего архитектурного сооружения

В статье представлены результаты комплексного исследования элементов конструкции кургана Марфа (Ставропольский край). Обобщены и проанализированы термины, использующиеся для обозначения подобных объектов, предложено авторское определение. Даются подробные описания объекта исследования, природных условий региона его местонахождения, методики археологических раскопок и отбора образцов, методов их исследования. Определен материал, из которого возведен курган, показаны его преимущества перед другими видами сырья. Проведены исследования глиняных блоков, их обмазок, полосчатого глинобитного элемента из конструкции кургана. Приводятся данные изучения химического и гранулометрического состава, а также микроморфологического анализа почв, находящихся под курганом, и сырья для «кирпичей» и обмазок. Установлено, что блоки изготавливали путем уплотнения и перемешивания увлажненного материала, состоящего из лесса с добавлением речного ила, без использования растительного сырья. Обмазка имела гораздо более плотное сложение, т.к. состояла из связного тонкодисперсного глинисто-карбонатного материала. Глиняный раствор, сходный по составу и свойствам с обмазками, применялся для скрепления блоков, в качестве цемента он использовался при укладке каменной крепиды, из него формировался фундамент для глиняных построек. Установлено, что элемент с тончайшими разноокрашенными полосками появился в результате разрушения одной из ранних построек.

Ключевые слова: *курганная конструкция, ранний бронзовый век, глиняные блоки-«кирпичи», методы почвоведения, микроморфология, Ставропольский край.*

O.S. Khokhlova[1] and A.O. Nagler[2]
[1]Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science, Federal Research Center "Pushchino Scientific Center for Biological Research of the Russian Academy of Sciences",
Institutskaya 2, Pushchino, 142290, Russia
E-mail: olga004@rambler.ru
[2]Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung,
Im Dol 2–6, Haus 2, 14195, Berlin, Germany
E-mail: Anatoli.Nagler@dainst.de

The Marfa Kurgan in the Stavropol Territory: An Example of an Ancient Architectural Structure

This study focuses on the analysis of structural elements of the Marfa kurgan in the Stavropol Territory. We list and examine terms referring to such elements and suggest our own. A description of the kurgan, its natural environment, excavation techniques, sampling, and analytic methods is provided. The material of which the kurgan was made is assessed, and its advantages over other materials are demonstrated. We studied clay blocks, their mud coating, and a striped adobe element from the kurgan. Results of

© Хохлова О.С., Наглер А.О., 2020

chemical and granulometric analyses are outlined, along with those of the micromorphological analysis of soils underlying the kurgan, of the material of which the "bricks" and the coating was made. The blocks were molded by thoroughly kneading and compacting a moistened material consisting of loess with the addition of river sludge, without plant admixture. Mud coating was much denser, as it consisted of a coherent finely dispersed clay-carbonate material. Clay mortar, similar to coatings in composition and properties, was used to connect the blocks and the stones of the enclosure. The same mortar was used for foundations of clay "bricks" buildings. The adobe element with thinnest variously colored stripes resulted from a destruction of an earlier structure.

Keywords: *Kurgan construction, Early Bronze Age, clay blocks, "bricks", soil science methods, micromorphology, Stavropol Territory.*

Введение

Степи Евразии в прошлом были заселены разными племенами и народами, оставившими после себя курганы – яркие и часто единственные свидетельства их самобытной и выразительной культуры. Эти самые многочисленные на континенте археологические памятники расположены большими или малыми группами и являются неотъемлемой частью степного ландшафта. Даже по приблизительным подсчетам в каждом из регионов степи находится по несколько тысяч курганов [Наглер, 2015].

Обычно курганы выглядят как округлые в плане задернованные холмы, иногда с уплощенной вершиной, часто окруженные рвами. В Центрально-Азиатском регионе встречаются также прямоугольные в плане, а также сложенные из камня сооружения. Курганы, являясь своеобразными храмами-святилищами, могут не содержать погребений [Парцингер и др., 2003].

В археологической литературе господствует мнение, что курган представляет собой насыпь над могилами (см.: [Ефремова]). При описании кургана археологи, даже видя, что это возвышение сформировано, например, из кусков дерна, не отказываются от слова «насыпь». Термин «насыпь» фигурирует в работах, посвященных курганам, при возведении которых использовались глина, дерновые блоки, дерево, камень (см., напр.: [Rolle, Mursin, Alekseev, 1998; Мозолевский, Полин, 2005; Черных, Дараган, 2014]).

Еще в 1960 г. археолог М.П. Грязнов указывал, что курган – это разрушившееся древнее архитектурное сооружение [1961]. Однако данное определение не стало общеупотребительным в археологии; термины «насыпь» и «досыпки» продолжают использоваться, а курганы раскапываются не как архитектурные сооружения. Данная ситуация уже анализировалась и обсуждалась в археологической литературе [Наглер, 2013, 2015, 2017].

Согласно предложенному А. Наглером определению, курган – это поминально-погребальный комплекс, который включает:

захоронения, клады, жертвенные комплексы;

построенные над ними сооружения, порой сложные и монументальные, являющиеся памятниками своеобразной архитектуры;

территорию, прилегающую к сооружению, или курганную периферию, на которой имеются культурные остатки, связанные как со строительством комплекса, так и с проводившимися здесь ритуальными действами, артефакты и иногда могилы [Там же; Nagler, 2013].

При раскопках курганов в степной зоне России археологи и почвоведы изучают, как правило, с целью реконструкции палеоклиматических условий или антропогенного воздействия на природную среду в прошлом только палеопочвы, погребенные под объектами. Гораздо реже исследуется материал, из которого сложены собственно курганы [Зданович, Иванов, Хабдулина, 1984; Александровский, Хохлова, Седов, 2004; Баженов и др., 2013; Плеханова, Демкин, Манахов, 2005; Borisov et al., 2019]. Курган мог быть построен из кусков дерна – «вальков», вырезанных из почвы и уложенных в определенном порядке. Для сцепления между ними насыпалась глинистая измельченная почва. Отмечено также применение растительного материала [Гольева, Хохлова, 2010]. Однако при описании курганов используются термины «насыпь» и «досыпки», что не предполагает их рассмотрения как цельных конструкций.

Предварительные результаты исследования кургана Марфа в Ставропольском крае свидетельствуют о том, что при создании сооружения использовались глиняные (земляные) блоки [Наглер, 2015; Хохлова, Хохлов, Наглер, 2017; Khokhlova, Nagler, 2018]. Фитолитный анализ проб, взятых из конструкции кургана, показал отсутствие растительного сырья в блоках и других элементах кургана. По данным зарубежных исследователей, на территориях с аридным климатом сооружались конструкции из необожженных глиняных или грязевых блоков-«кирпичей»; эти блоки находят применение при строительстве и в наши дни [Love, 2017]. И хотя глиняные блоки являются археологическими артефактами, археологи изучают их сравнительно редко. Высушенные на солнце грязевые блоки-«кирпичи» (sun dried mud bricks) использовались как строительный материал еще 11 тыс. л.н. [Friesem et al., 2014]. В начале IV тыс. до н.э. шумеры сооружали из них храмы, дворцы, жилища и хозяйственные постройки [Kramer, 2010]. В Древнем Египте были известны точные рецепты изготовления таких блоков. Для строительства делали чаще всего блоки из глины, смешанной с резаной соломой. В земляной материал с достаточным содержанием глины растительные компоненты не добавлялись. Наилуч-

шими считались грязевые необожженные кирпичи с содержанием глины не более 30 % и песка не менее 50 % [Emery, 2011; Hohn, 2003; Kemp, 2000]. Если же содержание глины превышало 50 %, то такие блоки при сушке давали усадку и покрывались трещинами [Rosen, 1986]. Строения, возведенные из земляных блоков, были прочные и долговечные, более устойчивые к разнообразным воздействиям окружающей среды, чем сооружения из камня и дерева. Многие памятники археологии и архитектуры построены из глиняных или земляных блоков-«кирпичей».

В геоархеологии конструкции, сооруженные из земляных блоков, широко изучаются естественно-научными методами, основным из которых является микроморфологический [Goldberg, 1979; Courty, Goldberg, Macphail, 1989]. Этим методом было установлено, что при строительстве глина использовалась чаще всего в трех качествах [Friesem, Watter, Onfray, 2017].

Она служила основой для изготовления блоков-«кирпичей». Для этого ее замешивали с водой и часто с растительным сырьем, которое выступало скрепляющим агентом. Из комков глиняной массы, получаемой также в результате замешивания земляного (грязевого) материала с водой, без предварительного формования и высушивания выкладывали конструкции (для этого иногда применяли опалубку). Глину, уложенную в конструкцию, трамбовали в сухом состоянии на месте.

В ходе экспериментальных исследований, проводившихся зарубежными учеными с применением светового микроскопа, прослежена связь между внешним видом земляного блока и технико-технологическими приемами сооружения глинобитной конструкции [Cammas, 2018]. Данные об изучении российскими учеными земляных археологических конструкций методами естественных наук, в частности, микроморфологическим, отсутствуют [Bronnikova et al., 2016].

Цель данной работы – изучение земляной конструкции кургана Марфа в Ставропольском крае геоархеологическими методами, в частности, микроморфологическим. Следует отметить, что объем статьи не позволяет рассмотреть всю конструкцию Марфы в деталях, поэтому основное внимание сосредоточено на изучении глиняных блоков, обмазки этих блоков и техники глинобитного строительства.

Объект и методы

Объект

Курган Марфа находится на территории Кировского р-на Ставропольского края, вблизи пос. Комсомолец и г. Новопавловск (43°58’ 37.98” с.ш. 43°30’ 58.49” в.д.). В геоморфологическом отношении это Кабардинская предгорная равнина с абсолютными высотами в интервале 200–500 м над ур. м. Курган расположен на высокой террасе р. Золка, которая является правым притоком р. Кума. Курган не распахивался, хотя территория вокруг него полностью распахана; крупные массивы сельхозполей отделяются друг от друга лесополосами. Курган высотой 7 м и диаметром 40–60 м начали сооружать носители майкопской культуры в раннем бронзовом веке (вторая половина IV тыс. до н.э.). Он достраивался в эпоху средней бронзы (III–II тыс. до н.э.) и в раннем железном веке (I тыс. до н.э.). Курган Марфа был полностью раскопан в 2013–2015 гг. совместной экспедицией ООО «Наследие» (Ставрополь, Россия) и Германского археологического института (Берлин, Германия).

Природные условия

Климат на территории близ Новопавловска умеренно-континентальный, среднегодовая температура 11… 12 °C, средняя температура июля 22,4 °C, января – –3 °C; зимы недолгие и мягкие, лето продолжительное и теплое (https://ru.climate-data.org/location). По гидротермическим условиям климат характеризуется как засушливый, среднегодовое количество осадков 520–570 мм, коэффициент увлажнения (отношение среднегодовой суммы осадков к испаряемости) 0,7–0,8.

По растительному покрову рассматриваемая территория относится к подзоне равнинно-разнотравно-злаковых степей с высоким и густым травостоем. В настоящее время участки с естественной растительностью примыкают к неудобным для посевов балкам, крутым склонам, местам с неглубоким залеганием каменистых пород. Основу почвенного покрова равнинной части территории составляют черноземы обыкновенные (миграционно-сегрегационные или Calcic Chernozems), которые характеризуются повышенной мощностью гумусового горизонта. Почвы формируются на окарбоначенных и местами загипсованных лессовидных глинах и суглинках четвертичного периода.

Методика проведения археологических работ

При раскопках кургана Марфа археологи руководствовались принятой в российской археологии методикой проведения полевых исследований. Поскольку она не предусматривает раскопок кургана как архитектурного сооружения, проводились зачистки не только вертикальных поверхностей стратиграфических бровок, но и горизонтальных поверхностей кургана (рис. 1, *а*, *б*), а также его конструкций в глубоких слоях (рис. 1, *в*) с расчисткой глиняных блоков-«кирпичей», из которых он был сооружен.

В соответствии с предложенной дефиницией кургана предполагалось изучение т.н. курганной периферии, поэтому на прилегающей к объекту территории проводились горизонтальные зачистки. Они позволили выявить площадки, на одной из которых находилась сильно поврежденная постройка из глиняных блоков (рис. 1, *г*, *д*). Площадки были вымощены глиняными блоками, аналогичными использовавшимся при создании кургана. Важно отметить, что объекты, обнаруженные на периферии, хотя и находились в зоне современной распашки, не были полностью разрушены.

Материальными свидетельствами строительства являются не только блоки, но и обмазки – куски затвердевшего раствора, который имел цементирующие свойства. Жидким раствором обмазывали для скрепления блоки-«кирпичи» или закрепляли кладку. Глиняная масса, выложенная ровным и сравнительно толстым слоем (10–20 см) на блоках, образовывала «фундамент» для следующих построек из блоков внутри кургана. Выделены обмазки трех видов: «фундамент» для постройки, обнаруженный в северной части кургана, а также обмазки на блоках или камнях желтого (лессового) и буро-коричневого цвета (рис. 2, *б*).

На южной стороне кургана при вертикальной зачистке бровки R3 под каменной кладкой был обнаружен необычный фрагмент конструкции – линза земляного материала с тонкополосчатым рисунком на поверхности (рис. 3, *а*, *б*). Трудность его изучения состояла в том, что мельчайшие разноцветные полоски были видны в бровке только в первые полчаса после зачистки, как только стенка высыхала, все сливалось в единую массу.

Всего в кургане были зачищены пять бровок; в центральной части – R0, южной – R1 и R3 и северной – R2 и R4.

Для изучения в лабораторных условиях были отобраны образцы из глиняных блоков, находившихся на поверхности кургана (1), а также в кургане на глубине примерно 1,0–1,5 м от поверхности (2) и из остатков сооружения на периферии кургана (3). В глубине курганной конструкции были взяты образцы из различных обмазок. Из блоков и обмазок отбирались образцы двух видов – рассыпные (для аналитического изучения) и микромонолиты ненарушенного сложения (для микроморфологического анализа). Из элемента с полосчатым рисунком взяты образцы только для микроморфологического изучения.

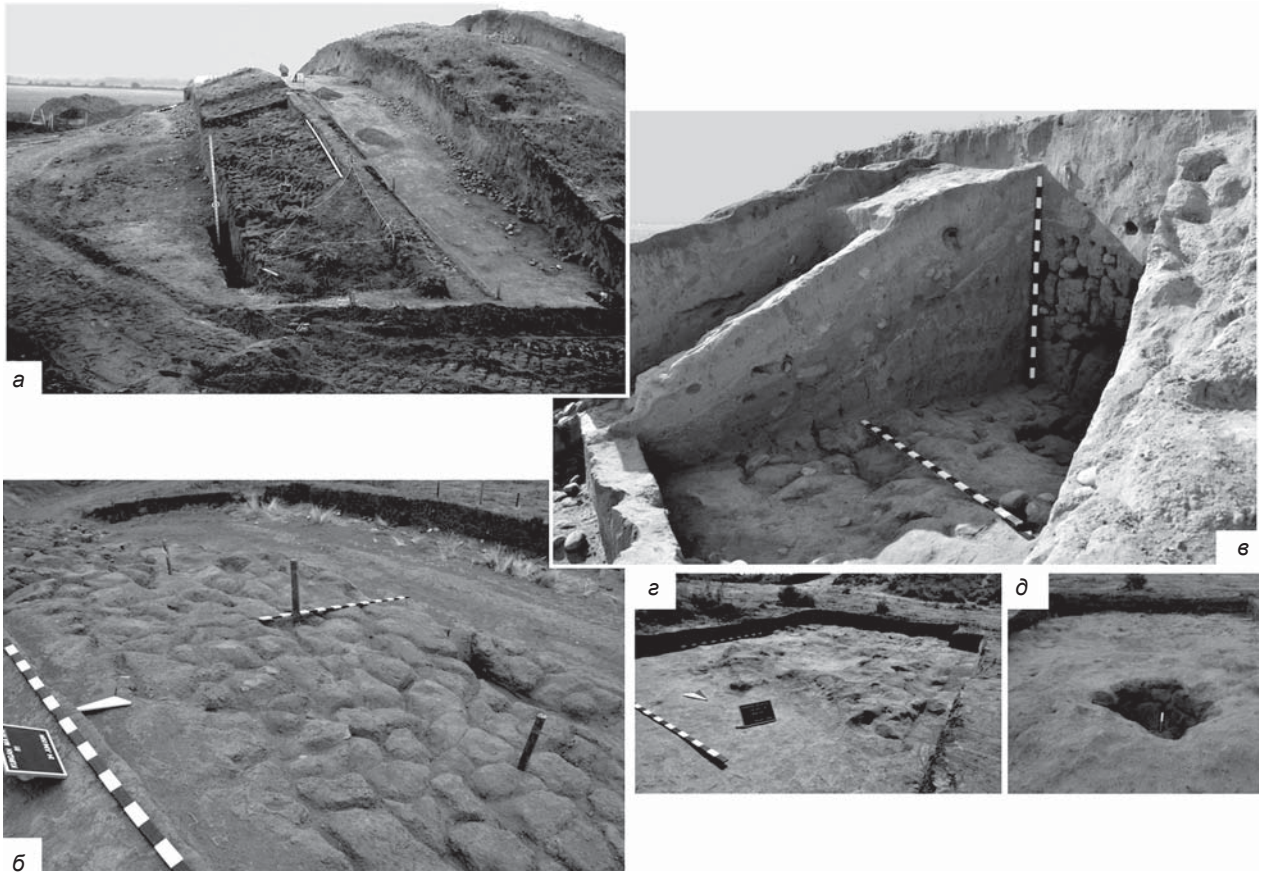

Рис. 1. Земляные блоки-«кирпичи» в конструкции кургана Марфа.
а, б – на поверхности кургана (сразу под дерном); *в* – на глубине кургана примерно в 1,0–1,5 м от поверхности; *г, д* – из сильно поврежденной постройки на периферии кургана, восточная сторона.

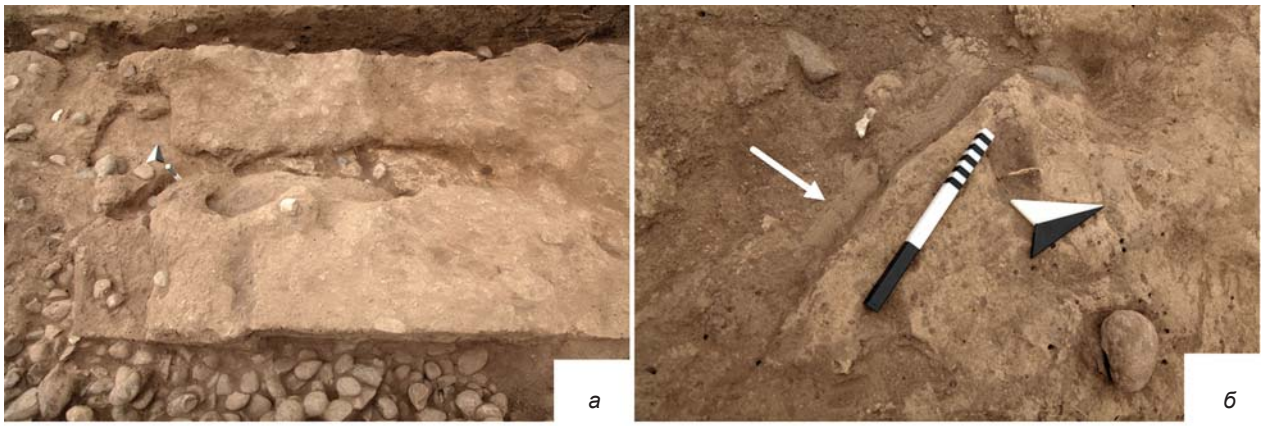

Рис. 2. Глиняные обмазки в конструкции кургана Марфа.
а – «фундамент» постройки, сложенной из глиняных блоков-«кирпичей» в северной части кургана; *б* – обмазки, скреплявшие блоки желтого (черно-белая стрелка, местонахождение масштабной линейки) и буро-коричневого (белая стрелка) цвета.

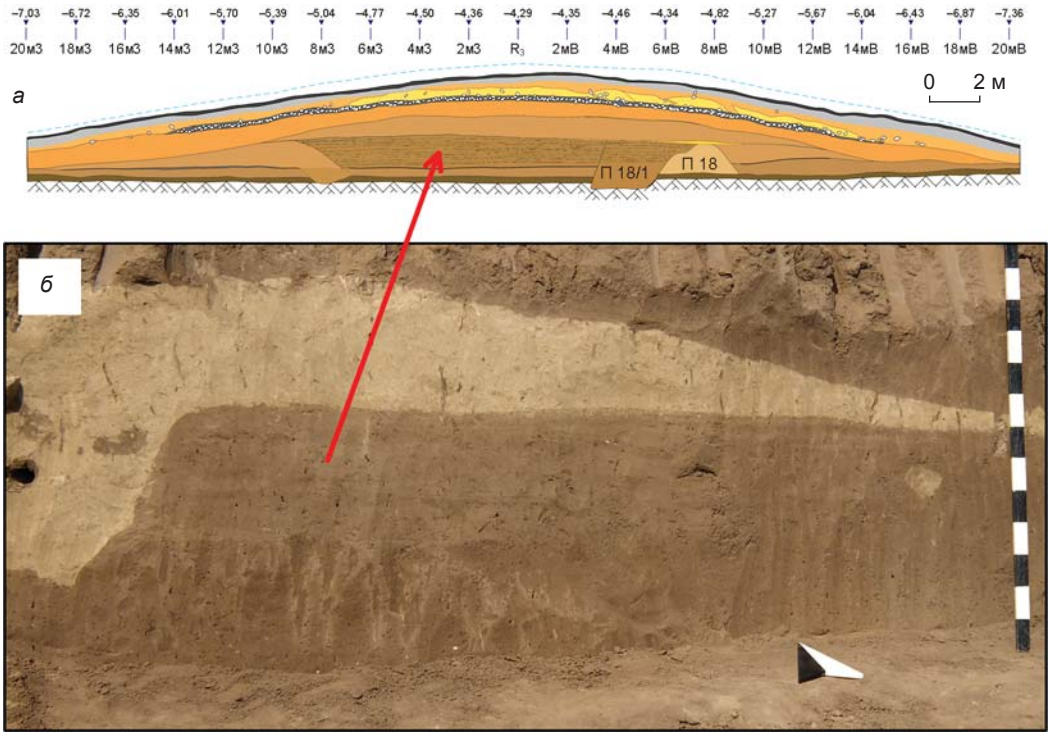

Рис. 3. Полосчатый элемент на схеме бровки R3, южный фас (*а*) и на фото (*б*).

В камеральных условиях проведен гранулометрический анализ рассыпных образцов с использованием пирофосфата натрия для диспергирования; определено содержание органического углерода методом Тюрина в модификации Антоновой и др. [Орлов, Гришина, 1981], содержание выделившегося при окислении CO_2 определяли на хроматографе, CO_2 карбонатов – манометрически по разнице давлений в контроле и образце в герметичных сосудах с резиновыми пробками, в которых образцы реагировали с 10%-й соляной кислотой, результаты пересчитаны на С [Воробьева, 1998].

Из образцов с ненарушенным сложением были изготовлены шлифы. Микроморфологический анализ шлифов проведен на микроскопе AxioScope A1 Carl Zeiss в Центре коллективного пользования ФГБУН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. Для сравнения с образцами из конструкции кургана Марфы изготовлены шлифы из образцов, отобранных в глубоких горизонтах почвенных разрезов под курганом (погребенные почвы) и вблизи него (фоновые почвы) и лессах из карьера в 15 км к северо-северо-западу от кургана.

Результаты

Изучение химического и гранулометрического состава

Предварительные исследования [Хохлова, Хохлов, Наглер, 2017] показали, что в поверхностных слоях кургана материал конструкции подвергся сильной переработке в ходе процессов почвообразования, поэтому в данной работе для установления химического и гранулометрического состава блоков и обмазок рассматриваются образцы только из внутренних частей конструкции и из блоков на периферии кургана и сравниваются с образцами из почв и лесса.

По всем проанализированным показателям блоки и обмазки значительно варьируют, поэтому анализ полученных данных позволяет сделать лишь более или менее обоснованные предположения.

Содержание органического углерода ($C_{орг}$) в обмазках преимущественно высокое – 0,92–0,58 %, в блоках оно наиболее часто находится в пределах 0,41–0,34 %, но есть и совсем малые значения – 0,03–0,11 %, такие величины не отмечены в обмазках. Можно заключить, что обмазки в большинстве случаев содержат больше $C_{орг}$, чем блоки, в которых его содержание может быть очень малым. В лессовых образцах содержание $C_{орг}$ варьировало от 0,01 до 0,15 %. Некоторые блоки по этому показателю были близки к образцам лесса.

Содержание углерода карбонатов ($C_{карб}$) в блоках больше, чем в обмазках. Если в блоках величина этого показателя не менее 1,07, но не больше 1,64 %, то в обмазках минимум составляет 0,52, а максимум – 1,53 %. По содержанию $C_{карб}$ образцы лессов показывают близкие к блокам величины, в них варьирование этого показателя находится в пределах 1,20–1,65 %.

Значения pH водного и потери при прокаливании для блоков и обмазок выше, чем для лессов. С большой долей вероятности, блоки-обмазки изготавливали с добавлением какого-то материала.

Как блокам, так и обмазкам соответствует довольно однородная выборка величин содержания илистой фракции (<0,001 мм) – в пределах 12–13 %. Единичные образцы содержат ила больше (15–16 %) или меньше (9,2–9,6 %). Можно заключить, что блоки и обмазки обнаруживают сходство по содержанию илистой фракции. При этом и блоки, и обмазки отличаются от лесса по содержанию этой самой тонкодисперсной фракции гранулометрического состава. В проанализированных конструкционных элементах кургана содержание ила чаще больше, чем в природных лессах. Только в образце лесса из карьера в 15 км от памятника содержание ила составляет 18,5 %, что превышает содержание этой фракции во всех образцах из конструкции Марфы. Это факт позволяет предполагать, что материал для создания кургана добывался в непосредственной близи от места строительства.

Для продолжения рассуждений в этом направлении очень важны величины содержания фракции среднего песка (0,25–1,0 мм), которые первыми определяются при анализе гранулометрического состава посредством процеживания суспензии через сито с ячейками 0,25 мм. В общей выборке обмазки чаще показывают меньшие величины содержания этой фракции, чем блоки, но в целом различия по этому показателю между блоками и обмазками незначительны. Вместе с тем в образце лесса, отобранном в карьере, содержание обсуждаемой фракции значительно меньшее, чем во всех образцах из конструкционных элементов Марфы (2,5 % против 15–24 %). И при этом содержание фракции 0,25–1,0 мм в образцах лесса из глубоких слоев современной и погребенной почвы очень близко к таковому в образцах блоков и обмазок. Этот факт также свидетельствует в пользу версии о расположении источника материала для строительства вблизи кургана.

Содержание физической глины (<0,01 мм) и физического песка (>0,01 мм) как в блоках, так и в обмазках близко к «идеальному» рецепту глиняного изделия, в котором содержание глины не превышает 30 %, а песка – составляет не менее 50 % (в нашем случае 25–35 и 65–75 %, соответственно). Это, как нам представляется, неслучайно, древним строителям, вероятно, был известен рецепт получения «правильной» глиняной смеси.

Микроморфологический анализ

Почвы и лессы. Вначале приводится микроморфологический анализ почв, не затронутых деятельностью человека, – современной фоновой (разрез Мф1ф-13) и погребенной под южной полой кургана (разрез Мф2п-13), а также лессов, используемых как эталон для сравнения.

В слое на глубине 50–55 см современной почвы были видны признаки: (i) активной деятельности почвенной биоты – растительные остатки в порах, выбросы мезофауны и измельчение почвенного материала; (ii) гумусоаккумулятивного процесса – округлые, бурого цвета агрегаты разной размерности и порядка; (iii) подвижности гумусо-железистого материала – вокругпоровая и вокругскелетная ориентировка тонкодисперсного материала этого состава.

В слое на глубине 85–90 см современной почвы наиболее заметны признаки процессов аккумуляции карбонатов и трансформации исходного (литогенного, присущего лессам) карбонатного вещества под влиянием педогенеза. В почвенной массе обнаружены нодули как скрытокристаллические, унаследованные от исходной породы (лесса), так и перекристаллизованные, сложенные из сравнительно крупных спари-

товых кристаллов. Значительную площадь шлифа, приготовленного из образцов этого слоя, занимали карбонатные кутаны в сравнительно крупных порах. В тонкодисперсной массе присутствовали мелкие удлиненные и округлые, изредка перекристаллизованные обломки карбонатных раковин.

В погребенной почве на глубине 50–55 см органическое вещество представлено аморфными черными или буровато-черными пятнами, разбросанными в плазме и поверх зерен минералов. Литогенные карбонатные нодули в тонкодисперсной массе в основном были перекристаллизованы и редко встречались в своем «изначальном» скрытокристаллическом облике; карбонатные натеки присутствовали в виде кутан в порах либо создавали вокругскелетную ориентировку глинисто-карбонатного тонкодисперсного вещества.

В слое на глубине 85–90 см погребенной почвы многочисленны мелкие скрытокристаллические и перекристаллизованные нодули в тонкодисперсной массе, очень много удлиненных обломков карбонатных раковин. Мощные карбонатные кутаны располагались в порах, была видна вокругскелетная ориентировка глинисто-карбонатной плазмы. Встречались специфического вида зерна плагиоклазов, такие зерна не были обнаружены в горизонтах, расположенных в профиле ближе к поверхности.

Образцы практически не затронутого почвообразованием лессового материала, которые были отобраны из глубоких горизонтов современной и погребенной под курганом почв, а также из лессового карьера в 15 км от кургана Марфа, демонстрируют высокую степень карбонатности. В основном это т.н. первичные карбонаты: обломки раковин разного размера и формы (рис. 4, *а–в,* оранжевые стрелки), множество скрытокристаллических округлых нодулей (рис. 4, *а*, *б*, желтые стрелки). Перекристаллизованные нодули и рассеянные в материале зерна спарита в лессовых образцах из почв около Марфы встречаются редко. Вместе с тем лессовый образец из карьера проявляет высокую степень пропитанности тонкодисперсного материала карбонатами, а также в нем встречается гипс (рис. 4, *г*), который нам не удалось обнаружить в глубоких горизонтах почв близ кургана.

Блоки-«кирпичи». Микроморфологическое изучение образцов из поверхностных слоев курганной конструкции позволило зафиксировать практически полную переработку материала почвообразовательными процессами: много копролитов, зоогенное измельчение и разрыхление почвенной массы, растительные остатки с сохранившимся клеточным строением в порах (рис. 5, *а*, оранжевая стрелка), вокругпоровая ориентировка гумусо-глинисто-железистого тонкодисперсного материала (рис. 5, *а*, желтая стрелка). Вместе с тем внутри этого переработанного и разрыхленного материала встречаются микрофрагменты более темного, а главное, гораздо более плотно упакованного и насыщенного тонкодисперсным (глинистым) веществом «постороннего», «инородного» материала (рис. 5, *а*, зеленая стрелка; *б*). Их размер 5–6 тыс. микрон (5–6 мм) и меньше. Эти микрофрагменты встречаются чаще и их размеры больше в слое на глубине 25–30 см, чем в слое на глубине 35–40 см (рис. 5, *в*, *г*). В слое на глубине 35–40 см эти «инородные» микрофрагменты труднее отличить от «обычной» почвенной массы, поскольку степень проработки почвообразованием снижается по мере продвижения вглубь курганной конструкции и «инородные» фрагменты сливаются воедино, образуя «тело» блока. Внутри микрофрагментов встречаются обломки карбонатных (арагонит) раковин и перекристаллизованных карбонатных нодулей, а также зерна плагиоклаза (рис. 5, *д*, *е*).

Были изучены шлифы из блоков с глубины более 1 м от поверхности кургана, а также блоки, обнаруженные на периферии кургана (рис. 6). Это позволило установить общие черты микростроения грязевых блоков кургана Марфа:

порфировидное микросложение – тонкодисперсный материал полностью запол-

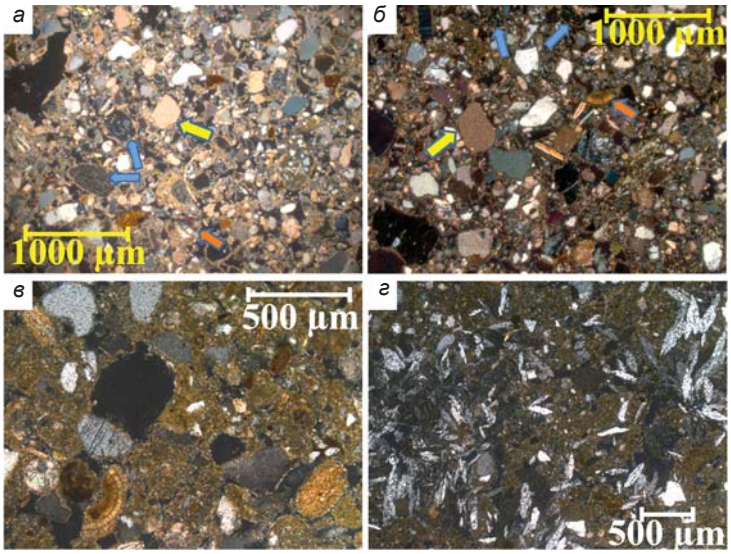

Рис. 4. Микростроение лессов из слоя на глубине 160–170 см.

а – разрез Мф1ф-13; *б* – разрез Мф 2п-13; *в, г* – карьер в 15 км от кургана Марфа.

а, б – сильно окарбоначенный материал: округлые обломки раковин с сохранившимся рисунком (оранжевые стрелки) и много удлиненных обломков, очень много скрытокристаллических нодулей (желтые стрелки), вокругскелетная ориентировка карбонатно-глинистого материала, четко видные зерна плагиоклазов (синие стрелки); *в* – округлые и удлиненные обломки раковин, карбонаты пропитывают тонкодисперсный материал; *г* – среди карбонатной пропитки много листоватых кристаллов гипса. Все фото сняты с анализатором.

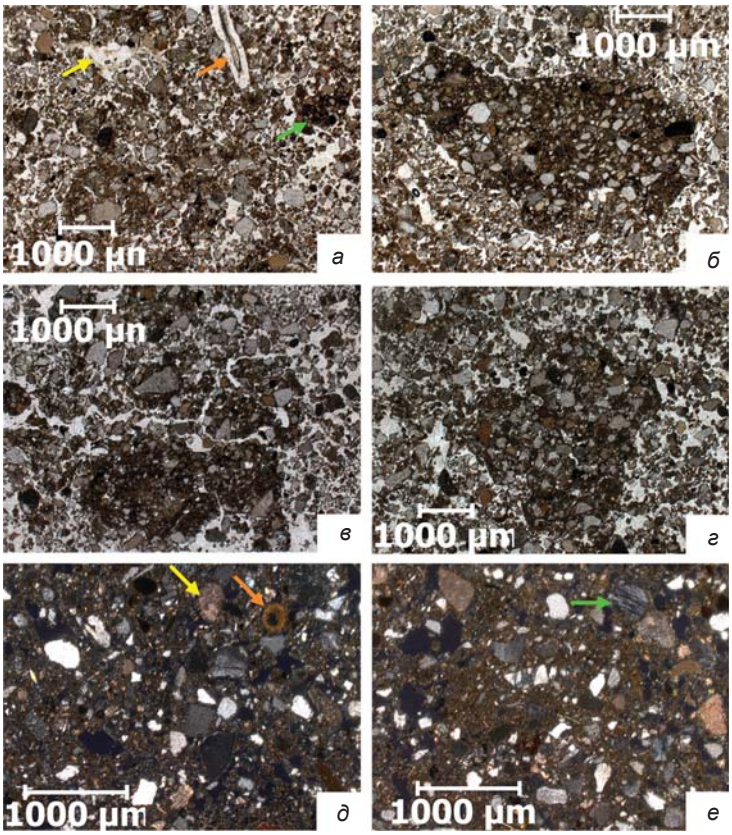

Рис. 5. Микростроение образцов из курганной конструкции, глубина отбора 25–30 и 35–40 см от поверхности кургана.

а – «нормальное» строение гумусового горизонта почвы в насыпи: растительный остаток с сохранившимся клеточным строением в поре (оранжевая стрелка), гумусо-глинисто-железистый тонкодисперсный материал в поре (желтая стрелка), зоогенное измельчение почвенной массы, округлые прогумусированные агрегаты в плазме (зеленая стрелка), слой (глубина отбора) 25–30 см; *б* – угловатый микрофрагмент более темного и плотно упакованного материала с резкими границами, слой (глубина отбора) 25–30 см; *в* – деструкция фрагмента плотно упакованного темного материала: разбит трещинами, имеет округлые очертания, граница диффузная, слой (глубина отбора) 25–30 см; *г* – микрофрагмент более темного и плотно упакованного материала внутри биогенно турбированной и разрыхленной плазмы, его граница резкая, слой (глубина отбора) 35–40 см; *д* – осколки раковин (оранжевая стрелка) и перекристаллизованные карбонаты в плазме (желтая стрелка), слой (глубина отбора) 35–40 см; *е* – зерно плагиоклаза (зеленая стрелка), слой (глубина отбора) 35–40 см. Фото *а–г* сняты без анализатора, *д, е* – с анализатором.

няет пространство между грубодисперсными частицами; зерна минерального скелета имеют песчаную размерность с преобладанием размеров среднего песка (рис. 6);

вокруг практически каждого минерального зерна наблюдается полость (пустота), повторяющая контур данного зерна, что характерно для материала, просушенного после уплотнения во влажном состоянии (рис. 6, *а*);

черные или темно-коричневые пятна органо-железистого состава разбросаны в почвенной массе или появляются в порах (рис. 6, *б*);

много карбонатных образований, таких как округлые или вытянутые фрагменты раковин, перекристаллизованные зерна спарита или скрытокристаллические нодули (рис. 6, *в*);

зерна плагиоклазов (рис. 6, *в*, нижняя часть) четко показывают, что материал для блоков был извлечен из глубоких почвенных горизонтов, поскольку в поверхностных горизонтах таких зерен нет.

На основании анализа микроморфологического строения и вещественного состава установлено, что материал для блоков-«кирпичей» брали из ям, вскрывавших почвенные горизонты на глубине примерно 70–100 см от поверхности (т.е. из отложений, залегавших ниже окрашенного гумусом почвенного слоя) в ближайших окрестностях кургана и смешивали с речным илом. О добавлении в этот материал речно-

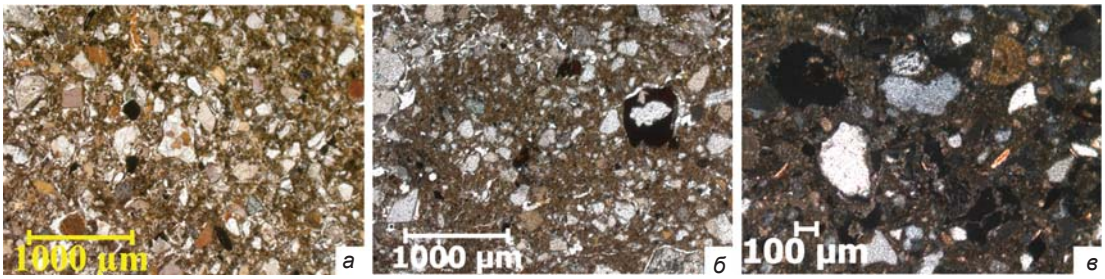

Рис. 6. Микростроение грязевых блоков из конструкции кургана Марфа.

а – вокруг зерен минерального скелета имеются пустоты, повторяющие контур каждого зерна, в целом плазма сильно уплотнена, в мелких порах имеются натеки глинисто-железистого состава; *б* – порфировидное микросложение, трещинная сеть вокруг крупных зерен минерального скелета и в верхней части – трещины усыхания, черные и бурые пятна в порах и тонкодисперсной массе; *в* – обломок круглой карбонатной раковины, рассеянные зерна спарита и перекристаллизованные карбонатные стяжения в порах и тонкодисперсной массе, в нижней части видны зерна плагиоклазов. Фото *а, б* сняты без анализатора, *в* – с анализатором.

го ила свидетельствуют данные фитолитного анализа [Хохлова, Хохлов, Наглер, 2017].

Обмазки. Микроморфологический анализ состава обмазок, скреплявших блоки-«кирпичи» в единую кладку при сооружении курганной конструкции, показал, что преобладающим связующим компонентом в этих цементирующих массах служило карбонатное вещество. Согласно микронаблюдениям, карбонаты полностью пропитывают глинистую массу такого цемента (рис. 7, *а*), имеется очень большое количество карбонатных раковин (рис. 7, *в*), сохраняющих свой первоначальный облик (рис. 7, *в*, желтые стрелки), с начальными признаками растворения (рис. 7, *в*, край крупного обломка раковины в правой части фото), а также оплывших, перекристаллизованных, практически полностью утративших первоначальный облик (рис. 7, *в*, белые стрелки). Вероятно, при замачивании лессового и речного глинистого материала, в котором изначально глина и карбонаты были представлены по отдельности, под действием воды и в результате тщательного перемешивания в нем происходило физико-химическое преобразование, и получалась единая масса глинисто-карбонатного состава. В блоках-«кирпичах» образование единого слитного глинисто-карбонатного вещества (карбонатная пропитка) происходило в существенно меньших масштабах.

Иногда обмазки имели бурый или красноватый оттенок (см. рис. 2, *б*, белая стрелка). Во время микронаблюдений было установлено, что в бурой обмазке связующим компонентом являлось железо, его оксиды пропитывали глинистую массу, имеющую в этом случае глинисто-железистый состав (рис. 7, *б*). Для получения бурых обмазок-цементов брали глину обязательно из реки, т.к. глинисто-железистый состав почвенной тонкодисперсной массы совсем не характерен для окружающих курган черноземов. Эта глина также была обогащена органическим веществом, но главным красящим компонентом являлись именно оксиды железа. Необходимо заметить, что цементы глинисто-железистого состава использовались единично, для особых случаев, тогда как карбонатный компонент абсолютно преобладал в обмазках при скреплении строительных блоков или камней в конструкциях кургана Марфа. В целом, обмазки, хотя отличались гораздо более плотным сложением, чем даже глинистая масса, из которой сложены блоки-«кирпичи», так же активно, как блоки, разрушались под воздействием землероев – червей, насекомых, личинок и т.п. (рис. 7, *г*).

С учетом того, что в вещественном составе обмазок содержание органического углерода чаще всего было выше, чем в блоках, а $C_{карб}$ – ниже, можно сделать вывод о небольших различиях в способах подготовки материала для блоков и обмазок. В глинистый раствор для обмазок добавлялось больше речного ила; он существенно дольше выдерживался в воде и подвергался более длительному и тщательному механическому воздействию (перемешивание), благодаря чему происходило преобразование исходно разнородного глинистого и карбонатного вещества в единую глинисто-карбонатную тонкодисперсную массу. Можно утверждать, что карбонатное вещество при таком способе изготовления обмазок становилось реально клеящим, скрепляющим. Если состав обмазок был глинисто-железистым, значит, материал для них брали, скорее всего, из речного ила, поскольку только в речных отложениях ил был бескарбонатным.

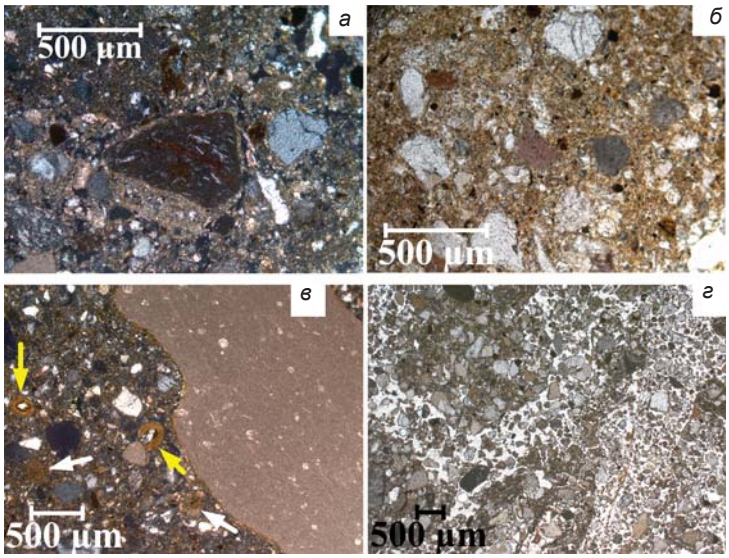

Рис. 7. Микростроение обмазок.
а – карбонаты полностью пропитывают глинистую тонкодисперсную массу; *б* – тонкодисперсный материал глинисто-железистого состава с небольшой добавкой органического вещества; *в* – в плазме разбросано много карбонатных раковин, сохраняющих первоначальный облик (желтые стрелки) и имеющих начальные признаки растворения (край крупного обломка раковины в правой части фото), многие оплыли, перекристаллизовались и утратили первозданный вид (белые стрелки); *г* – разрыхление обмазки в результате деятельности мезофауны – видны ходы мелких червей с измельченными растительными остатками, рядом – более темные уплотненные ненарушенные микрофрагменты. Фото *б, г* сняты без анализатора, *а, в* – с анализатором.

Полосчатый конструкционный элемент. Микроморфологический анализ материала полосчатого конструкционного элемента, обнаруженного на южной периферии кургана, позволил проследить сортировку грубо- и мелкодисперсных минеральных зерен, составлявших слойки толщиной ок. 1 мм (рис. 8). Иногда слоек состоял из совсем мелкодисперсных частиц глинистой или мелкопылеватой размерности (рис. 8, *а*, *в*, желтые стрелки). В шлифах на-

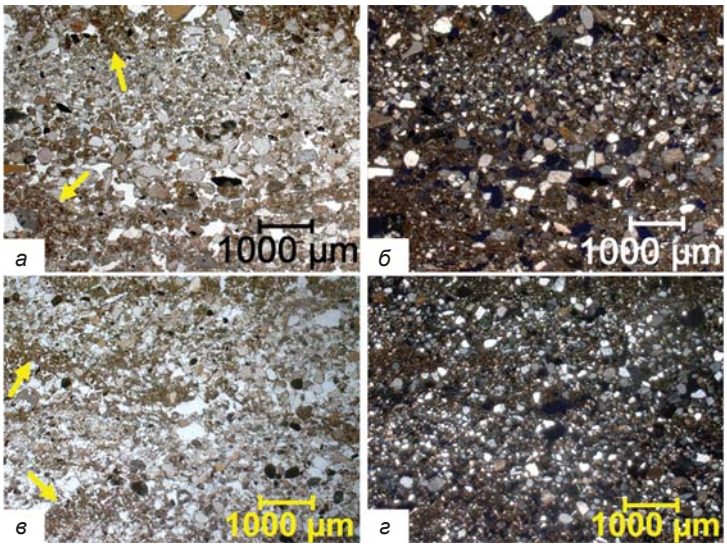

Рис. 8. Микростроение полосчатого элемента в конструкции кургана Марфа.
а, б – слойки минеральных зерен разной размерности выдержаны четко; *в, г* – слойки не выдержаны по простиранию, прерывистые. Желтые стрелки указывают на слойки, состоящие из тонкодисперсного материала. Фото *а, в* сняты без анализатора, *б, г* – с анализатором.

блюдались микроучастки, где слойки были выдержаны очень четко по простиранию (рис. 8, *а*, *б*), но гораздо чаще они были невыдержанными, прерывистыми, извилистыми (рис. 8, *в*, *г*). При изучении шлифов с анализатором (рис. 8, *б*, *г*) было сделано еще одно важное наблюдение: слойки не связаны между собой глинисто-карбонатным или глинисто-железистым тонкодисперсным материалом. Среди минеральных зерен встречаются мелкие обломки раковин или карбонатных нодулей, но они выступают как компоненты минерального скелета, а не образуют связующую тонкодисперсную массу.

Полосчатый элемент конструкции, залегавший под каменной крепидой, вероятно, относится к слою, сформированному в один из ранних периодов строительства Марфы. Ранее исследователи отмечали полосчатое строение глинистого материала, которое могло быть результатом сортировки материала при разрушении глинобитных конструкций [Friesem et al., 2011]. Очевидно, такие погодные явления, как атмосферные осадки, ветер и др. нанесли урон конструкции, созданной из грязевых блоков-«кирпичей»; она постепенно разрушалась, происходила седиментация (сортировка) разноразмерных минеральных фракций под воздействием силы тяжести. О том, что это был процесс, возникавший время от времени и под влиянием разных сил (то слабый дождь, то ливень, то сильный ветер, то слабый), можно судить по невыдержанности, прерывистости, извилистости мелких слойков внутри данного конструкционного элемента.

Заключение

Конструкционные материалы и технико-технологические приемы, применявшиеся при строительстве кургана Марфа, изучены с использованием методов почвоведения и микроморфологии. Курган начали сооружать носители майкопской культуры в раннем бронзовом веке (вторая половина IV тыс. до н.э.), строительство продолжалось в среднем бронзовом веке (III–II тыс. до н.э.) и раннем железном веке (I тыс. до н.э.). Изучение остатков блоков-«кирпичей» с поверхности кургана, хорошо сохранившихся блоков, которые находились внутри конструкции и на периферии объекта, позволило установить их единое происхождение (использование единого сырья). То есть блоки формовались путем тщательного замешивания и уплотнения материала из лесса, взятого из близлежащих к кургану сравнительно глубоких ям с добавлением речного ила, без использования растительного сырья.

Обмазки имели гораздо более плотное сложение, чем блоки, но по содержанию илистой и тонкопылеватых гранулометрических фракций обмазки и блоки не различались. Связующим компонентом в обмазках служило преимущественно карбонатное, гораздо реже – железистое вещество, преобразованное при механическом воздействии в присутствии воды в глинисто-карбонатную/железистую единую массу. Большая плотность обмазок – это результат того, что глинистый материал для них выдерживался в воде гораздо дольше, чем для блоков; разрозненный и грубодисперсный карбонатный материал, который мы наблюдаем в лессах и почвенных горизонтах, преобразовывался в связный тонкодисперсный глинисто-карбонатный материал.

На периферии кургана зафиксировано образование полосчатого конструкционного элемента, сформированного за счет естественной седиментации разноразмерных минеральных фракций под влиянием силы тяжести в периоды ливней, ветров в процессе разрушения глинобитной конструкции. Этот элемент следующее поколение строителей использовало как основание для каменной крепиды.

Благодарности

Полевые исследования выполнены при поддержке Евроазиатского отдела Германского археологического института. Микроморфологический анализ проведен за счет гранта РНФ (проект № 19-18-00327). Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания (тема № 0191-2019-0046).

Список литературы

Александровский А.Л., Хохлова О.С., Седов С.Н. Большой Ипатовский курган глазами почвоведа // РА. – 2004. – № 2. – С. 61–70.

Баженов А.И., Сафарова Л.Р., Якимов А.С., Таиров А.Д. «Кирпич-цемент» – универсальная система для строительства курганов // Этнические взаимодействия на Южном Урале. – Челябинск: Рифей, 2013. – С. 251–257.

Воробьева Л.А. Химический анализ почв. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1998. – 272 с.

Гольева А.А., Хохлова О.С. Реконструкция этапов создания Большого Синташтинского кургана (Челябинская область) на основе палеогеографических данных // Изв. РАН. Сер. геогр. – 2010. – № 6. – С. 67–76.

Грязнов М.П. Курган как архитектурный памятник // Тез. докл. на заседаниях, посвящ. итогам полев. исслед. в 1960 г. – М., 1961. – С. 22–25.

Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толковообразовательный. Слова на букву К. – URL: https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova.htm?letter=11 (дата обращения 11.04.2020).

Зданович Г.Б., Иванов И.В., Хабдулина М.К. Опыт использования в археологии естественных методов исследования (курганы Кара-оба и Обалы в Северном Казахстане) // СА. – 1984. – № 4. – С. 35–48.

Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса IV в. до н.э. – Киев: Стилос, 2005. – 599 с.

Наглер А.О. Погребальные сооружения раннего железного века степей Евразии // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2013. – № 1 (5). – С. 222–232.

Наглер А.О. Курганы Большой степи как архитектурные сооружения // Наука из первых рук. – 2015. – Т. 64, № 4. – С. 70–85.

Наглер А. Курганы Евразии – новый взгляд на памятники и новые задачи их исследования // Мультидисциплинарные методы в археологии. Новейшие итоги и перспективы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – С. 192–215.

Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1981. – 273 с.

Парцингер Г., Зайберт В.Ф., Наглер А., Плешаков А.А. Большой курган Байкара. Исследование скифского святилища. – Майнц: Филип фон Цаберн, 2003. – 280 с.

Плеханова Л.Н., Демкин В.А., Манахов Д.В. Палеопочвенные исследования курганов эпох бронзы и раннего железа (II тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) в степном Зауралье // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17: Почвоведение. – 2005. – № 4. – С. 3–10.

Хохлова О.С., Хохлов А.А., Наглер А.О. Изучение конструкции курганных сооружений методами почвоведения (на примере кургана Марфа в Ставропольском крае) // Мультидисциплинарные методы в археологии. Новейшие итоги и перспективы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – С. 358–367.

Черных Л.А., Дараган М.Н. Курганы эпохи энеолита – бронзы междуречья Базавлук – Соленая – Чертомлык. – Киев: Олег Філюк, 2014. – 536 с.

Borisov A.V., Krivosheev M.V., Mimokhod R.A., El'tsov M.V. "Sod blocks" in kurgan mounds: Historical and soil features of the technique of tumuli erection // J. of Archaeol. Sci. – 2019. – Rep. 24. – P. 122–131.

Bronnikova M.A., Panin A.V., Murasheva V.V., Golyeva A.A. Soil micromorphology in archaeology: history, objectives, possibilities and prospects // Byulleten Pochvennogo instituta im. V.V. Dokuchaeva. – 2016. – Vol. 86. – P. 35–45. – URL: https://doi.org/10.19047/0136-1694-2016-86-35-45.

Cammas C. Micromorphology of earth building materials: Toward the reconstruction of former technological processes (Protohistoric and Historic Periods) // Quaternary Intern. – 2018. – Vol. 483. – P. 160–179.

Courty M.-A., Goldberg P., Macphail R.-I. Soils and Micromorphology in Archaeology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. – 344 p.

Emery V.L. Mud-Brick // UCLA Encyclopedia of Egyptology / ed. W. Wendrich. – Los Angeles: Univ. of California, 2011. – P. 1–10.

Friesem D., Boaretto E., Eliyahu-Behar A., Shahack-Gross R. Degradation of mud brick houses in an arid environment: a geoarchaeological model // J. of Archaeol. Sci. – 2011. – Vol. 38 (5). – P. 1135–1147.

Friesem D.E., Karkanas P., Tsartsidou G., Shahack-Gross R. Sedimentary processes involved in mud brick degradation in temperate environments: a micromorphological approach in an ethnoarchaeological context in northern Greece // J. of Archaeol. Sci. – 2014. – Vol. 41. – P. 556–567.

Friesem D.E., Wattez J., Onfray M. Earth Construction Materials // Archaeological soil and sediment micromorphology / eds. C. Nicosia, G.R. Stoops. – N.Y.: Wiley, 2017. – P. 99–110.

Goldberg P. Geology of Late Bronze Age Mudbrick from Tel Lachish // Tel Aviv. – 1979. – Vol. 6, N 1/2. – P. 60–67.

Hohn C.M. ABCs of Making Adobe Bricks. – URL: https://aces.nmsu.edu/pubs/_g/G521/

Kemp B. Soil (including mud-brick architecture) // Ancient Egyptian materials and technology / ed. P. Nicholson, I. Shaw. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. – P. 78–103.

Khokhlova O., Nagler A. Micromorphological analysis in studying the features of mud-brick construction of the Marfa kurgan in the Stavropol region, Russia // Int. Workshop on Archaeological Soil Micromorphology. 1–3 August 2018. – Brussels, 2018. – P. 9.

Kramer S.N. The Sumerians: Their history, culture, and character. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 2010. – 346 p.

Love S. Field Methods for the Analysis of Mud Brick Architecture // J. of Field Archaeology. – 2017. – Vol. 42, N 4. – P. 351–363.

Nagler A. Grabanlagen der frühen Nomaden in der eurasischen Steppe im 1 Jahrtausend v. Chr. // Unbekanntes Kazachstan – Archäologie im Herzen Asiens. – Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 2013. – Bd. 2. – S. 609–620.

Rolle R., Mursin V.Ju., Alekseev A.Ju. Königskurgan Čertomlyk. Ein skythischer Grabhügel des 4. vorchristlichen Jahrhunderts. – Mainz: Philipp von Zabern, 1998. – Bd. I. – 222 S.

Rosen A.M. Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1986. – 167 p.

Материал поступил в редколлегию 21.03.20 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.049-058
УДК 903.2

И.В. Чечушков[1], А.А. Овсянников[2], Э.Р. Усманова[3]
[1]Институт истории и археологии УрО РАН
ул. Софьи Ковалевской, 16, Екатеринбург, 620990, Россия
E-mail: chivpost@gmail.com
[2]Шығыс-1 шағын ауданы, 10, пәтер 135, Қарағанды қаласы,
100029, Қазақстан Республикасы
E-mail: ovsbigi@mail.ru
[3]Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова, Казахстан
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Университет көшесі, 28, Қарағанды қаласы, 100028, Қазақстан Республикасы
E-mail: emmadervish2004@mail.ru

К вопросу о времени начала использования желобчатых псалиев и возникновения всадничества (по материалам могильника Новоильиновский II в Северном Казахстане)

Статья посвящена публикации, трасологическому анализу и датировке трех желобчатых псалиев из кург. 5 могильника Новоильиновский II в Казахстане. Они были обнаружены в едином контексте с жертвоприношением двух лошадей (жеребца и кобылы), уложенных на дне ритуальной ямы в позе «летящего галопа». Становление всадничества, которое маркирует появление нового типа мобильности и способа ведения войны, традиционно датируется рубежом II–I тыс. до н.э. Однако благодаря псалиям этот процесс может быть прослежен в течение всего II тыс. до н.э. Именно данная категория инвентаря демонстрирует эволюцию в использовании лошади и поиски наиболее эффективных способов управления упряжными и верховыми животными. На основании данных трасологии сделан вывод о том, что все три псалия, скорее всего, использовались в узде верховой лошади. В статье публикуются две радиоуглеродные AMS-даты, полученные по материалам кургана, в т.ч. ритуального объекта, содержавшего псалии и останки лошадей. Согласно результатам радиоуглеродного датирования погребальных комплексов с псалиями, экземпляры из могильника Новоильиновский II являются одними из самых ранних, применявшихся для управления верховыми, а не упряжными лошадьми. Исследованные артефакты могут свидетельствовать о зарождении всадничества в Евразийской степи уже в начале II тыс. до н.э.

Ключевые слова: *бронзовый век, псалии, трасология, радиоуглеродный анализ, всадничество.*

I.V. Chechushkov[1], A.A. Ovsyannikov[2], and E.R. Usmanova[3]
[1]Institute of History and Archaeology,
Ural Branch, Russian Academy of Sciences,
S. Kovalevskoi 16, Yekaterinburg, 620990, Russia
E-mail: chivpost@gmail.com
[2]Vostok 1st Microdistrict 10, apt. 135, Karaganda,
100029, Republic of Kazakhstan
E-mail: ovsbigi@mail.ru
[3]Buketov Karaganda State University,
Universitetskaya 28, Karaganda, 100028, Republic of Kazakhstan
E-mail: emmadervish2004@mail.ru

© Чечушков И.В., Овсянников А.А., Усманова Э.Р., 2020

On the Earliest Use of Plate-Formed Cheekpieces and the Emergence of Horse Riding (Based on Finds from the Novoilyinovskiy II Cemetery in Northern Kazakhstan)

This study addresses the description, use-wear analysis, and date of three plate-formed cheekpieces from kurgan 5 at Novoilyinovskiy II, Kazakhstan. They were found in the same context with two sacrificed horses (a stallion and a mare), placed on the bottom of a ritual pit in the "flying gallop" posture. The emergence of horse riding, marking a new type of mobility and warfare, has been traditionally dated to ca 900 BC. However, cheekpieces suggest that this process spanned the entire 2nd millennium BC. They testify to the evolution of horsemanship and the search for the most efficient means of controlling draft and riding horses. Results of use-wear analysis suggest that all three specimens likely belonged to riding horses' harnesses. Two AMS radiocarbon dates referring to kurgan 5 suggest that these cheekpieces are among the earliest used for controlling riding rather than draft horses, implying that horse riding emerged on the Eurasian steppes as early as the beginning of the 2nd millennium BC.

Keywords: *Bronze Age, cheekpieces, use-wear analysis, radiocarbon dating, horse riding.*

Введение: желобчатые псалии и проблема возникновения всадничества

Начало массового использования лошади под верх (всадничество) маркирует появление нового типа мобильности и способа ведения войны. Становление всадничества датируется рубежом II–I тыс. до н.э. [Drews, 2004, p. 149]. Однако этот процесс может быть прослежен в Евразийской степи в течении всего II тыс. до н.э. благодаря псалиям, отражающим эволюцию в использовании лошади и поиски наиболее эффективных способов управления животными в различных условиях [Кузьмина, 1994, с. 180].

Мы согласны с мнением тех исследователей, которые по морфологическим признакам выделяют два основных класса псалиев: щитковые и стержневидные (подробнее о принятой типологии см.: [Чечушков, 2013]). Определяющим признаком первых является наличие щитка – участка широкой уплощенной кости или рога, несущей на себе все остальные детали. Такие псалии интерпретируются как средства управления упряжными лошадьми. Ко второму классу относятся псалии, изготовленные из длинной узкой кости или отростка рога и, как правило, не снабженные шипами. Они применялись для управления верховой лошадью [Смирнов, 1961; Ковалевская, 1977, с. 15–17; Зданович, 1988, с. 138–145]. Среди псалиев первого класса целесообразно выделять собственно щитковые и желобчатые (хотя существуют и другие варианты классификации) [Бочкарев, Кузнецов, 2013]. Обе разновидности имеют на несущей пластине-щитке шипы, причиняющие животному боль. Отличие заключается в том, что желобчатые псалии изготовлены из доступной и простой в обработке трубчатой кости, как правило расколотой продольно. Факт нахождения пары таких псалиев на черепе в кург. 5 могильника Комаровка [Алихова, 1955] позволяет интерпретировать их как средство управления верховой лошадью [Смирнов, 1961, с. 51; Усачук, 2014].

Однако в силу того, что многие желобчатые псалии происходят из поселенческих комплексов, а находки из погребений датированы лишь относительными методами (могильники Аксайман, Комаровка, Обилькин Луг III, Новые Ключи III и др.), установление точного времени начала исторического процесса становления всадничества затруднено. Тем не менее использование радиоуглеродного метода для датирования комплексов с псалиями позволяет наметить основные вехи этого процесса.

В данной работе рассматриваются три желобчатых псалия из могильника Новоильиновский II (памятники Лисаковской округи эпохи бронзы, р-н Беимбета Майлина, Костанайская обл., Казахстан). Под насыпью кург. 5 располагались два погребальных комплекса с керамикой петровского облика, а также ритуальный объект с захоронением двух лошадей, где и обнаружены псалии (подробнее см.: [Усманова и др., 2018; Снитковская, Усманова, 2019]).

Краткое описание погребального сооружения

Погребальное сооружение представляло собой земляную насыпь высотой 0,4 м, диаметром 18 м. На уровне материка были выявлены очертания двух могил и расположенных вокруг них семи ям (рис. 1). В заполнении могильной ямы 1 встречались кости верхней части костяков людей и фрагменты керамики (рис. 2, *1*). На дне ямы находились *in situ* нижние части скелетов четырех погребенных. Умершие были захоронены двумя парами в скорченных позах, головами на запад. В погребении найдены бусины и мелкие фрагменты накосных украшений, бронзовая обойма, костяной наконечник стрелы, бронзовый наконечник дротика [Усманова, Малов, 2016]. В могильной яме 2 обнаружены кости ребенка, захороненного на левом боку, головой на запад, а также труха от деревянного предмета прямоугольной формы, несколько пастовых бусин и сосуд.

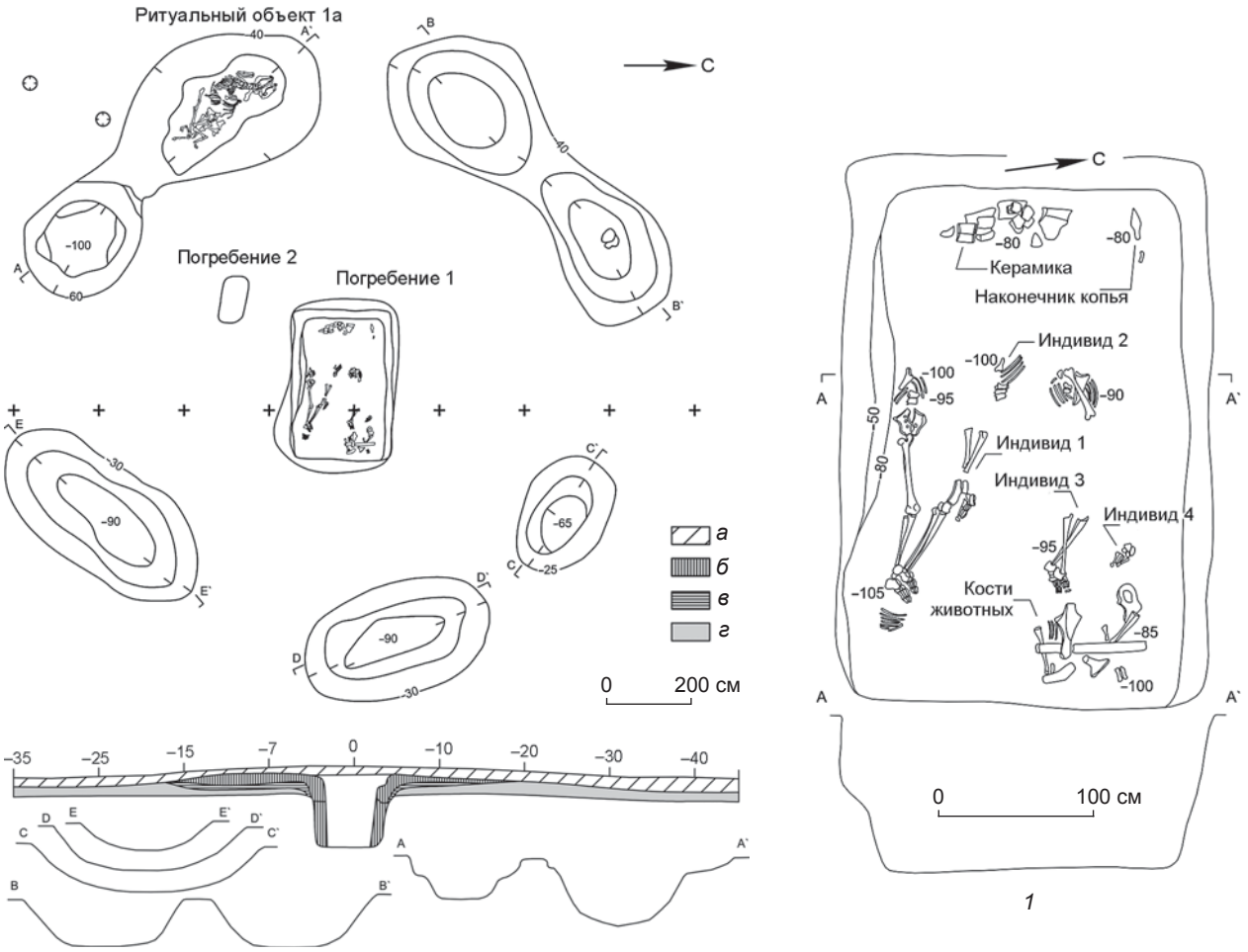

Рис. 1. План и разрез подкурганной площадки кург. 5.
а – насыпь (темно-коричневый суглинок); *б* – выкид из ямы (белесый суглинок); *в* – погребенная почва (серый гумус); *г* – материковый суглинок.

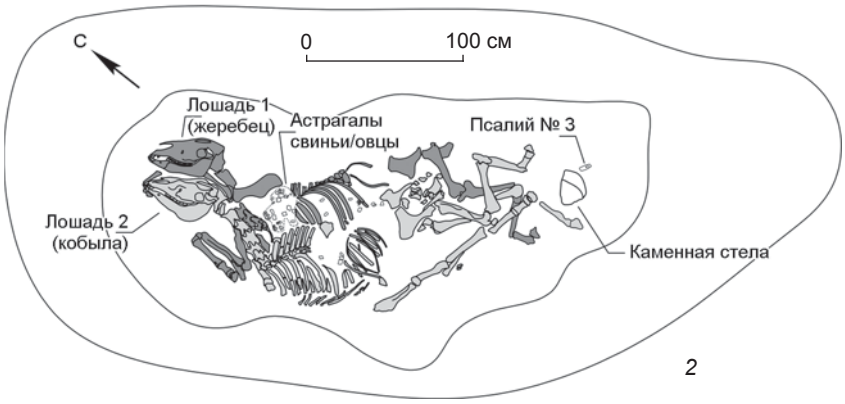

Рис. 2. Погребение 1 (*1*) и ритуальный объект 1а (*2*).

Ритуальное сооружение 1а располагалось в юго-западном секторе площадки. У дна яма приобрела правильную овальную форму, в этом пространстве располагались костяки двух лошадей и вертикально вкопанный позади них столбик из отесанного сливного песчаника, высотой 60 см, интерпретируемый как символическая коновязь (рис. 2, *2*).

При расчистке камня были обнаружены три желобчатых псалия (рис. 3). Один (№ 1) лежал плашмя с восточной стороны камня, нижним торцом щитка по направлению к нему, планкой – от него; другой (№ 2) располагался вертикально, планкой вниз, с западной стороны. Судя по такому расположению, на камень могло быть накинуто полное оголовье, ременная часть которого не сохранилась. Псалий № 3 находился над камнем и, вероятно, был вынесен туда в процессе движения грунта. Кроме того, над камнем найден небольшой клин из цветного металла.

На дне ямы параллельно друг другу лежали полные скелеты жеребца 18–20 лет и кобылы 16–18 лет

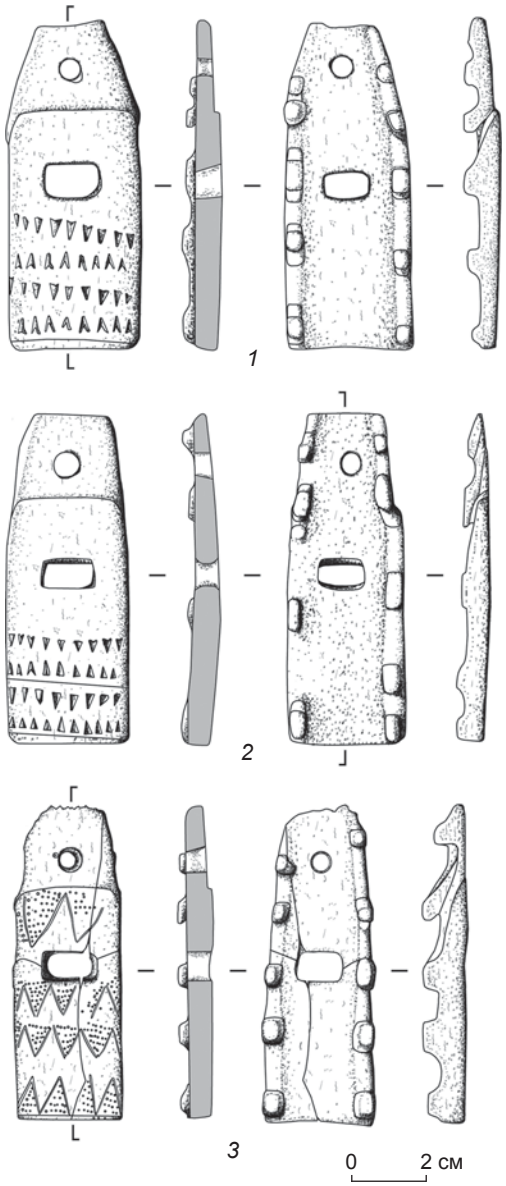

Рис. 3. Желобчатые псалии из ритуального объекта 1а.

(см. рис. 2, *2*). Лошадям были приданы сложные позы, для чего с их останками совершали специальные операции: отрезание конечностей, подрезание связок на суставах и связывание частей. Пространственная символика организации костяков может свидетельствовать о попытке придания лошадям позы «летящего галопа» [Усманова, Гумирова, Чечушков, 2019]. Возраст животных и наличие псалиев не оставляет сомнений, что обе лошади использовались в работе, а дальнейший анализ артефактов направлен на установление, какой именно.

Морфология псалиев и результаты трасологического анализа

Применяемая в данной работе методика исследования псалиев подробно изложена в нескольких работах [Усачук, 2013, с. 3–5; Берсенев и др., 2014; Chechushkov, Epimakhov, Bersenev, 2018], что позволяет нам сразу перейти к их описанию. Все три изделия изготовлены из расколотой продольно трубчатой кости и имеют одинаковую форму: щиток прямоугольный, планка в виде трапеции. В центре щитка расположено прямоугольное трензельное отверстие, в планке – дополнительное круглое. Шипы вырезаны по длинным торцам кости с внутренней стороны изделия. Видны следы резки шириной 4 мм, длиной 10 мм. Режущая поверхность имела ширину 2–3 мм, что позволяет предполагать использование каменного ножа.

Псалий № 1 (рис. 4, *1*). На внешней стороне под трензельным отверстием нанесен орнамент: четыре ряда штампованных равносторонних треугольников,

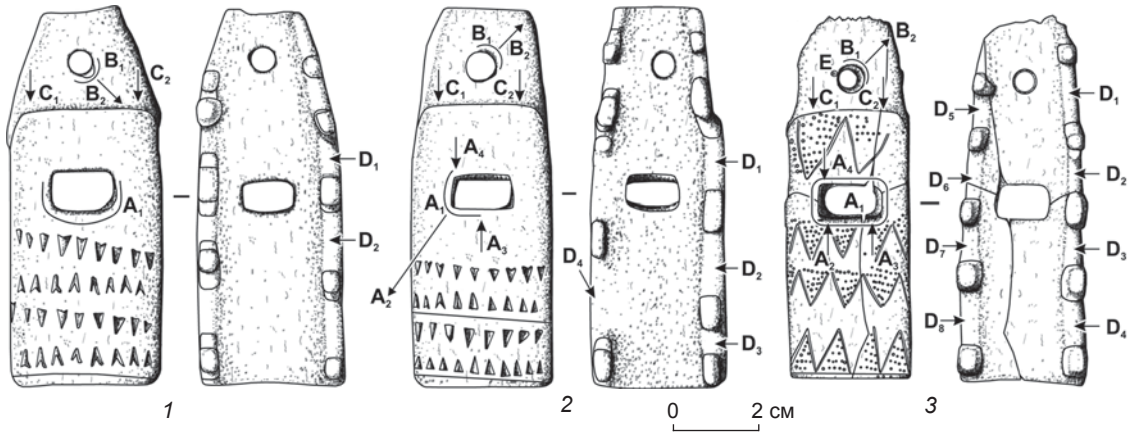

Рис. 4. Локализация следов сработанности на псалиях.
A_1–A_4 – на краях трензельного отверстия (A_2–A_4 – зоны наибольшего износа); B_1 – на краях дополнительного отверстия (B_2 – направление сработанности); C_1, C_2 – в месте схождения планки и щитка; D_1–D_8 – между шипами.

выполненных методом глубокого вдавления, возможно, горячим способом, и прочерченная горизонтальная линия. Примерные размеры треугольников: высота 4 мм, основание 2 мм, глубина штампа до 1,5 мм.

Трензельное отверстие имеет равномерные следы сработанности в виде слабого скругления понизу, а также в обоих нижних углах. С левой и правой стороны при переходе от планки к щитку наблюдается заполированность. Дополнительное отверстие в планке развальцовано с наибольшей зоной сработанности на 5 часов.

Шипы расположены симметрично по пять на каждой стороне. На щитке по три шипа прямоугольной формы, размерами 5 × 6 × 3 мм, на расстоянии 8–9 мм друг от друга. С правой стороны в промежутках фиксируется выраженная заполированность, с левой – верхний и нижний полуразрушены, средний хорошей сохранности. На планке по два шипа. С правой стороны верхний полуразрушен, другой имеет подтреугольную форму, под ним вырезан паз, так что шип образует зацеп. С левой стороны верхний стерт до основания, другой полуразрушен. Отметим, что с этой стороны шипы стерты сильнее, чем с правой.

Псалий № 2 (рис. 4, *2*). Поверхность изделия слегка отполирована. Под трензельным отверстием нанесен орнамент, выполненный в тех же стиле и технике, что и на псалии № 1. С левой стороны в месте схождения планки и щитка фиксируется заполированность на участке шириной 4 мм, длиной 11 мм, с правой стороны она менее выражена. Трензельное отверстие имеет следы сработанности в виде слабого скругления в зоне от 6 до 11 часов с выраженными векторами в ее крайних точках, а также в левом нижнем углу (7 часов). Кроме того, при 16-кратном увеличении на поверхности щитка видны параллельные линии, оставленные абразивом. В месте их схождения с отверстием линии явно сглажены, что свидетельствует о воздействии ремня из органического материала. Край дополнительного отверстия в планке слегка заглажен с основным вектором на 1 час.

У псалия девять шипов. С правой стороны их пять. Два шипа расположены на планке, сильно стерты. Под вторым вырезан паз, так что шип образует зацеп. На промежутке между шипами (8 мм) наблюдается слабая заполированность на участке шириной 2–3 мм. Три прямоугольных шипа правой стороны щитка расположены на расстоянии 8–9 мм друг от друга. Между ними зафиксированы зоны заполированности шириной 3–5 мм. На левой стороне сохранились остатки четырех шипов. Два из них расположены на планке, нижний стерт почти до основания, верхний имеет овальную форму, приобретенную вследствие стертости. Два шипа на щитке разрушены до основания. Между ними наблюдается заполированность в виде полоски шириной 2 мм по краю псалия.

Псалий № 3 (рис. 4, *3*). На планке, у края дополнительного отверстия, по направлению на 11 часов сохранились следы первоначальной разметки, но мастер, по всей видимости, изменил решение о месте его расположения. С внешней стороны поверхность псалия тщательно отполирована. На всей его прямоугольной части резной орнамент: четыре ряда равносторонних треугольников, внутреннее пространство которых заполнено точками, нанесенными шилоподобным инструментом, возможно, горячим способом. В месте схождения планки и щитка фиксируется зона слабой заполированности шириной 3 мм, длиной 10 мм. Трензельное отверстие имеет следы сильной сработаности в виде значительного скругления по всем четырем сторонам. Зоны наибольшей сработанности расположены у его верхнего левого угла (11 часов) и вдоль нижнего края, где сильно затерты точки, заполняющие треугольники орнамента. Дополнительное отверстие в планке также значительно развальцовано по всей окружности, но наиболее выраженный вектор направлен на 1 час.

Шипы расположены симметрично (кроме двух первых) по пять на каждой стороне. Между всеми шипами правой стороны зафиксированы зоны заполированности шириной 4 мм между первыми двумя и до 5 мм между остальными. Первый и третий шипы левой стороны основательно стерты и выступают лишь на 2–3 мм, в то время как другие – на 4–5 мм. Между шипами наблюдается заполированность, однако по сравнению с правой стороной она выражена значительно слабее (ширина ок. 3 мм). Очевидно, что основная нагрузка приходилась на правую сторону.

Итак, все три артефакта изготовлены из диафизов трубчатых костей крупного млекопитающего и относятся к желобчатым псалиям с монолитными шипами и выделенными планками (табл. 1). Одинаковая орнаментация псалиев № 1 и 2 позволяет предположить, что они парные, в то время как третий артефакт существенно отличается. Взаиморасположение этих находок также дает основания интерпретировать их как аксессуары от двух уздечек: первые два псалия располагались по бокам камня, а третий – поверх него. Очевидно, что в комплексе присутствовало два оголовья, но один из псалиев второго был утрачен.

Анализ следов изготовления позволяет сделать следующие выводы. Псалии вырезались лезвием небольшой ширины, поверхности шлифовались и, возможно, полировались. Орнамент выполнен в технике резьбы и штамповки, возможно, горячим методом. Круглые отверстия просверлены инструментом типа лучкового сверла, поскольку заметны следы в форме полумесяцев. При изготовлении трензельных отверстий сначала сверлился круг, который затем распиливался до прямоугольника.

Таблица 1. **Формальные характеристики псалиев**

Псалий	X, мм	Y, мм	Z, мм	Размер трензельного отверстия, мм	Количество шипов	Высота шипов, мм	Диаметр дополнительного отверстия, мм
№ 1	32	78	9	14 × 6÷8	10	3–4	4
№ 2	30	80	9	14 × 4÷5	10	2–3	5
№ 3	27	75	10	14 × 5÷7	10	3–4	6

Заполированность, перекрывающая следы изготовления, свидетельствует о том, что артефакты использовались. Так, у псалия № 3 сумма износа на плоскости (1 мм) и краях отверстия (≈0,5 мм) составляет ок. 1,5 мм, что по экспериментальным данным соответствует 7–13 часам работы [Chechushkov, Epimakhov, Bersenev, 2018, p. 132]. Псалии № 1 и 2 изношены значительно меньше, хотя нерегулярное затирание следов изготовления прослеживается.

Говоря о способе монтажа псалиев к оголовью, следует отметить, что морфология и следы сработанности позволяют сделать определенные выводы о типе уздечки (рис. 5). Во-первых, нет сомнений, что какие-то ремни крепились на планке: монтажный шнур укладывался на месте схождения планки и щитка, охватывая псалий петлей, фиксировался на шипах с внутренней стороны (оставил заполированность между шипами), проходил через дополнительное отверстие наружу, а затем направлялся наверх (наблюдается заполированность верхней части планки). Во-вторых, у псалия № 3 наиболее выраженная сработанность трензельного отверстия расположена вдоль его нижнего края с вектором на 5 часов. Схожий износ зафиксирован на желобчатых псалиях из кург. 5 могильника Комаровка [Усачук, 2014] и погр. 1 кург. 2 могильника Аксамайн. Такого рода сработанность наиболее близка к полученной при экспериментальной работе с оголовьем, в котором к планке крепился нахрапный ремень (тип оголовья 2, предназначенный для верховой езды). Однако в таком случае не ясно, как крепился суголовный ремень, поскольку никаких других отверстий на псалиях нет. С нашей точки зрения, возможны два варианта. Судя по заполированности между шипами псалиев № 1 и 3, а также выраженной сработанности в левом верхнем углу (11 часов) трензельного отверстия псалия № 2, суголовный ремень мог крепиться петлей через трензельное отверстие так, что охватывал щиток и проходил между шипами. В другом предложенном варианте

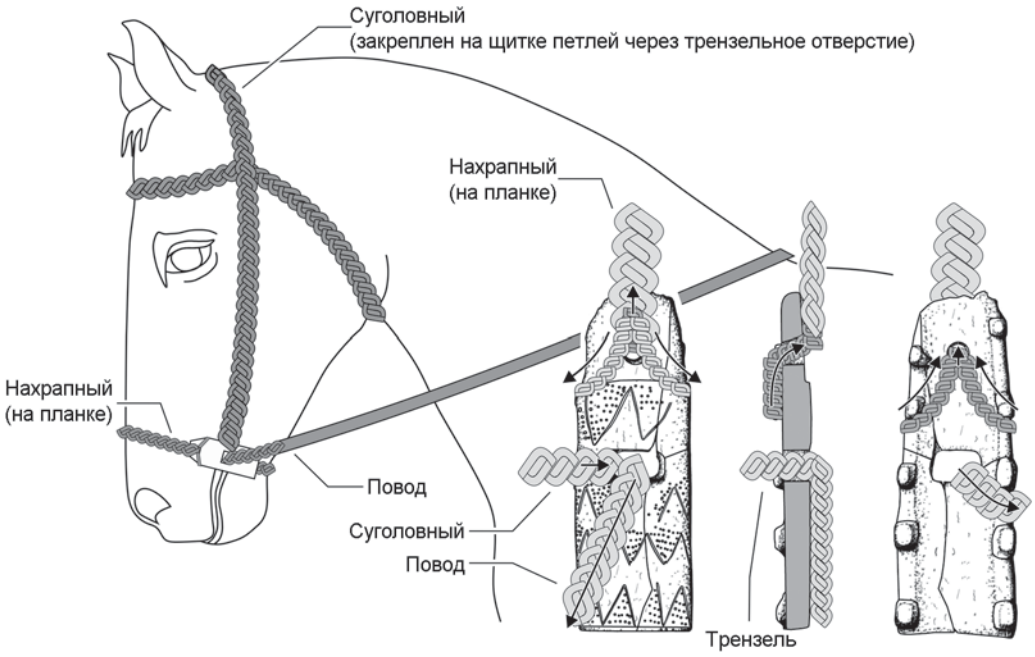

Рис. 5. Реконструкция оголовья с желобчатыми псалиями (ремни показаны в виде условного плетения, т.к. эксперимент с псалиями продемонстрировал наибольшую надежность именного этого метода монтажа псалиев [Чечушков, 2007]).

он крепится к нахрапному ремню, смонтированному на дополнительных отверстиях щитка [Бахшиев, Усачук, Вербовский, 2020], что снижает риск потери управления в случае разрыва удил из органического материала [Чечушков, 2007].

Типология и абсолютная датировка псалиев

Многомерное шкалирование серии псалиев ($n = 81$) с использованием коэффициента сходства Говера продемонстрировало, что на двумерном поле желобчатые псалии образуют независимый кластер [Chechushkov, Epimakhov, Bersenev, 2018, p. 129], который значительно отстоит от роговых щитковых и стержневидных вследствие существенных морфологических различий. Кроме того, оно выявило хронологическую тенденцию: наиболее ранние артефакты локализуются у одного края поля, а наиболее поздние – у противоположного. Желобчатые псалии занимают промежуточную позицию, что хорошо соотносится с представлениями об относительной хронологии археологических культур (рис. 6). Однако статистический анализ морфологии хотя и демонстрирует темпоральную тенденцию, все же не позволяет установить абсолютную хронологическую позицию конкретных артефактов. Использование радиоуглеродных дат, полученных по материалам из тех же контекстов, что и псалии, является единственным доступным методом датирования.

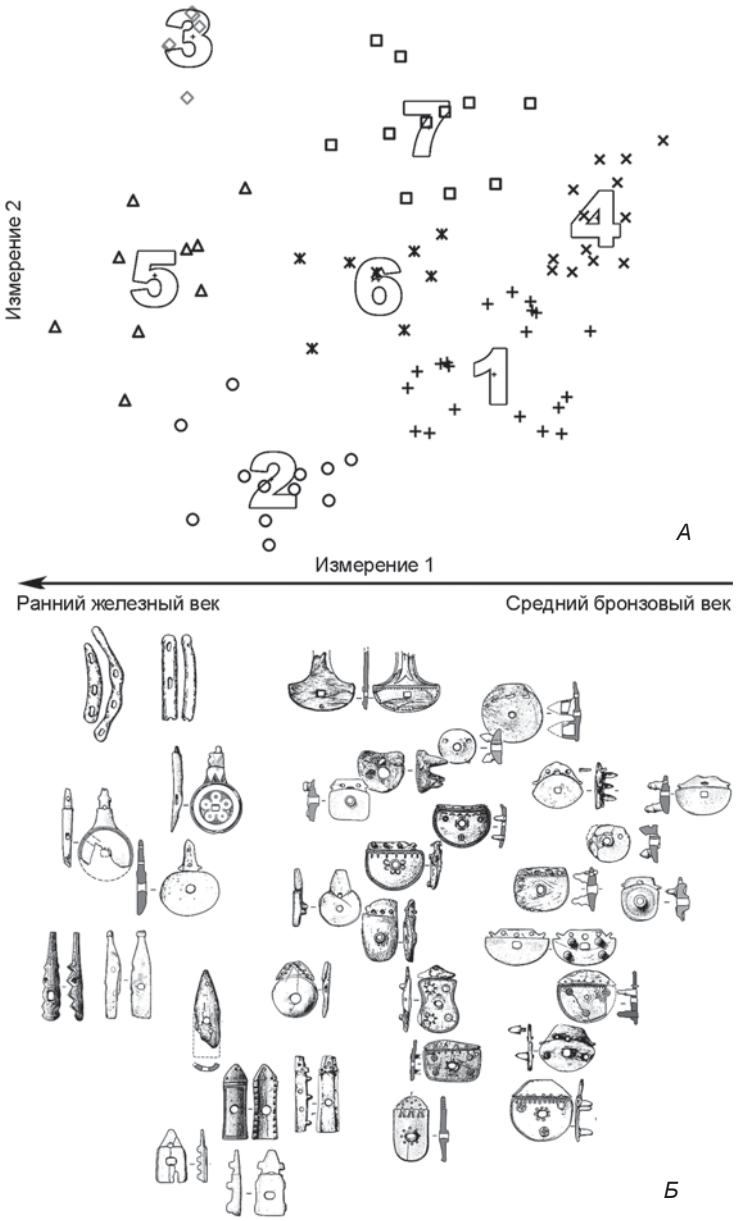

Рис. 6. Результаты многомерного шкалирования коэффициентов сходства серии псалиев бронзового века (*А*) и часть псалиев из выборки (*Б*).

Для кург. 5 могильника Новоильиновский II получены две радиоуглеродные даты: по астрагалу овцы из ритуального комплекса 1а и ребру человека из погр. 1 (табл. 2)*. Их соотнесение друг с другом позволяет предположить, что ритуальный комплекс с жертвоприношением лошадей создан позже погребения людей, как минимум в течение последующего года и вплоть до нескольких десятилетий. По результатам радиоуглеродного анализа рассматриваемые артефакты могут быть датированы началом XIX – первой третью XVIII в. до н.э. Поскольку псалии находились в работе незначительное время, вряд ли они были изготовлены существенно раньше совершения жертвоприношения. Результаты датирования могут быть сопоставлены с 14 радиоуглеродными датами, полученными для других закрытых (погребальных) комплексов с псалиями (рис. 7).

При калибровке радиоуглеродных данных дата для ритуального комплекса могильника Новоильиновский II располагается в третьей четверти хронологического ряда. Полученный интервал имеет пересечение даже с наиболее ранней датой для погребения Липецкого кургана с шипом от щиткового псалия

*Датирование выполнено в Университете Аризоны при финансовой поддержке Национального научного фонда США (NSF#1640341), калибровка результатов произведена по шкале IntCal13 в программе OxCal 4.3 [Bronk Ramsey, 2009; Reimer et al., 2013].

Таблица 2. **Результаты радиоуглеродного AMS-датирования**

Образец	Материал	^{14}C-дата, л.н.	Фракция современного углерода, Fm	δ^{13}C (± 0,1), ‰	Калиброванный интервал, гг. до н.э.	
					± σ (68,2 %)	± 2σ (95,4 %)
AA109587	Астрагал овцы из ритуального комплекса 1а	3 514 ± 30	0,6457 ± 0,0024	–19,7	1890–1774	1921–1751
AA109588	Ребро человека из погр. 1	3 572 ± 30	0,6410 ± 0,0024	–18,4	1956–1885	2024–1781

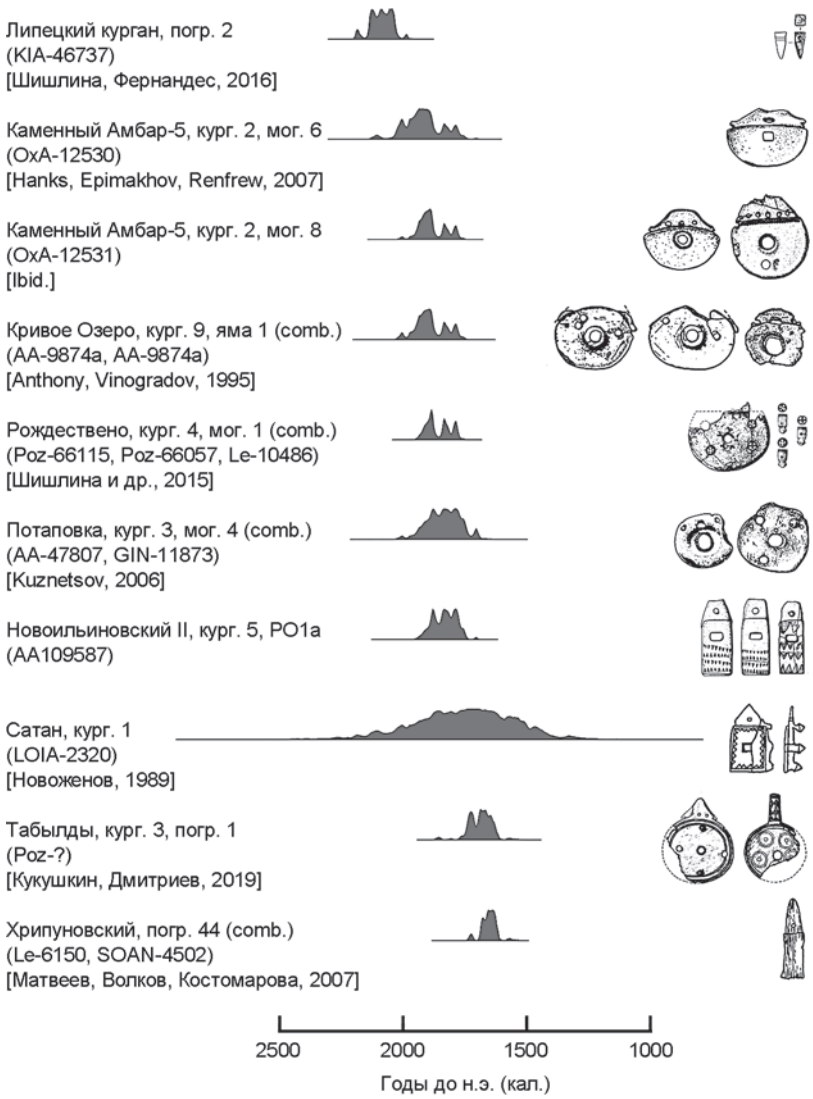

Рис. 7. Абсолютная хронология псалиев евразийских степей («*comb.*» обозначает использование метода R_Combine программы OxCal 4.3 [Bronk Ramsey, 2009; Reimer et al., 2013]).

и практически не отличается от комбинированных интервалов для могильников Потаповка, Рождествено и Кривое Озеро, где найдены щитковые псалии. В то же время этот комплекс древнее костяных псалиев из могильников Табылды и Хрипуновский. Отсюда следует, что желобчатые псалии из могильника Новоильиновский II являются одними из наиболее ранних артефактов такого рода, которые начали использоваться, когда типичные роговые щитковые псалии еще не вышли из употребления и сохранялись навыки и традиции их изготовления [Усачук, 2014].

Обсуждение результатов

Однозначно ответить на вопрос, как применялись изученные псалии, достаточно сложно. С одной стороны, они найдены в контексте с парой лошадей, что обычно интерпретируется как символика запряженной повозки. С другой стороны, наблюдаемая сработанность псалиев скорее соответствует работе под верхом, а не в упряжке. Нам остается только предполагать, что семантика погребального обряда требовала символического представления повозки, уносящей «души покойных» в иной мир. Однако в наличии были лишь псалии, применявшиеся для верховой езды. При этом пара изделий № 1 и 2 могла быть изготовлена специально для совершения обряда по образцу № 3 и использовалась лишь весьма ограниченное время непосредственно перед жертвоприношением.

В пользу того, что желобчатые псалии могли служить для управления как упряжными, так и верховыми лошадьми, свидетельствуют следующие факты. Во-первых, они не встречаются в погребениях вместе с колесницами. Во-вторых, более поздние стержневидные псалии, вероятно, эволюционировали из желобчатых, поскольку последние являются переходны-

ми между щитковыми и стержневидными. В-третьих, желобчатые псалии зачастую происходят из поселенческих комплексов (15 из 23 памятников с такими находками), что предполагает их повседневное использование. Большинство щитковых псалиев обнаружено в курганах (75 памятников из 95) и связано с колесницами. Это предполагает их использование только в особых случаях [Chechushkov, Epimakhov, Bersenev, 2018; Усачук, 2014].

Данное наблюдение хорошо согласуется с идеей о постепенном снижении роли колесницы в течение позднего бронзового века и возрастании значения верховой лошади, управление которой требует не меньшего мастерства, но при этом человек обладает большим набором средств, включая собственный вес, воздействие при помощи рук и ног [Ковалевская, 1977, с. 5–10]. Меньшее количество желобчатых псалиев по сравнению с щитковыми (30 : 192) свидетельствует об исчезновении необходимости в усиленном воздействии на внешние части головы лошади в силу сокращения дистанции между человеком и ртом животного, существенной при запряжке и меньшей при верховой езде [Brownrigg, 2006]. В то же время факт сохранения и развития псалиев говорит о возникновении новых, более сложных задач управления верховой лошадью в сравнение с предшествующими эпохами, когда использовались простые недоуздки [Ковалевская, 2014], а именно – ведение конного боя. Кульминацией процесса стало появление полноценного воина-всадника и формирование номадизма.

Заключение

Принимая во внимания радиоуглеродные даты, данные трасологии и эксперимента, можно заключить, что желобчатые псалии из могильника Новоильиновский II являются одними из самых ранних, применявшихся для управления верховыми, а не упряжными лошадьми. В пользу данной версии говорят следы сработанности на всех трех артефактах и их сравнение с данными эксперимента. Таким образом, исследованные артефакты могут свидетельствовать о зарождении всадничества в Евразийской степи уже в начале II тыс. до н.э. В отличие от Ближнего Востока, где массовое рабочее использование лошади началось сравнительно поздно, а именно на рубеже II–I тыс. до н.э. [Drews, 2004, p. 29–32], в степи прослеживается длительная эволюция взаимоотношений человека и лошади. Именно эти ранние эксперименты в использовании лошади для верховой езды (о которых свидетельствуют псалии) напрямую повлияли на возникновение в начале раннего железного века верховых воинов и новых форм мобильности.

Благодарность

Исследование Э.Р. Усмановой выполнено при поддержке гранта Министерства образования и науки Республики Казахстан, проект № 1853-И-18.

Список литературы

Алихова А.Е. Курганы эпохи бронзы у с. Комаровки // КСИИМК. – 1955. – № 59. – С. 91–99.

Бахшиев И.И., Усачук А.Н., Вербовский А.В. Щитковый псалий с поселения эпохи поздней бронзы Башкирского Приуралья // Вопр. археологии Поволжья. – 2020. – Вып. 8. – С. 128–136.

Берсенев А.Г., Корякова Л.Н., Чечушков И.В., Шарапова С.В. Псалии с поселения Каменный Амбар // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 3. – С. 46–54.

Бочкарев В.С., Кузнецов П.Ф. Культурно-типологические характеристики древнейших дисковидных псалиев Северной Евразии // Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы: мат-лы темат. науч. конф. – СПб.: Скифия-принт, 2013. – С. 61–79.

Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 1988. – 177 с.

Ковалевская В.Б. Конь и всадник: Пути и судьбы. – М.: Наука, 1977. – 150 с.

Ковалевская В.Б. Древнейшие средства управления конем (по материалам конеголовых скипетров V–IV тыс. до н.э.) // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – С. 432–438.

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М.: Вост. лит., 1994. – 463 с.

Кукушкин И.А., Дмитриев Е.А. Колесничный комплекс могильника Табылды (Центральный Казахстан) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 43–52.

Матвеев А.В., Волков Е.Н., Костомарова Ю.В. Материалы новых раскопок Хрипуновского могильника // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь (к 70-летию Т.М. Потемкиной). – Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2007. – С. 108–113.

Новоженов В.А. Колесный транспорт эпохи бронзы Урало-Казахстанских степей // Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. – Караганда: Изд-во Караганд. гос. ун-та, 1989. – С. 110–122.

Смирнов К.Ф. Археологические данные о древних всадниках Поволжско-Уральских степей // СА. – 1961. – Т. 1. – С. 46–72.

Снитковская П.А., Усманова Э.Р. Погребальная практика петровской культуры по материалам могильника Новоильиновский II // Вестн. Перм. ун-та. – 2019. – Т. 44, № 1. – С. 73–86.

Усачук А.Н. Древнейшие псалии (изготовление и использование). – Киев; Донецк: ИА НАН Украины, 2013. – 304 с.

Усачук А.Н. Комаровские псалии // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – С. 439–444.

Усманова Э.Р., Гумирова О.Н., Чечушков И.В. Галоп в вечность // История и археология Семиречья. – 2019. – № 3. – С. 75–84.

Усманова Э.Р., Малов Н.М. Символическая модель кованого наконечника копья из некрополя Новоильиновский // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: мат-лы V Междунар. Нижневолж. археол. конф. – Элиста: Изд-во Калм. гос. ун-та, 2016. – С. 64–67.

Усманова Э.Р., Чечушков И.В., Косинцев П.А., Суслов А.С., Лачкова М.К. Лошадь в духовной культуре и социальном устройстве населения урало-казахстанских степей в эпоху бронзы (по материалам могильника Новоильиновский II) // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии: сб. науч. тр. к 80-летию Геннадия Борисовича Здановича / отв.ред. Д.Г. Зданович. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2018. – С. 198–215.

Чечушков И.В. Оголовье колесничной лошади эпохи бронзы: экспериментальное исследование // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2007. – Вып. 17. – С. 421–428.

Чечушков И.В. Колесничный комплекс эпохи поздней бронзы степной и лесостепной Евразии (от Днепра до Иртыша): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2013. – 24 с.

Шишлина Н.И., Скоробогатов А.М., Кайзер Э., Усачук А.Н. Радиоуглеродное датирование парных образцов из могильника Рождествено: результаты анализа и обсуждение // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 262–272.

Шишлина Н.И., Фернадес Р. Радиоуглеродное датирование парных образцов из захоронений кургана 2 Липецкого могильника // Липецкий курган – памятник элиты доноволжской абашевской культуры. – Липецк; Воронеж: Новый взгляд, 2016. – Прил. 2. – С. 53–54.

Anthony D.W., Vinogradov N.B. Birth of the Chariot // Archaeology. – 1995. – Vol. 2. – P. 36–41.

Bronk Ramsey C. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates // Radiocarbon. – 2009. – Vol. 51, iss. 1. – P. 337–360.

Brownrigg G. Horse Control and the Bit // Horses and Humans: The Evolution of Human-Equine Relationships. – Oxford: Archaeopress, 2006. – P. 165–171.

Chechushkov I.V., Epimakhov A.V., Bersenev A.G. Early Horse Bridle with Cheekpieces as a Marker of Social Change: An Experimental and Statistical Study // Archaeol. Sci. – 2018. – Vol. 97. – P. 125–136.

Drews R. Early Riders: The Beginnings of Mounted Warfare in Asia and Europe. – N.Y.; L.: Routledge, 2004. – 232 p.

Hanks B.K., Epimakhov A.V., Renfrew A.C. Towards a Refined Chronology for the Bronze Age of the Southern Urals, Russia // Antiquity. – 2007. – Vol. 312. – P. 352–367.

Kuznetsov P.F. The Emergence of Bronze Age Chariots in Eastern Europe // Antiquity. – 2006. – Vol. 309. – P. 638–645.

Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Ramsey C.B., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 years cal BP // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 4. – P. 1869–1887.

Материал поступил в редколлегию 10.01.20 г.,
в окончательном варианте – 23.01.20 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.059-068
УДК 903.5

И.С. Гнездилова, А.Л. Нестеркина, Е.А. Соловьева, А.И. Соловьев
Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: gnezdilova06@mail.ru; a.l.subbotina@yandex.ru;
easolovievy@mail.ru

Деревянные конструкции в погребениях эпохи палеометалла на Японских островах и Корейском полуострове

В III в. до н.э. – VII в. н.э. в жизни населения Корейского п-ова и Японских о-вов происходили важные изменения, которые нашли отражение в погребальной обрядности, в частности, появилась и получила распространение практика использования в захоронениях дерева. В работе впервые анализируются обширные археологические источники обоих регионов, фиксирующие феномен применения древесины в подкурганных сооружениях. Рассматриваются локализация и элементы конструкций, состав сопутствующего инвентаря, приводятся определения пород дерева и др. Прослеживается динамика обрядности, которая включает применение древесных форм растительности на территории Японии. В материалах памятников периода яёй (III в. до н.э. – III в. н.э.) в западных районах архипелага, наиболее близко расположенных к материку, отмечен переход от захоронений в ямах, внутри больших глиняных сосудов к погребениям с деревянными конструкциями. Установлен важный момент, отражающий сочетание традиций и инноваций, который проявился в обмазке деревянных внутримогильных конструкций глиной. Изучается эволюция норм использования древесины и на следующем историческом этапе – в период кофун (III–VII вв. н.э.), связанная с распространением в курганных погребениях колод, затем – составных гробов и в дальнейшем – конструкций из камня. Аналогичное исследование проводится на материалах памятников Корейского п-ова. Установлено, что на полуострове становление рассматриваемой традиции произошло раньше, чем на Японских о-вах; пик ее распространения пришелся на период трех государств Силла, Кая и Пэкче (III–VI вв. н.э.). Сравнение проявлений традиции в островной и материковой зонах позволило подтвердить гипотезу об ее материковом происхождении, проникновении на Японские о-ва с волнами мигрантов с континента через Корейский п-ов и постепенной адаптации к местным условиям.

Ключевые слова: *палеометалл, яёй, кофун, погребения, деревянные конструкции, гроб*.

I.S. Gnezdilova, A.L. Nesterkina, E.A. Solovyeva, and A.I. Solovyev
Institute of Archaeology and Ethnography,
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Pr. Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090, Russia
E-mail: gnezdilova06@mail.ru; a.l.subbotina@yandex.ru;
easolovievy@mail.ru

Wooden Constructions in Bronze and Iron Age Burials in Japan and Korea

Throughout the period from 300 BC to 700 AD, significant changes took place in the life of population of Japanese Archipelago and Korean Peninsula, which were reflected by the burial rite. Specifically, the practice of using wood in mounded burials became particularly common. Such numerous instances in both regions are analyzed, the placement and several elements of wooden structures, accompanying artifacts, sorts of wood etc. are described in this work. The changes in burial rite practiced in ancient Japan can be seen. During the Yayoi period (300 BC to 300 AD), jar burials gave way to those with wooden structures in Western Japan regions closest to the mainland. It's established that traditions co-occurred with innovations, as seen from the fact that such structures were coated with clay. Further development took place during the Kofun period (300–538 AD), when first log coffins appeared, then composite coffins, and eventually stone coffins. Similar burial practice existed in Korea earlier than in Japan, the peak of this tradition coinciding with the period of Three Kingdoms (200–600 AD). The comparison of the ways the tradition evolved in both regions suggests that it had originated on the mainland, was introduced to Japan by successive immigration waves, and was then adapted to local conditions.

Keywords: *Bronze Age, Iron Age, Yayoi period, Kofun period, burials, wooden constructions, coffin*.

© Гнездилова И.С., Нестеркина А.Л., Соловьева Е.А., Соловьев А.И., 2020

Введение

Дерево – один из древнейших источников сырья и символов устройства мироздания, вечной жизни и циклов умирания и возрождения, которые обнаруживаются в верованиях традиционных обществ Евразии. В некоторых немногочисленных регионах (преимущественно с невыраженной сезонной цикличностью) представления о дереве существуют не в столь акцентированном и явном виде, а в далеком прошлом, возможно, сосуществовали или даже замещались иной символикой мироздания. Их появление и распространение, прослеживаемое по археологическим материалам, может свидетельствовать об очень тесных контактах между человеческими сообществами. В данной работе речь идет о редком и конкретном обмене идеями в духовной сфере, нечасто фиксируемом на бесписьменном этапе истории Северной и Восточной Азии. Синхронные материалы из географически и культурно близких регионов Японских о-вов и Корейского п-ова дают интересную информацию для размышлений на данную тему. Цель исследования – сравнить традиции применения древесины в погребальной практике древнего населения указанных территорий и выявить общие черты и особенности в использовании деревянных конструкций в погребальных сооружениях, обозначить направления распространения данного явления.

В период *яёй* на территории Японии погребальная практика была довольно разнообразная. Места для захоронений выбирали вдали от поселений и окружали небольшими рвами, над погребениями сооружали земляные насыпи-курганы (*хокэйсюкобо*). Чаще всего людей хоронили в керамических сосудах, реже в ямах, иногда в деревянных сооружениях. Определить конструктивные особенности последних сложно ввиду плохой сохранности древесины, тем не менее с уверенностью можно утверждать, что на среднем – позднем этапах периода *яёй* использовались преимущественно составные деревянные гробы. Деревянные гробы (*мокканбо*) из продольных или поперечных досок имели форму длинного ящика с крышкой. Каменные гробы (*сэкканбо*) собирали в могильной яме из прямоугольных плит либо из больших камней. Они имели форму ящика без дна, верхним перекрытием служили четыре-пять камней. Для периода *яёй* характерны грунтовые погребения с большим камнем или дольменом на поверхности (*сисэкибо*). Встречаются могилы с деревянными погребальными камерами (*моккакубо)*, аналогичные создававшимся в Китае уже в эпоху Инь. Погребения с такими сооружениями имеются и на Корейском п-ове. Появление подобных захоронений в Японии можно объяснить влиянием китайской или корейской культуры.

Погребения с деревянными сооружениями на Японских островах

Деревянные конструкции в погребениях встречаются преимущественно в западной части Японии, включая о-в Кюсю. С учетом специфики таких конструкций эту территорию можно разделить на три зоны.

В районе Кинки (современное название Кансай) места захоронений обычно окружали рвами округлой или квадратной формы. В пределах территории, опоясанной рвом, располагалось несколько могил. Считается, что некоторые из таких ограниченных пространств изначально являлись невысокими курганами, насыпь которых со временем осела [Яёйдзидай-но хака…, 2014, с. 10]. В данном районе обнаружены погребения в сосудах, простых квадратных ямах, могилах под каменными кладками из восьми-девяти камней, а также погребения, оформленные по контуру камнем или деревом, в деревянных гробах [Kaneko, 1966, с. 24]. Предположение о наличии дерева в погребальных сооружениях периода *яёй* впервые было подтверждено в ходе специальных исследований на памятнике Тано в 1965 г. Погребальный комплекс Тано в Амагасаки (юго-восточная часть преф. Хёго) включает 17 погребений под земляными насыпями, в т.ч. с деревянными гробами. Боковые части и дно у них сделаны из длинных досок, перекрытие, которое клали сверху, – из коротких досок (рис. 1, *1*). Таково типичное устройство деревянных гробов периода *яёй*. В пользу предположения о том, что в захоронениях находились гробы, а не просто доски, на которые были положены тела, свидетельствуют характерные отпечатки конструкции на дне могилы. Вероятно, было несколько разновидностей деревянных конструкций для погребения (рис. 1, *2*). Рассматриваемые конструкции выполнены из черной китайской сосны (ногоплодник китайский *Podocarpus chinensis*). Характерный для погребений инвентарь – бронзовый меч, яшмовые бусины, браслеты, имитирующие раковины, – можно считать свидетельством влияния со стороны Северного Кюсю.

На памятнике Токуго в Амагасаки исследованы 22 захоронения, каждое из них было оконтурено рвом квадратного очертания. В нескольких погребениях обнаружены фрагменты, возможно досок, к сожалению, более точно определить находки невозможно ввиду их плохой сохранности, обусловленной длительным пребыванием в кислой среде. Были уточнены сведения о конструктивных особенностях деревянных сооружений. Например, удалось установить, что остатки древесины, обнаруженные на памятнике Асия, представляют японскую зонтичную пихту (*Sciadopitys*), толщина нижней плиты гроба в мог. № 3 составляла ок. 13 см. В ходе изучения памятника Кацубу (преф. Осака) найдены детали деревянной конструк-

Рис. 1. Погребальные сооружения с деревянными конструкциями на Японских о-вах.
1 – гроб-ящик (реконструкция) из Тано; *2* – конструкции гробов в погребениях периода *яёй* [Яёйдзидай-но хака…, 2014, с. 10]; *3* – гробы в погребениях памятника Тамадзу Танака [Там же, с. 14]; *4* – типы гробов периода *кофун*: *а* – в форме рассеченного стебля бамбука (*варитакэгата*), *б* – в форме лодки (*фунэгата*), *в* – в форме ящика (*хакогата*); *5* – погребальная камера в кургане Хокэнояма [Хокэнояма…, 2001, с. 19]; *6* – схема погребения в кургане Хокэнояма [Там же, с. 18]; *7* – деревянная колода в кургане Симоикэяма [Окабаяси, 2006, с. 33].

ции, достаточно хорошо сохранилась ее нижняя часть с выемками [Яёйдзидай-но хака…, 2014, с. 13].

На памятнике Тамадзу Танака (преф. Хёго) были обнаружены и исследованы несколько деревянных конструкций, в т.ч. крупные. Например, в погр. № 40023 находился деревянный гроб хорошей сохранности длиной 167 см, шириной 52 см. Костные останки принадлежали женщине 35–45 лет ростом примерно 150 см. Деревянный гроб из погр. № 40024 в длину достигал 172 см, в ширину 57 см, доски изготовлены из японской зонтичной пихты (рис. 1, *3*). На памятнике Асия в захоронении № 2, которое опоясывал ров квадратного очертания, обнаружено 13 могил. В мог. № 1 в деревянном гробу длиной 164 см из японского кипариса хиноки (*Chamaecyparis obtūsa*) был погребен мужчина ок. 40 лет.

Наиболее известными погребальными памятниками в районе Санъин (современное название Тюгоку) являются комплексы Нисидани и Сатадани. Комплекс Сатадани относится к началу позднего *яёй*. Могилы находятся под земляными насыпями, на которых установлены большие одиночные круглые камни или группы камней. Умершие были помещены в деревянные гробы. Стены могил оформлены деревом. Курган № 3 комплекса Нисидани – один из крупнейших в районе Санъин – относится к началу периода *яей*. Диаметр его насыпи с запада на восток 40 м, с севера на юг – 30, высота 4 м. В центральном погребении кургана находились деревянные погребальная камера и гроб, а также 200 фрагментов керамики местного производства и привезенной с территории современных преф. Киото и Фукуи, что свидетельствует о достаточно развитом обмене между территориями.

Курган Татэцуки (преф. Окаяма) относится к концу позднего этапа периода *яёй*. Его насыпь округлой формы, длиной 80 м, шириной 43, высотой 4,5 м. На вершине выстроены в одну линию вертикально установленные камни. В центре кургана – могильная яма, деревянные камера и гроб. В погребении найдены красные лаковые церемониальные сосуды [Там же, с. 62–65].

Памятник Хяккенгава-Савадэ (преф. Окаяма) расположен на берегу реки и включает поселение, могильник и ритуальные объекты. Умерших хоронили в каменных или деревянных ящиках под дольменами. Вероятнее всего, эта традиция была принесена с территории Корейского п-ова [Mizoguchi, 2013, p. 59]. Дольмены сооружались на могильниках до середины периода *яёй*.

Особого внимания заслуживают памятники на о-ве Кюсю. Погребальный комплекс Эцудзи (преф. Фукуока) ограничен рвами, погребения сгруппированы в двух зонах. При раскопках в восточной зоне найдены 13 составных деревянных гробов, 1 погребение в яме и 2 погребения в керамических сосудах. Могилы расположены рядами. В комплексе с погребениями имеются «зернохранилища», хозяйственные постройки свайного типа, а также дольмены [Ibid., p. 62].

На могильнике Синмачи (преф. Фукуока) захоронения четко делятся на группы – северную и южную. В северной могилы расположены произвольно, в них имеются деревянные гробы и сосуды, наверху установлены дольмены. Могилы южной группы образуют ряды, некоторые захоронения очень близко примыкают друг к другу, что может свидетельствовать о родственных связях погребенных [Ibid., p. 96].

На памятнике Симо-Цукигума Тэндзинномори (преф. Фукуока) могилы расположены рядами. Могильные ямы квадратные. Умерших хоронили чаще всего в составных деревянных гробах. Зафиксированы также погребения в урнах. С переходом к этой новой погребальной традиции можно связывать захоронения, в которых урны размещены на перекрытии гробов.

Памятник Ёситакэ-такаги (преф. Фукуока) выделяется тем, что на нем погребения в деревянных гробах и кувшинах располагаются попарно в рядах. Погребение № 3, в котором находился составной деревянный гроб, считается самым богатым. В нем обнаружены 2 кинжала, наконечник, клевец, украшение *магатама,* зеркало и 95 яшмовых бусин. Скелет не сохранился [Ёситакэ-такаги, 1986, с. 22].

Изучение информации о деревянных конструкциях в погребениях периода *яёй* позволяет сделать вывод о том, что для района Кинки (Кансай) характерны сооружение деревянных гробов из досок и наличие в захоронениях красного пигмента. На стенах некоторых могильных ям имеется деревянная отделка. В качестве сырья чаще всего использовали зонтичную пихту, ногоплодник китайский, кипарисовик японский. Взрослых хоронили чаще всего в деревянных гробах, детей и младенцев – в сосудах и иногда в деревянных гробах. В районе Санъин (Тюгоку) над могилами с деревянными гробами делали земляные насыпи квадратной формы, место погребения часто обозначали крупными камнями. В погребениях оставляли богатый инвентарь, в качестве красного пигмента использовали киноварь. На Кюсю могилы расположены рядами. В них вместе с деревянным гробом часто помещали сосуд, на поверхности сооружали дольмен. Погребения совершались как в деревянных гробах (преимущественно взрослых), так и в керамических сосудах и просто в земле (преимущественно дети). На всей территории встречаются захоронения в деревянных гробах и каменных гробах-ящиках, по конструкции аналогичных деревянным гробам. К концу периода *яёй* деревянные конструкции вытесняются керамическими урнами.

В погребениях периода *кофун* также встречаются деревянные сооружения. Вначале гробы изготавлива-

лись из цельного ствола дерева (колоды). Позднее возобладала традиция хоронить в деревянных гробах, обмазанных глиной (в курганах без каменной камеры), а также деревянных составных и каменных гробах, напоминавших по форме лодку, рассеченный стебель бамбука или домик. В конце периода *кофун* появились деревянные гробы, покрытые лаком, а также гробы из склеенных при помощи лака полотен ткани.

Деревянные гробы в виде колоды встречаются в больших курганах раннего периода *кофун*. Начиная со среднего этапа периода *кофун* под большими курганами хоронили в сделанных из деревянных досок саркофагах, имеющих форму ящика. Позже на смену деревянным гробам пришли каменные саркофаги по форме такие же, как деревянные.

Деревянная колода в форме рассеченного стебля бамбука (*варитакэгата*) (рис. 1, *4*, *а*) изготавливалась путем распиливания круглого цельного ствола дерева и выдалбливания внутренней части. Колоды делали из стволов японской зонтичной пихты. Они встречаются в курганах начального этапа периода *кофун*. Деревянная колода в виде лодки (*фунэгата*) (рис. 1, *4*, *б*) по форме близка к колоде предыдущего типа, но отличается наличием выступов в торцах. Ввиду не очень хорошей сохранности достаточно сложно восстановить ее изначальный облик. Такие колоды также часто фиксируются в курганах начального этапа периода *кофун*. Деревянные гробы в форме ящика (*хакогата*) (рис. 1, *4*, *в*) сооружали из досок. В них хоронили с середины периода *кофун*. Подобные конструкции наиболее часто встречаются в погребениях на могильниках для рядовых членов общества.

Наиболее ранняя деревянная колода периода *кофун* обнаружена в погребальной камере кургана Хокэнояма (преф. Нара), датируемого началом – серединой III в. н.э. [Хокэнояма…, 2001, с. 47]. Курган сооружен из двух примыкающих друг к другу насыпей – круглой и трапециевидной. Общая длина кургана ок. 80 м. Под круглой насыпью находились два разновременных погребения. Более раннее представлено погребальной камерой (рис. 1, *5*), в которой была обнаружена деревянная колода. Длина колоды из японской зонтичной пихты примерно 5,3 м, ширина в самой широкой части 1,3 м. Конструкцию погребальной камеры кургана Хокэнояма можно считать переходной формой к классическому устройству камер раннего этапа периода *кофун*. Колода находилась на каменном основании внутри деревянного ограждения из досок, прикрепленных к столбам. Снаружи деревянная конструкция была полностью заложена камнями (рис. 1, *6*). Длина деревянного ограждения примерно 5,5 м, ширина 2,6, предположительная изначальная высота камеры 1,5 м [Окабаяси, 2006, с. 27]. Отметим, что типичные деревянные колоды раннего этапа периода *кофун* достигали в длину, как правило, 5–6 м. В более позднее время деревянное ограждение в погребениях не создавалось, колода устанавливалась на галечное или глиняное основание, вокруг колоды из камней или каменных плит сооружалась погребальная камера.

Курган Симоикэяма является примером классического устройства погребальной камеры раннего этапа периода *кофун*. Он имеет две примыкающие друг к другу насыпи: одна в основании квадратной формы, другая – трапециевидной. Общая длина кургана 120 м, длина квадратной насыпи, под которой находилось погребение, 60, ширина 57 м; длина трапециевидной насыпи 57, ширина 27 м. В центральной части квадратной насыпи обнаружена погребальная камера длиной 6,8 м, шириной 1,3, высотой 1,8 м. Хотя курган неоднократно подвергался грабительским раскопкам, внутри камеры сохранилась деревянная колода, изготовленная из японской зонтичной пихты. Пол камеры полностью покрыт мелким гравием, в центральной части сделано небольшое возвышение высотой примерно 30 см и шириной примерно 1 м [Там же, с. 29]. Погребальный инвентарь представлен украшениями *магатама* и *кудатама*, стеклянными бусинами, железным мечом, наконечником железного копья, наконечниками стрел. Кроме того, в погребальной камере находилось бронзовое зеркало, ориентированное оборотной стороной вверх [Ямато-но кокогаку…, 2002, с. 163]. Деревянная колода сохранилась плохо, вероятно, изначально ее длина составляла ок. 6 м. Углубление было выдолблено в центральной части, его длина составляла 3 м, глубина 0,2 м, т.е. пространство для погребенного было небольшим (рис. 1, *7*).

В районе Кансай в кургане Куроцука (преф. Нара) обнаружена деревянная колода, по конструкции, вероятно, близкая к колоде из кургана Симоикэяма. Длина находки примерно 6,2 м, диаметр в самой широкой части 1 м. Длина выдолбленной в центральной части выемки для тела умершего 2,8 м [Каваками и др., 1999, с. 99].

В кургане Яматотэндзинъяма (преф. Нара) внутри погребальной камеры сохранилась часть деревянной колоды длиной примерно 2,7 м. Изначально это была деревянная колода в форме рассеченного стебля бамбука длиной 5 м, диаметром примерно 0,7–0,9 м. В выемке сохранились деревянные перегородки, разделявшие ее на три части; в центральной части находились останки человека [Окабаяси, 2006, с. 29]. Таким образом, для начального этапа периода *кофун* характерны колоды с углублением в центральной части для размещения тела умершего и сопроводительного инвентаря (например, курганы Симоикэяма, Куроцука). Встречаются также колоды с выемкой, разделенной перегородками на три части. В центральном, самом большом отделении находится костяк умершего, в двух других – сопроводительный инвентарь (курган Яматотэндзинъяма).

Обнаруженные в курганах Симоикэяма и Тэндзинъяма колоды сделаны из японской зонтичной пихты. Для этого были выбраны гигантские деревья возрастом 400–500 лет. Деревянные гробы из зонтичной пихты встречаются и в погребениях позднего этапа периода *яёй*. В период *кофун* зонтичная пихта широко использовалась для создания погребальных конструкций в районе Кансай (центральная часть о-ва Хонсю). В редких случаях ее заменяли криптомерией японской (*Cryptomeria japonica*), кипарисовиком горохоплодным (*Chamaecyparis pisifera*), камфорным деревом (*Cinnamomum camphora*), дзельквой японской (*Zelkova serrata*), японским каштаном (*Castanea crenata*). Примечательно, что обнаруженная в кургане Куроцука деревянная колода сделана из шелковицы (*Morus*) [Там же, с. 30], что является редкостью в погребениях периода *кофун*.

Почему для погребения использовались колоды больших размеров – неясно. У японских ученых имеется несколько предположений. По мнению одних специалистов, крупные колоды выбирали, чтобы разместить многочисленный погребальный инвентарь. С точки зрения других, свободное пространство внутри такой колоды было необходимо для проведения ритуала передачи духа вождя, во время которого внутри колоды вместе с умершим на определенное время закрывали претендента на место нового вождя [Там же]. Однако эти объяснения не учитывают того, что углубления в колодах, хотя были крупные, но не позволяли вместить весь сопроводительный инвентарь. Трехчастные колоды (курган Тэндзинъяма) невозможно было использовать для проведения ритуала, потому что в них нельзя было разместить еще одного человека. Таким образом, пока у специалистов нет убедительных объяснений этому явлению. Возможно, первые колоды, представленные в погребениях начального этапа периода *кофун*, – это лодки, которые использовались в реальной жизни, либо специально сделанные для захоронения модели таких лодок, по форме и размерам повторявшие реальные предметы.

Гробы в форме ящиков, изготовленные из досок, найдены на территории могильников, на которых хоронили рядовых членов коллектива. Так, в группе курганов Миянотани (преф. Хёго), датируемой первой половиной периода *кофун*, в большинстве исследованных погребений были обнаружены деревянные гробы-ящики, в двух погребениях – каменные гробы-ящики [Тэраяма…, 2010, с. 20]. Размеры деревянных гробов варьируют от 0,95 до 1,9 м в длину и от 0,4 до 0,85 м в ширину. Погребальный инвентарь включает керамику *хадзики*, железные ножи, мечи, орудия труда – серп, топор, а также железные накладки, которыми укреплялась рабочая поверхность деревянных лопат и мотыг.

Деревянные гробы в форме ящика (*хакогата*) встречаются и в больших курганах, хотя в сооружениях среднего и позднего этапов периода *кофун* чаще находят саркофаги из камня. В кургане Иноути-инаридзука (преф. Киото) позднего этапа периода *кофун* (первая половина VI в.) в склепе, расположенном под насыпью, был обнаружен составной деревянный гроб-ящик. Деревянный гроб (длина 1,7–1,8 м, ширина 0,4–0,5 м, толщина доски примерно 1–2 см) находился непосредственно при входе в погребальную камеру [Иноути-инаридзука…, 1997, с. 12]. В гробу не было погребального инвентаря, в «коридоре» рядом со входом в камеру, у стены, обнаружены железные мечи, в самой камере – железные наконечники стрел, керамические сосуды и обломки керамики, украшения *кудатама*, серьги, фрагменты снаряжения лошади.

На Японском архипелаге погребения в деревянных колодах обычно встречаются в «элитных» больших курганах с двумя насыпями, относящихся к раннему этапу периода *кофун*. Это курганы с погребальной камерой. Деревянные гробы в форме ящика в курганах с круглой и трапециевидной насыпями фиксируются нечасто, поскольку начиная со среднего этапа периода *кофун* люди стали активно использовать каменные саркофаги.

Погребения с деревянными сооружениями на Корейском полуострове

Наиболее ранние погребения с деревянными конструкциями (Кведжондон, Намсори, Тонсори, Хапсонни, Чхонсонни, Хоамдон, Тэгонни, Чхопхори) находятся в юго-западной части Корейского п-ова. Их относят к раннему железному веку (IV–II вв. до н.э.). Деревянные конструкции представлены древесным тленом, однако, судя по очертаниям находок, это были гробы, которые помещали в глубокие грунтовые ямы. Многочисленные камни, обнаруженные в заполнении ям, вероятно, относились к каменной или каменно-земляной насыпи [Хангукса…, 1997, с. 78–88].

Составить представление о деревянных конструкциях в подобных погребениях позволяют материалы памятника Тахори в у. Ыйчхан пров. Кёнсан-намдо. Памятник был открыт и частично исследован в 1988 г. Уже на первом этапе работ стало ясно, что объект представляет собой могильник, состоящий преимущественно из погребений в грунтовых ямах с деревянными гробами [Ли Гонму и др., 1989, с. 8, 13].

Деревянные конструкции хорошо сохранились только в погр. № 1. Это захоронение в подпрямоугольной грунтовой яме размерами 2,78 × 1,36 м, глубиной 2,05 м. Погребенный был уложен головой, вероятно, на юго-восток. Такое предположение можно сделать с учетом большей ширины гроба в юго-восточной части, а также стеклянных бусин, связанных с головным убором или верхней частью одежды погребенного [Там же, с. 14].

Обнаруженный в захоронении деревянный гроб представляет собой колоду – расколотое по продольной линии бревно диаметром ок. 1 м с выдолбленной сердцевиной. Его длина 2,4 м, ширина 0,85 м (рис. 2, *1*, *а*, *б*). Нижняя часть такого бревна является гробом, верхняя – его крышкой. В одном торце (в изголовье) гроба имеется четыре симметрично расположенных желобка. В противоположном торце в гробу и его крышке сделаны четыре сквозных отверстия подквадратной формы (рис. 2, *1*, *в*, *г*). С учетом сохранившихся в пропилах фрагментов веревки можно предположить, что она пропускалась через отверстия для обвязывания гроба с целью его перемещения в могильную яму. В крышке и днище колоды также имеются сквозные отверстия подквадратной формы, расположенные друг над другом. В них вставлялись клинья, с помощью которых гроб и его крышка надежно фиксировались в могильной яме, не давая колоде завалиться на бок. Установлено, что гроб изготовлен из дуба (*Quércus*) возрастом ок. 350 лет [Там же; 2008 тхыкпхёльджон…, 2008, с. 108–124].

Погребальный инвентарь находился внутри колоды и за ее пределами, в различных частях заполнения могильной ямы (рис. 2, *2*). Уникальной находкой является своеобразный ящик размерами 65 × 55 × × 12 см, относящийся к погребальному инвентарю. Он лежал в средней части захоронения в специальной ямке. Комплекс инвентаря из ящика составляют два бронзовых кинжала в деревянных ножнах, железный кинжал в деревянных ножнах, железный нож с кольчатым навершием в деревянных ножнах, бронзовый наконечник копья, четыре железных наконечника копий, шесть железных тесел, два серпа с деревянной рукоятью, бронзовое зеркало с т.н. небулярным* орнаментом, круглая бронзовая бляшка с геометрическим декором и отверстием в центре, четыре бронзовых кольца, три ханьские монеты *ушу*, бронзовый колокольчик, пять кистей для росписи лаковых изделий.

Внутри колоды находились обломки керамической посуды без орнамента и деревянного столика или шкатулки, железное тесло, стеклянные бусины. В заполнении могильной ямы обнаружены железные тесла, долотовидный инструмент, кельт, мотыги с деревянными рукоятями, лаковые изделия (ручка веера, ножны, цилиндрическая шкатулка с крышкой, крышки для сосудов, кубки на поддоне *доу*), обломки керамической посуды, деревянные накладки на лук и фрагменты корзины и веревки [Ли Гонму и др., 1989, с. 15–27; Син Ёнмин, 2009, с. 169].

Погребение № 1 отличается от остальных захоронений могильника богатством и разнообразием инвентаря, включающего не только местные, но и импортные предметы (зеркало с небулярным орнаментом, монеты *ушу*), что свидетельствует об элитном статусе погребенного. Дата погр. № 1 и самого памятника Тахори определена по ханьским монетам *ушу* I в. до н.э. – I в. н.э. [Ли Гонму и др., 1989, с. 15–27, 53].

Наличие в погребениях большого количества орудий труда из железа позволяет сделать вывод о широком использовании этого металла в рассматриваемый период. Оно даже экспортировалось на сопредельные территории. В приведенном в «Саньгочжи» «Описании Пхёнджина» о корейских племенах *пёнхан* и *чинхан*, к культуре которых относится могильник Тахори, говорится следующее: «Страна вывозит железо, которое приобретают здесь [Ма]хан, Е и Во (Япония). Подобно тому, как в Серединном государстве употребляют монеты, здесь на рынке имеет хождение железо. Железо также поставляют в два округа (Дайфан и Лолан)» (цит. по: [Пак, 2001, с. 32]). Свидетельством связей населения полуострова и островов Японского архипелага является керамический сосуд периода *яёй*. Он был извлечен из культурного слоя, выявленного за пределами зоны локализации погребальных конструкций, но изначально, скорее всего, находился в одном из захоронений. Изделие относится к позднему варианту типа Сугу II [Иноуэ, 2009, с. 225–226, 232, 240–241].

Таким образом, материалы погр. № 1 могильника Тахори дают уникальную информацию о самых ранних деревянных конструкциях в захоронениях на территории Кореи. Уже в I в. до н.э. угасает характерная для бронзового века традиция хоронить в каменных гробах и погребальных камерах мегалитических сооружений. На смену им приходят искусно выполненные деревянные гробы-колоды. Согласно материалам других памятников, захоронения в деревянных гробах-колодах представляли собой курганы с каменной или каменно-земляной насыпью.

Традиция сооружения деревянных гробов получила широкое распространение и развитие на Корейском п-ове в период *трех государств* (III–VI вв.), у населения царств Силла, Кая и Пэкче. Для культуры раннего Силла типичны погребения в виде курганов с каменно-земляной насыпью, деревянной камерой и гробом. В большинстве случаев захоронение совершалось на древней дневной поверхности, предварительно покрытой несколькими слоями галечника. На ней устанавливали дощатый деревянный гроб с телом умершего и ящик для погребального инвентаря. Вокруг гроба и ящика из досок строили усыпальницу, над ней сооружали каменную насыпь, которую, в свою очередь, покрывали землей [Ким Гиун, 1991,

*Небулярный орнамент (англ. Nebular design, яп. 星雲紋 сэйсунмон, дословно «звёзды и облака», кор. 성운문 сонунмун) – вид орнамента на бронзовых зеркалах Восточной Азии. Символика орнамента связана с космогоническими представлениями носителей древних культур, передает детали строения небесного свода.

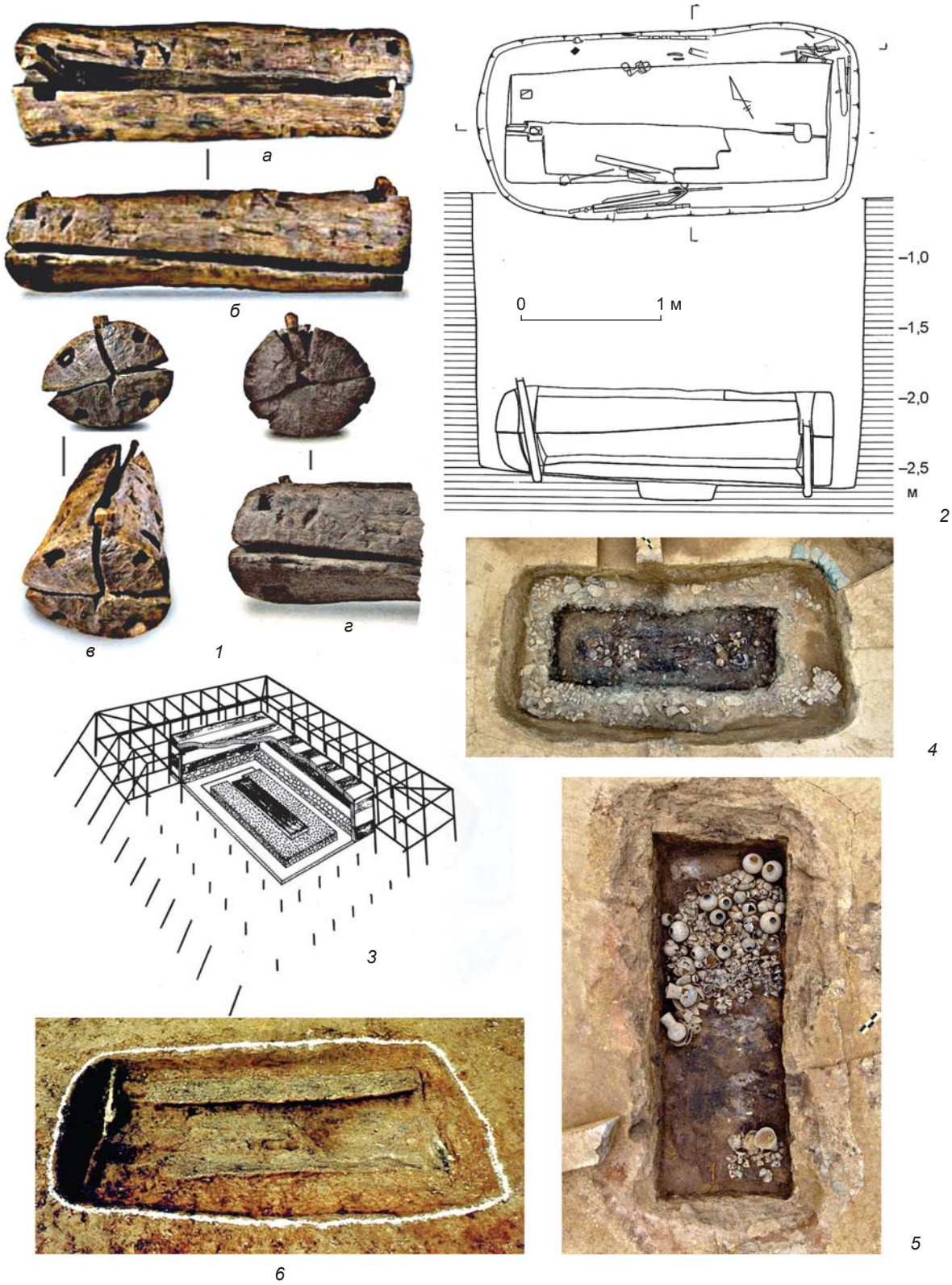

Рис. 2. Погребальные сооружения с деревянными конструкциями на Корейском п-ове.
1 – деревянная колода кургана Тахори № 1: *а* – вид сверху, *б* – сбоку, *в*, *г* – с торцов [2008 тхыкпхёльджон…, 2008, с. 118–123]; *2* – схема погребения с колодой Тахори № 1 [Ли Гонму и др., 1989, с. 133]; *3* – погребение с деревянной камерой в кургане Хваннам дэчхон [Хваннам дэчхон I…, 1985, рис. 5]; *4*, *5* – погребения с деревянными гробами № 1/1 и 1/2 в кургане Тэри-ри А-2 [Квон Хеин и др., 2012, с. 5]; *6* – погребение с деревянным гробом в кургане Сокчхондон [Ким Гиун, 1991, с. 33].

с. 63–64]. Такая конструкция характерна для курганов Хваннам дэчхон (Хваннамдон № 98) (рис. 2, *3*) и Чхонмачхон («Гробница небесной лошади»), расположенных в центре царства Силла – г. Кёнджу [Хваннам дэчхон I…, 1985, с. 40–45, 173–174, 383; Хваннам дэчхон II… (топхан томё), 1993, с. 390; Хваннам дэчхон II… (понмунпхён), 1994, с. 32–36, 221–225; Чхонмачхон, 1974, с. 58–62].

Один из распространенных типов погребений в царстве Кая – курганы с земляной насыпью. Умерших хоронили в дощатых деревянных гробах, которые помещали в неглубокие подпрямоугольные грунтовые ямы. Пространство между стенками ямы и гроба заполняли камнем. Над могильной ямой сооружалась земляная насыпь [Ким Гиун, 1991, с. 74–75]. В кург. № А-2 Тэрири в у. Ыйсон пров. Кёнсан-пукто обнаружено пять захоронений в гробах-ящиках, сделанных из досок. Деревянные ящики (№ 1/1, 1/2, 3 и 4) помещены в относительно неглубокие грунтовые ямы, а пространство между стенками гроба и могильной ямы заполнено землей. Деревянный ящик № 2 был установлен на древней дневной поверхности и сверху засыпан породными обломками. Деревянный ящик № 1/1 двойной, пространство между внешней и внутренней стенками гроба заполнено обломками камня. Ширина досок гробов-ящиков на этом памятнике составляет 0,5–0,7 м [Квон Хеин и др., 2012, с. 64–161] (рис. 2, *4, 5*).

В кург. № 2 с каменной насыпью ступенчатой формы на могильнике Сокчхондон, который относится к культуре раннего Пэкче (конец III – начало IV в.), обнаружено погребение с деревянным гробом. Оно находилось на периферии курганной насыпи. Захоронение совершено в грунтовой яме подпрямоугольной в плане формы, размерами 2,26 × 1,04 м и глубиной 0,3 м. В яму помещен деревянный гроб размерами 1,81 × 0,6 × 0,2 м, сделанный из шести досок (рис. 2, *6*). На полу погребения, в его северной части обнаружен керамический сосуд, в средней части – железный нож [Ким Гиун, 1991, с. 32–34; Сокчхондон…, 1987, с. 48–52].

В эпоху палеометалла на Корейском п-ове практика использования деревянных конструкций в погребениях имела достаточно широкое распространение и существовала длительное время. В гробнице правителя среднего Пэкче короля Мурёна и его жены (V–VI вв.) найдены дощатые деревянные гробы, изготовленные из японской зонтичной пихты, ареал которой находится на территории Западной Японии. Считается, что эти гробы были изготовлены и привезены из Японии [Пак Санджин, 2013].

Заключение

На Японских о-вах, преимущественно в западной части, на памятниках эпохи палеометалла наряду с погребениями других видов встречаются комплексы с деревянными гробами или просто с досками. В более позднее время использовались как гробы-ящики, так и деревянные колоды, в которых хоронили людей высокого социального статуса. На Корейском п-ове деревянные сооружения в погребениях появились несколько раньше, чем на территории Японии. На самых ранних этапах их помещали в богатые захоронения. В конце периода палеометалла жители полуострова привозили деревянные гробы с территории Японии, что свидетельствует о постоянных контактах древнейшего населения региона. Исследование позволило сделать предположение о связи между появлением деревянных конструкций в погребениях на Японских о-вах и миграцией на архипелаг населения Корейского п-ова. Жители полуострова принесли свою мифологию, некоторые сюжеты которой, возможно, проникали в традиционные представления жителей древней Японии. Можно предположить, что в этих верованиях получили отражение представления о Мировом дереве и древесной растительности как символе круговорота жизни. Вероятно, совершались магические акты, посвященные возвращению умершего человека к жизнетворным, возрождающим силам дерева; один из них был связан с внедрением тела покойного в ствол, с которым ассоциировалась колода или гроб. Однако на территории Японии использование деревянных конструкций в погребениях не стало повсеместной и преобладающей практикой, что не следует объяснять дефицитом леса (известно, что в периоды *яёй* и *кофун* из дерева строились здания хозяйственного и культового назначения, требовавшие большого количества длинных и крупных бревен). Скорее всего, это является отражением устойчивых представлений населения Японских о-вов о мироздании, связанных с символикой природных объектов, например, камня и глины, которые выступали осязаемыми манифестациями вечности.

Древесина, возможно, экспортировалась с Японских о-вов на Корейский п-ов. Свидетельством этого является гроб из захоронения короля Мурёна. Однако выбор для его изготовления дерева, произрастающего на Японских о-вах, можно объяснить и тем, что, согласно летописям, король был уроженцем о-ва Хонсю. Любопытно, что деревянные конструкции в погребениях могли использоваться неоднократно. Например, в квадратно-круглом кургане Хадзаикэ (преф. Эхимэ, о-в Сикоку), который относится к среднему этапу периода *кофун*, в погребальной камере № 1 горизонтального типа были захоронены три человека. Исследования показали, что изначально тело умершего в возрасте примерно 30 лет поместили в деревянный составной гроб. Через 10 лет останки вынули и положили рядом с гробом, в который поместили тело второго человека в возрасте примерно 40–50 лет. Еще примерно через 10 лет с деревянного гроба сняли крышку и положили на нее

третьего усопшего в возрасте ок. 40 лет [Кофундзидай-но осоусики…, 2014, с. 14]. Возможно, умершие, похороненные в разные годы в одной погребальной камере, были родственниками. Считалось, что размещение их в одной деревянной конструкции или на ее части обеспечивало возможность усопшим двигаться по одному маршруту к конечной точке заупокойного странствия, а значит, встретиться.

Изучение данных об использовании древесины для погребальных конструкций в древней Японии на протяжении длительного времени (III в. до н.э. – VI в. н.э.) позволяет сделать вывод о постепенном проникновении этой традиции на архипелаг с Корейского п-ова и ее адаптации к местным условиям.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-09-00507).

Список литературы

Ёситакэ-такаги. Яёйдзидай маисоисэки-но тёсагайё (Краткий отчет об исследовании погребальных памятников периода *яёй*). – Фукуока: Нисинихонсимбун инсацу, 1986. – 24 с. (на яп. яз.).

Иноути-инаридзука кофун II (Курган Иноути-инаридзука II). – Нагаокакё: Комитет по делам просвещения г. Нагаокакё, 1997. – 22 с. (на яп. яз.).

Иноуэ Ч. Японские предметы на памятнике Тахори // Когохак джи тхыгджипхо (Сборник статей по археологии). – Сеул: Национальный музей Республики Корея, 2009. – Спец. вып. – С. 224–245 (на кор. и яп. яз.).

Каваками К., Идзуми Т., Мияхара С., Урабэ Ю., Окабаяси К., Нагура С. Раскопки кофуна Куроцука // J. of the Japanese Archaeol. Association. – 1999. – Vol. 6, N 7. – P. 65–104 (на яп. яз.).

Квон Хеин, Лю Джэгык, Ку Ынджин, Чан Хёнок, Лим Минджон. Ыйсон Тэрири 2-хо пун I – А понтхо (Курган № 2 на памятнике Тэрири в уезде Ыйсон, насыпь А). – Йончхон: Ин-т культурного наследия пров. Кёнсан-пукто, 2012. – 236 с. (на кор. яз.).

Ким Гиун. Кобун (Курганы). – Сеул: Тэвонса, 1991. – 120 с. (на кор. яз.).

Кофундзидай-но осоусики. Митохо-но кофун-кара. Хэйсэй26нэн дотокубэцутэн (Наследие периода *кофун*. Из неразграбленных курганов. Специальная выставка 2014 г.). – Мацуяма: Археологический музей г. Мацуяма, 2014. – 15 с. (на яп. яз.).

Ли Гонму, Ли Ёнхун, Юн Гванджин, Син Дэгон. Предварительный отчет об археологических раскопках памятника Тахори в уезде Чханвон // Когохак джи (Сборник статей по археологии). – 1989. – № 1. – С. 5–174 (на кор. яз.).

Окабаяси К. Колода и саркофаг // Ямато-но кофун (Курганы Ямато II). – Киото: Дзимбунсёин, 2006. – С. 25–34 (на яп. яз.).

Пак М.Н. Описание корейских племен начала нашей эры (по «Сань-го чжи») // Российское корееведение. – М.: Международ. центр корееведения при Моск. гос. ун-те: Муравей, 2001. – С. 17–39. – (Альманах Междунар. центра корееведения при Моск. гос. ун-те; вып. 2).

Пак Санджин. Пэкчейский король Мурён, чей деревянный гроб был изготовлен из японской пихты // Premium Chosun. – 2013. – 5 Dec. – URL: http://premium.chosun.com/site/data/html_dir/2013/12/04/2013120402697.html (на кор. яз.) (дата обращения 18.07.2019).

Син Ёнмин. Погребальный обряд захоронений, синхронных погребениям с деревянным гробом в могильнике Тахори // Когохак джи тхыгджипхо (Сборник статей по археологии. Специальный выпуск). – Сеул: Нац. музей Республики Корея, 2009. – С. 141–172 (на кор. яз.).

Сокчхондон кобунгун пальгуль чоса пого (Отчет об археологических раскопках курганного могильника Сокчхондон). – Сеул: Музей Сеул. нац. ун-та, 1987. – 165 с. (на кор. яз.).

2008 тхыкпхёльджон «Кальдэпат сок-ый нара Тахори – кы пальгуль-гва кирок» (Каталог тематической выставки 2008 г. «Страна тростниковых полей Тахори – археологические раскопки и исследования»). – Сеул: Нац. музей Республики Корея, 2008. – 209 с. (на кор. яз.).

Тэраяма кофунгун, Миянотани кофунгун, Сувадзёато. Хаккуцу тёса хококусё **(**Группа курганов Тэраяма, группа курганов Миянотани, поселение Сува. Отчет о проведении археологических исследований). – Кобэ: Хёго-кэн кёикуиинкай, 2010. – 217 с. (на яп. яз.).

Хангукса – чхондонги мунхва-ва чхольги мунхва (История Кореи: культура бронзы и железа). – Сеул: Кукса пхёнчхан вивонхве, 1997. – Т. 3. – 584 с. (на кор. яз.).

Хваннам дэчхон I (пугбун) пальгуль чоса погосо (Отчет о раскопках кургана Хваннам дэчхон (северная гробница) I). – Сеул: Нац. ин-т культурного наследия Республики Корея, 1985. – 442 с. (на кор. яз.).

Хваннам дэчхон II (намбун) пальгуль чоса погосо (топхан, томён) (Отчет о раскопках кургана Хваннам дэчхон (южная гробница) II: таблицы, иллюстрации). – Сеул: Нац. ин-т культурного наследия Республики Корея, 1993. – 598 с. (на кор. яз.).

Хваннам дэчхон II (намбун) пальгуль чоса погосо (понмунпхён) (Отчет о раскопках кургана Хваннам дэчхон (южная гробница) II: текст). – Сеул: Нац. ин-т культурного наследия Республики Корея, 1994. – 398 с. (на кор. яз.).

Хокэнояма кофун. Тёса гайхо (Курган Хокэнояма: Итоги исследования). – Токио: Гакусэйся, 2001. – 60 с. (на яп. яз.).

Чхонмачхон пальгуль чоса погосо (Отчет об археологических раскопках кургана Чхонмачхон). – Сеул: Управление по культурному наследию, 1974. – 469 с. (на кор. яз.).

Яёйдзидай-но хака. Сися-но сэкай (Погребения эпохи яёй. Мир умерших). – Касихара: Рицукасихарако (Музей Ин-та археологии г. Касихара), 2014. – 88 с.

Ямато-но кокогаку хякунэн (100 лет археологии Ямато). – Касихара: Археологический научно-исследовательский институт г. Касихара, преф. Нара, 2002. – 245 с. (на яп. яз.).

Kaneko E. Japan: A review of Yayoi period burial practices // Asian Perspectives. – 1966. – Vol. 9. – P.1–26.

Mizoguchi Koji. Archaeology of Japan: From the Earliest Rice Farming Villages to the Rise of the State. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. – 393 p.

Материал поступил в редколлегию 01.11.19 г.,
в окончательном варианте – 20.11.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.069-079
УДК 904

А.А. Малышев[1], В.С. Батченко[2]
[1]Институт археологии РАН
ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия
E-mail: maa64@mail.ru
[2]Институт российской истории РАН
ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия
E-mail: vik-batchenko@yandex.ru

Фронтир на юго-востоке Синдики: по материалам Раевского городища

Территориальные расширения (внутрибоспорская колонизация) владений Боспорского государства были обусловлены потребностью в товарном зерне на рынках греческих средиземноморских центров. Особенно значительно доходы правителей Боспора возросли после присоединения Синдики – одной из самых хлебородных областей Северного Причерноморья, расположенной в низовьях р. Кубань. В статье рассматривается история развития обширной хоры (хозяйственной округи) античной Горгиппии на юго-восточной окраине Синдики на материалах укрепленного боспорского форта – Раевского городища. Проведено исследование эволюции антропогенного ландшафта поселения на протяжении четырех столетий (эллинистического и раннеримского времени). В основе хронологии – нумизматическая коллекция боспорских монет с городища. Проанализированы факторы, благодаря которым культурные слои поселения охватывают широкий диапазон от эпохи ранней бронзы до развитого Средневековья. Представлена версия топографии аборигенного поселения раннего железного века, а также три основных этапа боспорского периода. Особое внимание уделено фортификационной системе городища, которая была создана еще в эллинистическую эпоху. Исследования последних десятилетий показали, что крепостные сооружения были возведены в типичной для Боспора технике сырцово-каменной архитектуры. Боспорское поселение на Раевском городище на протяжении длительного периода развивалось как экономический и политический центр обширной пограничной территории между античной цивилизацией и архаическими сообществами предгорий (своеобразный фронтир древности).

Ключевые слова: *Боспорское государство, контактная зона, фортификация, фронтир, эпоха эллинизма, раннеримское время.*

A.A. Malyshev[1] and V.S. Batchenko[2]
[1]Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences,
Dm. Ulyanova 19, Moscow, 117292, Russia
E-mail: maa64@mail.ru
[2]Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences,
Dm. Ulyanova 19, Moscow, 117292, Russia
E-mail: vik-batchenko@yandex.ru

The Southeastern Sindica Frontier: The Raevskoye Fortified Settlement

The expansion of the Bosporan Kingdom (the interior colonization of Bosporus) was caused by the need for commercial grain at the Greek markets of the Mediterranean. The sharp rise in the Bosporan rulers' incomes followed the annexation of Sindica—one of the most fertile lands of the Northern Pontic region, situated in the Lower Kuban basin. The study discusses the history of the vast chora of the Greek Gorhippia in the southeastern fringes of Sindica, focusing on findings from a Bosporan fort—Raevskoye fortified settlement. We reconstruct the evolution of the anthropogenic landscape of the area over four centuries (Hellenistic and Early Roman period). The chronology is based on a collection of Bosporan coins from the fortified settlement. We analyze the factors due to which the habitation layers of the fortified settlement span a period from the Early Bronze Age to the High Middle Ages. We

© Малышев А.А., Батченко В.С., 2020

provide a new topography of the Early Iron Age aboriginal site and of the fortified site existing during the three Bosporan stages. Special attention is paid to the fortification system, arranged in the Hellenistic period. Studies of the recent decades suggest that the fortifications were constructed in the typical Bosporan technique of adobe and stone architecture. The fortified settlement evolved over a long period as an economic and political center of a large borderland zone between the Greek civilization and the archaic societies of the Caucasian piedmont—a peculiar frontier of the classical era.

Keywords: *Bosporan Kingdom, contact area, fortification, frontier, Hellenistic period, Early Roman period.*

Введение

Боспорское государство, образованное ок. 480 г. до н.э. в результате объединения греческих полисных центров на берегах Боспора Киммерийского (ныне Керченский пролив), обрело экономическую мощь и политическое влияние в античном мире благодаря масштабному экспорту зерна. Расширение владений, в частности в одной из самых хлебородных областей Северного Причерноморья – Синдике (Страбон, *VII*.IV.6), во многом было подчинено задаче увеличения экспортных возможностей. Границы региона, названного по имени одного из аборигенных племен – синдов (Σινδοί), образовывали р. Гипанис (ныне Кубань) в нижнем течении и отроги Главного Кавказского хребта. В IV в. до н.э., согласно титулатуре боспорских правителей (КБН* 6, 6а, 39, 40, 1014, 1037, 1038, 1042), они были подчинены Боспору, как и переименованная в Горгиппию Синдская Гавань (Псевдо-Скимн, 888). По археологическим данным, процесс внутрибоспорской колонизации, который выразился в формировании хоры горгиппийского полиса протяженностью до 20 км [Алексеева, 1997, с. 22–23], коснулся юго-восточных границ Синдики [Анфимов, 1987, с. 90] – Анапской долины – позднее, в эллинистическую эпоху (III–II вв. до н.э.).

В раннем железном веке правобережье Кубани было оконтурено цепочкой укрепленных поселений (городищ) [Каменецкий, 1989, карта 21, с. 235], а не менее удобные крутые склоны рек Анапской долины (Анапка, Маскага и Котлама) оказались практически не востребованными. Данное обстоятельство подчеркивает значимость укрепленного поселения, основанного в средней части Анапской долины, на правом берегу р. Маскаги. Достоинства известного в XIX в. как Ногай-Кале (Ногайская крепость) городища были убедительно очерчены одним из первых исследователей этих мест В.И. Сизовым. По его словам, крепость удобно расположена относительно речной и сухопутной коммуникаций в масштабах не только Анапской долины, но и всего п-ова Абрау, буквально «царит» над местностью [Сизов, 1889, с. 112].

На опубликованном В.И. Сизовым плане крепости она имеет очертания, типичные скорее для фортификации Нового времени: многоугольник валообразной насыпи с восемью башнеобразными выступами-бастионами (рис. 1, *1*) [Там же, табл. XXV]. Вместе с тем раскопки в северо-восточном углу Раевского городища открыли руины, по мнению исследователя, «казарм раннеримской (?) эпохи», поэтому он датировал памятник античным временем и связал с «Синдской крепостью» Птолемея или «Аборакой» Страбона [Там же, с. 113–117, 132]. Новые данные о пространственной стратиграфии и хронологии Раевского городища были получены уже в 1950–1960-х гг. В его северо-северо-западной части под валообразной насыпью крепости выявлены культурные слои, с одним из которых связан горизонт монументального комплекса III–II вв. до н.э. Н.А. Онайко выделила два периода бытования системы оборонительных сооружений городища: II–I вв. до н.э. и I–II вв. н.э. [1984, с. 92].

Стратегия ведения комплексных археологических раскопок на Раевском городище, возобновленных в 1998 г., была определена результатами дистанционного зондирования природного ландшафта и вписанных в него объектов памятника на основе аэрофотосъемки середины и третьей четверти XX в. (рис. 1, *2–4*), космосъемки 2018 г., а также инструментальной съемки городища в пределах валообразной насыпи (выполнено М.О. Жуковским). Выявлена двухуровневая система оборонительных сооружений крепости с «цитаделью» в северо-восточной части. Как правило, раскопки предварялись рекогносцировочными работами: магниторазведкой изучено ок. 11 % общей площади (ок. 1 га), в частности, проведены исследования практически всех башенных сооружений.

Стационарными раскопками вскрыто 3,4 % (0,35 га) всей площади (8,71 га) городища. Мощность культурных слоев и содержание фосфора в них (рис. 2) показали сложную вертикальную и горизонтальную стратиграфию памятника. Период его бытования оказался самым протяженным для всего п-ова Абрау: с энеолита – эпохи ранней бронзы до развитого Средневековья. Вместе с тем почти все изученные постройки, несмотря на довольно необычные очертания крепости, уверенно датированы античным временем. О длительности боспорского присутствия (в пределах конца IV в. до н.э. – середины I в. н.э.) можно судить на основе нумизматического материала (рис. 3).

*[Корпус…, 1965].

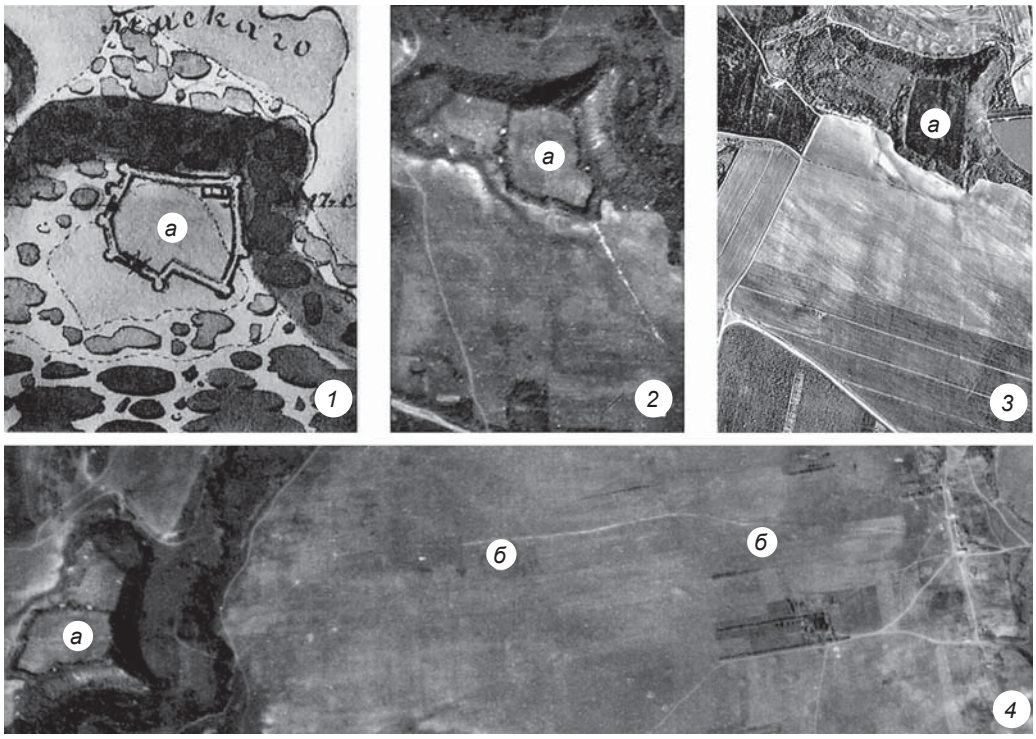

Рис. 1. Ландшафтные особенности крепости.
1 – план городища Ногай-Кале, 1880-е гг.; *2*, *4* – аэрофотоснимки 1940-х гг.; *3* – аэрофотоснимок 1970-х гг.
а – Раевское городище; *б* – вал к северу от него.

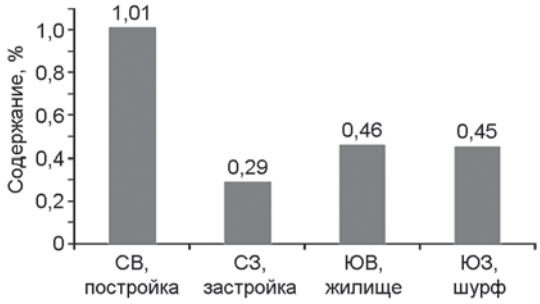

Рис. 2. Содержание валового фосфора в слоях Раевского городища.

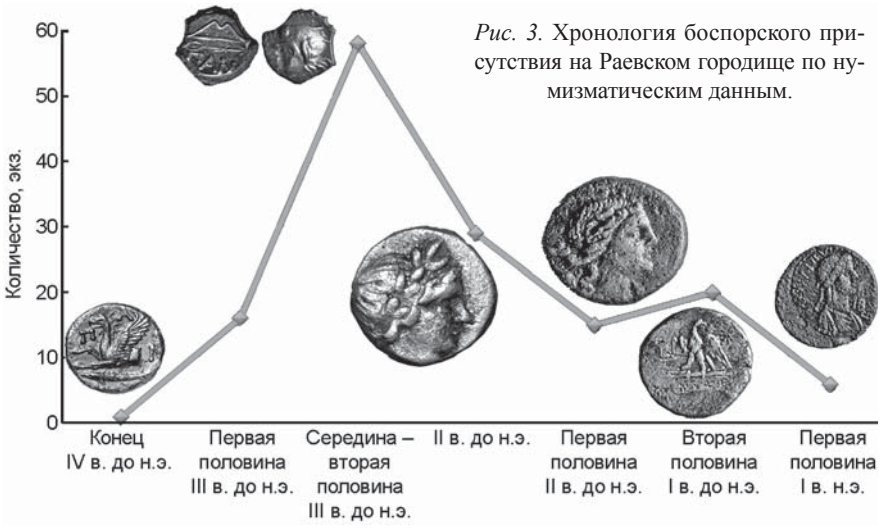

Рис. 3. Хронология боспорского присутствия на Раевском городище по нумизматическим данным.

Таким образом, исследование эволюции антропогенного ландшафта Раевского городища на протяжении четырех столетий (эллинистического и раннеримского времени) имеет во многом решающее значение для изучения боспорской колонизации предгорий Северо-Западного Кавказа. Особого внимания заслуживает фортификационный комплекс: судя по обобщающему исследованию В.М. Иванова [2005], до наших дней не потеряло актуальность замечание ведущего российского антиковеда В.Д. Блаватского о том, что накопленные в науке данные «настолько отрывочны, случайны, что, опираясь на них, решительно не представляется возможным набросать общую картину оборонительного и осадного искусства в Причерноморье» [1950, с. 145].

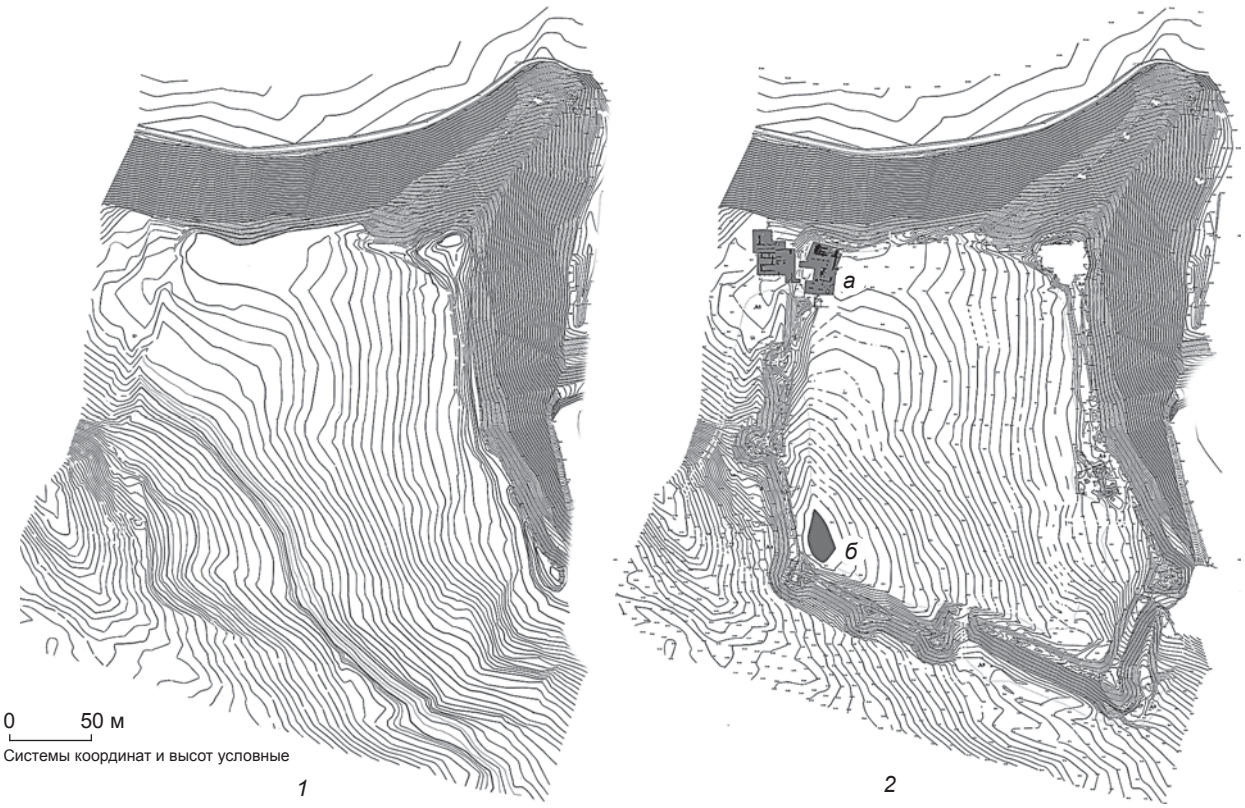

Рис. 4. Рельеф Раевского городища.
1 – доантичный период; *2* – антропогенный ландшафт античного времени (*а* – монументальный комплекс эпохи эллинизма; *б* – водоем, образованный валообразной насыпью).

Исследование эволюции антропогенного ландшафта

Одной из отправных точек этих исследований является сбор и систематизация материалов о первоначальном, доантичном ландшафте. В их основе данные дистанционного зондирования: с севера внешние контуры городища очерчены высоким берегом Маскаги, с западной и южной сторон не менее четкая естественная граница образована балкой, соединяющейся с долиной меандрирующей Маскаги. Тальвег оврага обозначен на плане В.И. Сизова и хорошо читается на аэрофотоснимке, он имеет обширную площадь водосбора (см. рис. 1, *1–3*). Судя по мелиоративным каналам, прилегающее к городищу с юга пространство было подвержено заболачиванию (см. рис. 1, *4*), что явно осложняло доступ на поселение. Это не позволяет согласиться с В.И. Сизовым, по мнению которого оба въезда, главный и меньший, находились на стороне, обращенной к Анапе [1889, с. 112]. Таким образом, беспрепятственный доступ на территорию городища возможен только с восточной стороны, вдоль высокого берега Маскаги.

Не менее выразительным оказался рельеф на самом памятнике: перепад высот составил почти 14 м, самое высокое место в восточной части, самое низкое – в юго-западном углу. Удобные для поселения пологие участки простираются вдоль высокого берега Маскаги, ступенеобразно понижаясь с востока на запад (рис. 4, *1*). На аэрофотоснимке 1940-х гг. их отличает более темный цвет, южнее поверхности с большим уклоном явно светлеют (см. рис. 1, *2, 3*).

Как правило, бытовые памятники имеют жесткую привязку к источнику воды. Водоносный горизонт на Раевском городище, как и вся его площадка, имеет значительный уклон в юго-западном направлении*. Таким образом, оптимальной для поселения является западная часть площади, что подтверждается наличием здесь культурного слоя догреческого периода, где найдена немногочисленная, главным образом амфорная керамика V–IV вв. до н.э. – свидетельство спорадических греко-варварских контактов.

На боспорское присутствие на городище указывают культурные остатки эпохи эллинизма (III–II вв. до н.э.), которые зафиксированы на памятнике повсеместно. Состав находок (многочисленные монеты, широкий ассортимент античной керамики,

*До нашего времени сохранился колодец за пределами насыпи.

в т.ч. культовые терракоты и лампы) сопоставим с материалами античных поселений на Черноморском побережье.

Топография эллинистической застройки не вписывается в известный нам со времен В.И. Сизова контур Раевской крепости, который в большей мере соответствует рассмотренному выше доантичному ландшафту. В частности, распланированный довольно точно по странам света в традициях гипподамовой системы статусный комплекс площадью ок. 0,15 га (рис. 5) сооружен на месте вышеупомянутого аборигенного поселения эпохи раннего железа в западной части городища, в наиболее безопасном месте (учитывая ландшафтные особенности поселения) и в непосредственной близости от источника воды.

Характер заполнения помещений и высота кладок из местных пород (песчаники и известняки) позволяют предположить использование типичного для Боспора приема возведения сырцовых стен на каменном цоколе (сырцово-каменная архитектура) [Крыжицкий, 1984, с. 202]. Они возведены в чисто греческой традиции, которая предполагала размещение блоков плашмя. Ложки чередовались с тычками, как правило, без забутовки, для упрочнения конструкции вставлялись удлиненные блоки (δατονοι) так, что торцевые плоскости оказывались в обоих фасах стены (Витрувий, *II*.VIII.7). Более податливый для обработки привозной ракушечник использовался для изготовления архитектурных деталей.

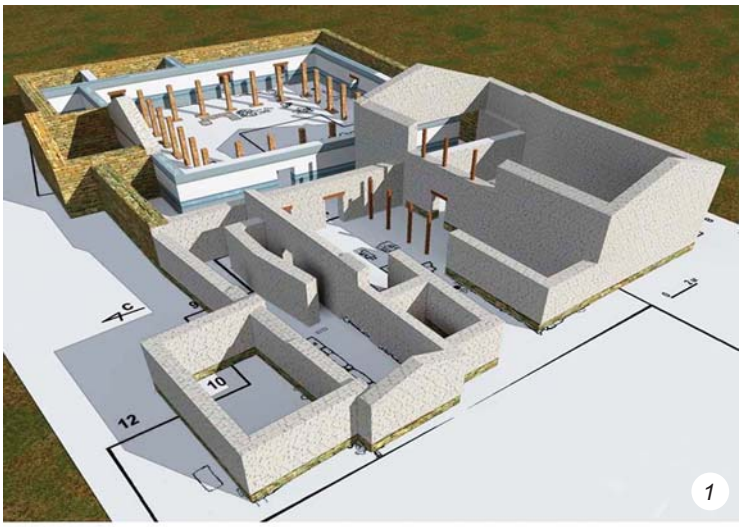

Рис. 5. Монументальное сооружение эпохи эллинизма (3d-реконструкция сооружения выполнена В.В. Моором).

Многое свидетельствует о высоком статусе владельца комплекса. Мощность каменных стен (толщина до 1,6 м) позволяет предположить, что постройки в его северной части имели два уровня. С внешней стороны стены были покрыты белой однослойной штукатуркой, а с внутренней – двухслойной, на которой сохранились фрагменты полихромной фресковой росписи. В основе комплекса, подобно общественным и сакральным зданиям центров материковой Греции* и Пантикапея [Крыжицкий, 1993, с. 149, рис. 102], был закрытый перистильный дворик. Он сохранился в виде стилобата портика из обработанных блоков ракушечника, расставленных через 2 м, причем на некоторых из них обнаружены базы колонн. Стены дворика были украшены полихромной росписью. «Венчает» здания монументального комплекса обычная для греческой традиции черепичная кровля. Ее детали, судя по многочисленным клеймам «ΕΥΜΕΛΟΥ», изготовлены в городских мастерских Горгиппии и доставлены, по-видимому, по судоходной в те времена Маскаге.

О невысокой интенсивности использования помещений комплекса свидетельствуют практически полное отсутствие в них очажных конструкций и необычайно низкое содержание фосфора в культурных слоях (см. рис. 2). Рядовые жители поселения обитали в типичных на протяжении тысячелетий для местного домостроительства турлучных постройках. Остатки обожженных площадок (полов или очажных конструкций) выявлены в северо-западной и юго-восточной частях городища.

Сооружение такого престижного архитектурного комплекса свидетельствует о крайней заинтересованности в территориях, расположенных на значительном (20 км) удалении от Черноморского побережья. Интенсивная экономическая и политическая

*Пританейон в Олимпии, Героон Калидона, дворцовый комплекс в Лариссе [Lawrence, 1957, p. 219–221, fig. 89–90, 123; p. 245, fig. 138].

деятельность боспорян в этом пограничном районе, вне всякого сомнения, была сопряжена с военной опасностью, вызванной неизбежными вооруженными конфликтами с населением сопредельных территорий. В связи с этим потребность в возведении фортификационных сооружений должна была возникнуть в III в. до н.э. Глухие наружные стены монументального комплекса вряд ли могли обеспечить необходимую безопасность.

Ландшафтные особенности, как уже отмечалось выше, требуют обеспечения первоочередной защиты восточных подступов (см. рис. 1; 4, *2*). Северная часть восточной границы, охарактеризованная В.И. Сизовым как главный фас крепости [1889, с. 112], находится в области господствующих высот городища: она проходит по гребню крутого и протяженного склона. Поэтому в первую очередь следовало обезопасить юго-восточную границу. Основной сложностью для создания фортификационных сооружений стал значительный (5–6 м) перепад высот на 80-метровом участке. Возведение субструкции в виде мощной многометровой валообразной насыпи компенсировало этот перепад и во многом позволило избежать склоновых деформаций. Оборонительные валы характерны и для античной, и для «варварской» фортификации Северного Причерноморья, однако на п-ове Абрау они получили распространение, как и каменное домостроительство, в период боспорского освоения региона. Исследования конструкции насыпи показали, что она была сооружена из продуктов разрушения местных скальных флишевых пород. Удалось датировать два гумусовых горизонта погребенной почвы под насыпью*. Первый (уровень 65–80 см) был образован не ранее 2 380 ± 110 л.н. (ИГАН-2450), согласно калиброванным данным – в промежуток времени от VIII до конца III в. до н.э.; для второго (130–150 см) получена дата 3 250 ± 180 л.н. (ИГАН-2451), что свидетельствует о развитии почвы в экспонированном режиме не менее 1 000 лет. Результаты датирования позволяют говорить о начале интенсивных земляных работ по возведению оборонительного вала в эпоху эллинизма.

Юго-восточный и 100-метровый южный участки валообразной насыпи фланкируют три самые крупные в системе Раевской крепости башни. До наших дней они сохранились в виде округлых курганообразных холмов высотой, как и вал, 5 м. Раскопки показали**, что фортификационные сооружения выполнены в типичной для Боспора сырцово-каменной технике. Каменные цоколи башен сохранились на высоту до 4 м, а прилегающие к ним оборонительные стены до 1,5 м.

Башни представляли собой многоуровневое сооружение прямоугольной формы, высотой до 10 м [Колтухов, 1999, с. 64]. Для обеспечения устойчивости стен фортификационных сооружений были использованы крупные блоки из песчаника (особенно в фундаментных рядах), ступенеобразное расширение кладок к основанию и контрфорсы. Насыпи вокруг остатков башен – продукт разрушения стен верхних этажей. Кое-где удалось проследить оплывшие ряды кладок из сырцовых кирпичей, которые по размерам (ок. 0,2 × 0,2 × 0,4 м) значительно отличаются от обычных боспорских [Кузнецов, 2015, с. 289] и скорее соответствуют блокам для общественных построек – пентадоронам (Витрувий, *II*.III.3).

Если расположенная в самой высокой точке Раевского городища Восточная башня слегка выступала за линию валообразной насыпи, то Юго-Восточная (угловая) и Южная (1) благодаря галерее-потерне далеко выдавались за пределы валов (рис. 6, *1*, *4*, *6*, *7*)*, что компенсировало длину куртин, превышающую обычную прицельную дальность стрелы (40–60 м) [Медведев, 1966, с. 32], а также позволяло контролировать движение с востока на запад южнее крепости. Таким образом, рассредоточенные на трех вышеописанных башнях небольшие группы лучников-профессионалов могли контролировать периметр крепости протяженностью 180 м.

Важен вопрос об организации доступа, расположении проездных сооружений, которые, как известно, являются необходимым, но, как правило, слабым звеном любой фортификационной системы. Вынесенные далеко за пределы крепости Юго-Восточная (угловая) и Южная (1) башни образовывали захаб, в углу которого могло располагаться проездное сооружение. Помимо двух башен доступ к нему был осложнен с севера пятиметровой насыпью, с юга оврагом.

Инструментальной и аэрофотосъемкой зафиксирован подъем на городище по гребню мыса (см. рис. 1, *2, 3*; 4). Относительно небольшой уклон позволял использовать его не только для конно-пешеходного сообщения, но и для колесного транспорта. В последние годы на северо-восточном мысу был раскопан контур квадратной в плане (7 × 7 м) дозорной башни (рис. 7). Она позволяла контролировать доступ к расположенному, по-видимому, западнее северо-восточного мыса проездному сооружению. Башня была включена в систему оборонительных стен с северной

*Радиоуглеродные анализы проведены в Лаборатории радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии РАН О.А. Чичаговой.

**Все башни изучены раскопками, причем площади Восточной и Южной (1) удалось исследовать полностью.

*В Древней Греции этот прием известен с VI в. до н.э.: Элевсин, башни 4 и 7 (VI в. до н.э.) [Adam, 1982, p. 198, fig. 112]; Македония, гора Горица, башня 29 (IV в. до н.э.) [Bakhuizen, 1986, fig. 130, 132].

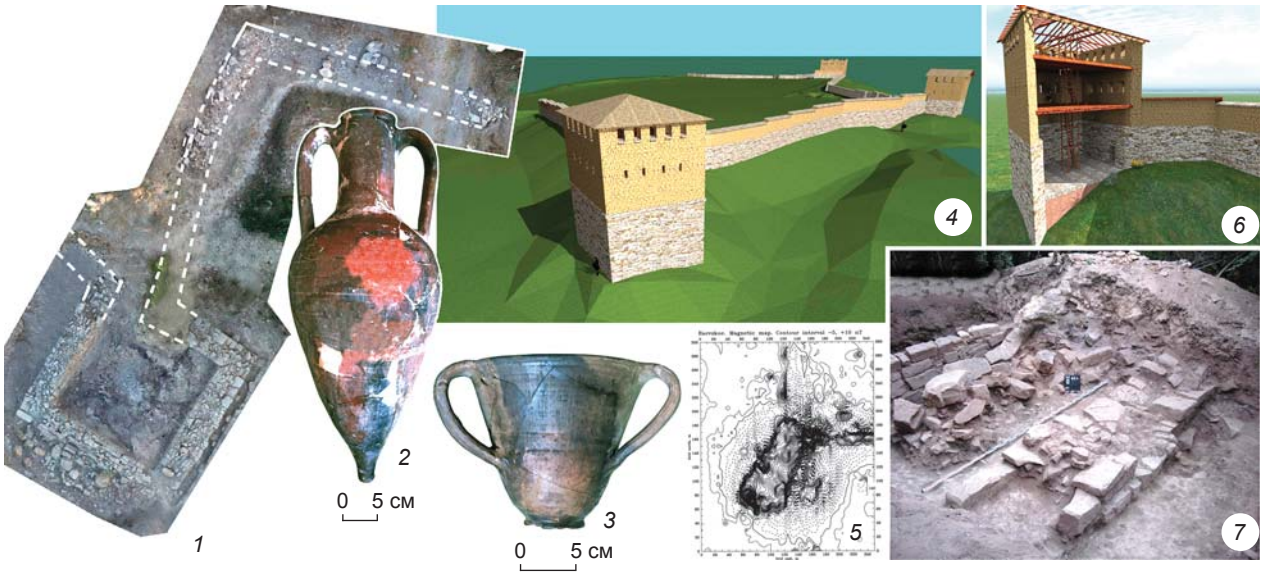

Рис. 6. Башенные сооружения Раевского городища.
Южная башня (1): *1* – ортофотоплан башни и прилегающих к ней стен; *2* – позднесинопская амфора (конец II в. до н.э.); *3* – серолощеный «меотский» канфар с тремя ручками. Юго-Восточная башня: *4, 6* – 3d-реконструкция сооружения (выполнена В.В. Моором); *5* – результат магниторазведки (1998 г., выполнена Т.Н. Смекаловой); *7* – кладки стен потерны, ведущей к башенному сооружению.

и северо-восточной стороны крепости, по кромке высокого берега, сооруженных на материковой скале, а не на субструкции вала. Они несколько уже башенных кладок (ок. 1,2 м), следы внутренней галереи вдоль этих стен не прослежены, что позволяет предположить их использование в качестве сырцово-каменной ограды высотой 3–4 м.

Таким образом, данные археологических исследований последних десятилетий подтверждают выводы Н.А. Онайко о существовании фортификационных сооружений во II в. до н.э. в пределах известного периметра (см. рис. 4, *2*). Наряду с погребениями аборигенного населения (синды, тореты, керкеты) в окрестностях Раевского городища исследован обширный могильник с типичным для меотского обряда расположением миски под головой погребенного [Малышев, 2007, с. 138]. Присутствие носителей меотской культуры зафиксировано в керамическом комплексе Южной башни городища (см. рис. 6, *3*). По-видимому, потребность в фортификационных сооружениях была вызвана изменениями в этнополитической ситуации на юго-восточных границах Синдики – в средней части Анапской долины.

Возведение валообразной насыпи над заброшенными постройками монументального эллинистического комплекса свидетельствует о радикальных изменениях в фортификационной системе Раевского городища. Планировка крепости была переориентирована в меридиональном направлении. В сложившейся фортификационной системе прослеживается резкое уменьшение высоты валообразной насыпи и размеров башенных холмов с востока на запад, а также увеличение плотности башенного фронта практически вдвое – до 40–50 м. Заметную протяженность (80 м) имеет юго-западная куртина, преграждавшая сток поверхностных и грунтовых вод. Таким образом, переориентировка внешних контуров крепости в меридиональном направлении объясняется стремлением обезопасить подступы не только к «цитадели», но и к источнику воды, важному для обеспечения автономности поселения в случае осады. В отличие от монументального эллинистического комплекса, где свидетельства разгрома отсутствуют и все говорит о постепенном запустении, в руинах башенных сооружений внешнего оборонительного комплекса, бытование и гибель которых датируется в пределах эллинистического периода (см. рис. 6, *2*), зафиксированы следы мощных военных (?) пожарищ. Несмотря на многолетние исследования, бытовые и фортификационные сырцово-каменные сооружения эпохи эллинизма в глубинных районах Анапской долины были выявлены только на Раевском городище. Это может говорить о малочисленности боспорского населения в регионе и скорее о политических, чем экономических причинах масштабного строительства на территории городища.

Серьезные изменения в этнополитической ситуации хоры Горгиппии происходили и в раннеримское время (I в. до н.э. – I в. н.э.). Помимо исчезновения сети эллинистических усадеб в окрестностях античного полиса, зафиксировано освоение обширных пространств п-ова Абрау носителями меотской

Рис. 7. «Цитадель» Раевского городища.
1 – план выявленных строительных остатков; *2* – башенное сооружение; *3* – фас южной оборонительной стены, просевший в более раннюю хозяйственную яму; *4* – кладка стены монументального сооружения, усиленная контрфорсом из вкопанных плит.

культуры на фоне практически полного отсутствия аборигенных синдо-керкетских памятников, относящихся к этому периоду [Малышев, Батченко, 2018, табл. 1]. Вместе с тем на рубеже эр достиг своего максимума ареал традиций боспорской сырцово-каменной архитектуры, своеобразно очертив новые пределы горгиппийской хоры. О сохранении пограничной специфики региона и о жесткой, возможно, милитаризированной организации хозяйственной деятельности свидетельствует распространение укрепленных многоуровневых многокамерных зданий как в самой Горгиппии (дом 60) [Алексеева, 1997, с. 84, 128–129], так и по всему п-ову Абрау [Вязкова, Гольева, Малышев, 2009].

Благодаря удобному географическому положению крепость Раевского городища превратилась в центральное звено большого кластера поселений, разбросанных по всей Анапской долине. Строительная активность, материалы раннеримского времени, как и на раннем этапе боспорского присутствия здесь, локализуются вдоль берега Маскаги, однако «цитадель» перемещается в мысовую часть северо-восточного угла городища. Она имела прямоугольные очертания и площадь 0,12 га. С напольной (западной и южной) стороны «цитадель» защищала крепостная стена толщиной 2 м. О поспешности ее сооружения свидетельствует возведение кладки на культурном слое эллинистического времени, вследствие чего местами она глубоко просела в хозяйственные ямы (см. рис. 7, *3*).

Стена защищала монументальное сооружение, исследование которого было начато, как уже указывалось выше, В.И. Сизовым в 1880-х гг. Кладки трех полуподвальных помещений с мощными (до 1,2 м) наружными стенами, а также целый ряд конструктивных решений сближает его с башнеобразными многоуровневыми сооружениями п-ова Абрау. В частности, устойчивость двух- или трехэтажного здания к продольной деформации*, как и у постройки на поселении Рассвет [Там же, с. 219–220], обеспечивалась не только общей массивностью фундаментной части, но и возведенными с запада и юго-запада контрфорсами из массивных блоков (размером ок. 0,6 × 1,4 м).

О военном разгроме крепости свидетельствуют и следы пожара, разрушившего сооружения «цитадели», и многочисленные останки ее обитателей различных возрастных категорий, обнаруженные на разных уровнях развалин и прилегающей площадке. Наиболее поздние нумизматические материалы данного периода – монеты Митридата III (38–45 гг. н.э.) – позволяют датировать эти события серединой I в. н.э. (см. рис. 3).

*В широтном направлении зафиксирован метровый перепад высот на длину здания (ок. 19 м).

В засыпанном пеплом пожарища западном помещении нижнего этажа здания «цитадели», помимо большого количества античной тарной посуды (амфоры и пифосы), обнаружены земледельческие орудия, набор камнетесных инструментов и целый арсенал оружия. Таким образом, среди жителей крепости были и военные, и земледельцы, и строители. Об экономике этого поселения зачастую приходится говорить суммарно: следы ремесленного производства зафиксированы на участках, заселенных на протяжении трех-четырех веков. В целом они свидетельствуют о распространении в регионе античных технологий и приемов хозяйствования.

Обсуждение результатов

Проанализированные выше материалы свидетельствуют о ключевой роли античного центра на высоком берегу Маскаги (Раевское городище) в упрочении и расширении боспорского присутствия на обширных пространствах предгорий Северного Кавказа к востоку от античной Горгиппии. Неустойчивое развитие этого региона было связано и с природно-климатическими условиями (причудливое соседство степного и горного ландшафтов, ураганные северо-восточные ветры (бора), повышенное среднегодовое количество осадков) [Вязкова, 2009], и с этнополитической нестабильностью (расположение на древней границе ареалов обитания аборигенных племен предгорий – «кротких» синдов, «пиратствующих» керкетов и торетов, во владениях которых периодически хозяйничали обитатели прикубанских равнин) (рис. 8) [Малышев, 1995].

Удаленное от Черноморского побережья на десятки километров боспорское поселение на Раевском городище в течение длительного периода развивалось как экономический и политический центр обширной пограничной территории между античной цивилизацией и архаическими сообществами предгорий (своеобразный фронтир* древности). Пограничность его окрестностей подтверждают как данные чле-

*Это понятие было введено в научный обиход столетие назад Ф. Тернером для характеристики историко-культурного процесса освоения Дикого Запада [2009, с. 13–43]. Оно подразумевает синтез географического и исторического пространства. Дальнейшие исследование показали универсальность понятия фронтира как пограничья, зоны взаимодействия двух или более культур либо политических структур [Рибер, 2004, с. 199]. Отмечается комплексность и многогранность этого явления, причем наиболее важным структурным элементом названо состояние неустойчивого равновесия (прежде всего природная экстремальность и военно-политическая нестабильность) [Замятина, 1998, с. 75–82].

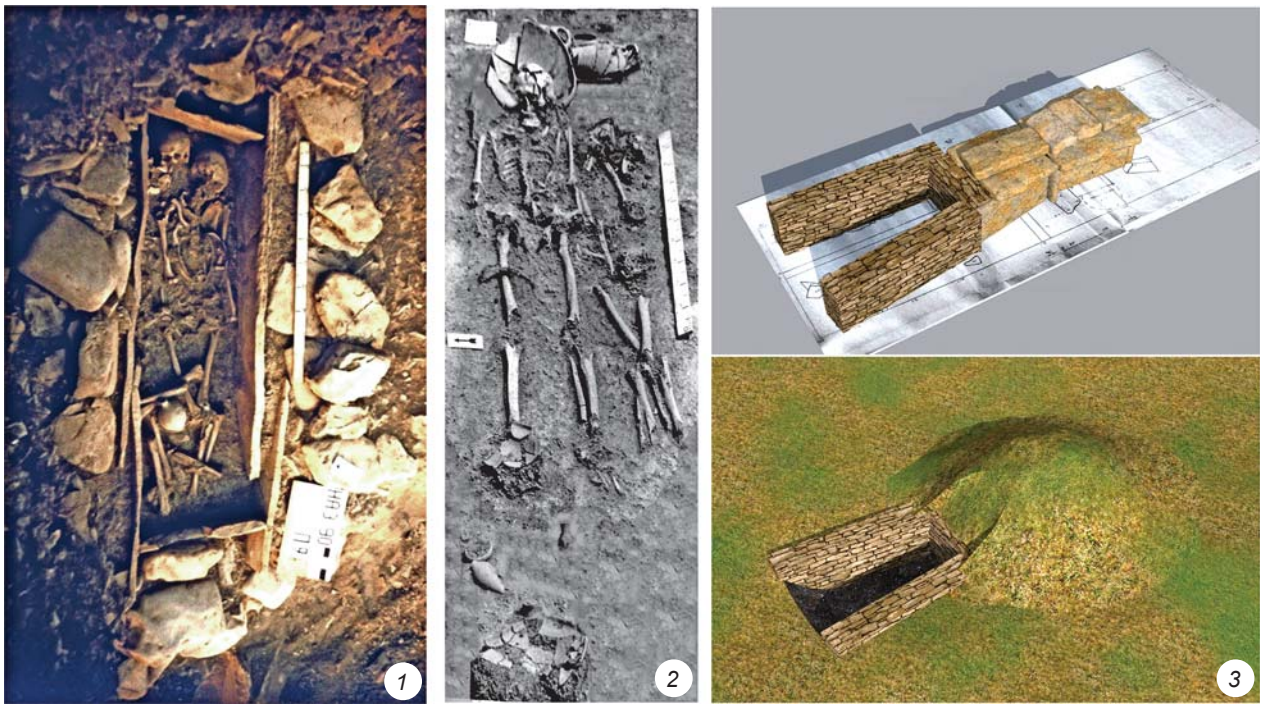

Рис. 8. Разнокультурные погребения, иллюстрирующие этнополитическую ситуацию на юго-востоке Боспора в эпоху эллинизма.
1 – захоронение в каменном ящике аборигенного населения предгорий (могильник Лобанова Щель); *2* – погребение по меотскому обряду (окрестности Раевского городища); *3* – античное захоронение в каменном склепе (Шум-речка).

на Общества любителей изучения Кубанской обл. А.С. Лизарева, который обнаружил систему земляных фортификационных сооружений (ров и вал) севернее городища Ногай-Кале [Городище Ногай-Кале, 1924, с. 163], так и материалы аэросъемки 1940-х гг. (см. рис. 1, *4, б*).

Устройство системы обороны городища обнаруживает высокий профессионализм его создателей. С одной стороны, они удачно использовали сложный природный ландшафт, с другой – придали крепостным сооружениям близкие к геометрически правильным очертания. Фланговая система обороны, основанная на плотности башенного фронта, может свидетельствовать о периферийности этого центра, в распоряжении которого был довольно небольшой воинский контингент.

Заключение

Масштабы изменений антропогенного ландшафта на территории городища в эпоху эллинизма подчеркивает значительный по объему нумизматический комплекс (III–II вв. до н.э.). Близкие по времени бытования эллинистический Танаис в дельте Дона [Арсеньева, 1984, с. 93] и Елизаветинское поселения в Среднем Прикубанье [Городцов, 1936, с. 172] дают основания утверждать, что античный центр на берегу Маскаги (Раевское городище) не локальное явление, а одно из многих свидетельств наиболее значительного территориального расширения Боспорской державы. Несомненно, основной задачей этого периферийного центра на протяжении всего периода бытования было обеспечение военного и экономического присутствия боспорян на юго-востоке Синдики. Несмотря на бурный расцвет Горгиппии после военного разгрома в середине I в. до н.э. [Алексеева, 1997, с. 129–130], ее обширная хора постепенно пришла в упадок, видимо, в связи с резкими изменениями этнополитической ситуации и приоритетов хозяйственной деятельности [Малышев, Требелева, 2018, с. 149–150]; исчезла и необходимость содержать форт в глубине Анапской долины.

Благодарности

Исследование выполнено в рамках проекта «Новое в изучении фортификации азиатского Боспора (IV в. до н.э. – VI в. н.э.): открытия, методики изучения, возможности визуализации» подпрограммы фундаментальных исследований Президиума РАН «Памятники материальной и духовной культуры в современной информационной среде» (I.25). Полевые исследования были поддержаны РФФИ (проект № 17-29-04313/18).

Список литературы

Алексеева Е.М. Античный город Горгиппия. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 560 с.

Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани. – Краснодар: Кн. изд-во, 1987. – 232 с.

Арсеньева Т.М. Танаис // Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984. – С. 93–95. – (Археология СССР; т. 9).

Блаватский В.Д. Материалы по античной фортификации в Северном Причерноморье // Учен. зап. Моск. гос. ун-та. – 1950. – Вып. 143. – С. 126–150.

Вязкова О.Е. Роль природно-географического фактора в формировании антропогенного ландшафта на полуострове Абрау // ABRAU ANTIQUA: Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау. – М.: Гриф и К, 2009. – С. 11–18.

Вязкова О.Е., Гольева А.А., Малышев А.А. Боспорская сигнально-сторожевая система на полуострове Абрау: результаты комплексных исследований // ABRAU ANTIQUA: Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау. – М.: Гриф и К, 2009. – С. 212–240.

Городище Ногай-Кале // Изв. Об-ва любителей изучения Кубанского края. – Краснодар, 1924. – Вып. VIII / под ред. Б.М. Городецкого. – С. 162–163.

Городцов В.А. Елизаветинское городище и сопровождающий его могильник по раскопкам 1935 года (предварительное сообщение) // СА. – 1936. – № 1. – С. 171–186.

Замятина Н.Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные науки и современность. – 1998. – № 5. – С. 75–88.

Иванов В.М. Греческая фортификация Северного Причерноморья VI – первой половины I вв. до н.э.: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2005. – 24 с.

Каменецкий И.С. Меоты и другие племена Северо-Западного Кавказа в VII в. до н.э. – III в. н.э. // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1989. – С. 224–251. – (Археология СССР; т. 11).

Колтухов С.Г. Укрепления Крымской Скифии. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – 224 с.

Корпус боспорских надписей. – М.; Л.: Наука, 1965. – 951 с.

Кузнецов В.Д. Сырцовый кирпич (по материалам Фанагории) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2015. – № 1. – С. 282–295.

Крыжицкий С.Д. Строительная техника // Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984. – С. 201–204. – (Археология СССР; т. 9).

Крыжицкий С.Д. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. – Киев: Наук. думка, 1993. – 248 с.

Малышев А.А. К вопросу о причерноморской локальной группе меотской культуры // Боспорский сборник. – 1995. – № 6. – С. 151–157.

Малышев А.А. Погребальный обряд и планиграфия Раевского некрополя // Юго-восточная периферия Боспора в эллинистическую эпоху: по материалам Раевского некрополя. – М.: Гриф и К, 2007. – С. 137–141. – (Некрополи Черноморья; т. I).

Малышев А.А., Батченко В.С. Полуостров Абрау в античную эпоху (историографический очерк) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2018. – № 4. – С. 78–93.

Малышев А.А., Требелева Г.В. Эволюция системы расселения в периферийных районах азиатского Боспора (на примере п-ва Абрау) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2018. – № 3. – С. 143–156.

Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (луки и стрелы, самострелы). – М.: Наука, 1966. – 128 с. – (САИ; вып. Е1-36).

Онайко Н.А. Раевское городище, Торик // Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984. – С. 92–93. – (Археология СССР; т. 9).

Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронтира: сравнительно-исторический подход // Новая имперская история постсоветского пространства. – Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. – С. 199–222. – (Библиотека журнала «Ab Imperio»).

Сизов В.И. Восточное побережье Черного моря: Археологические экскурсии. – М.: [Тип. А.И. Мамонтова и К°], 1889. – [4], 183 с.: ил., 39 л. ил. – (Материалы по археологии Кавказа; вып. II).

Тернер Ф.Д. Фронтир в американской истории. – М.: Весь мир, 2009. – 303 с.

Adam J.-P. L'architecture militaire grecque. – P.: Picard, 1982. – 221 p.

Bakhuizen S.C. La grande batterie de Goritsa et l'artillerie defensive // La Fortification dans l'histore du monde grec: Actes du Colloque intern. "La fortification et sa place dans l'histoire politique, culturelle et sociale du Monde Grec". Valbonne, Dec. 1982. – P.: Éd. du Centre nat. de la recherche sci., 1986. – P. 315–321. – (Colloques intern. du Centre nat. de la recherche sci. / Centre de recherches archéologiques).

Lawrence A.W. Greek Architecture. – L.: Penguin Books Ltd., 1957. – 327 p.

Материал поступил в редколлегию 30.09.19 г.,
в окончательном варианте – 09.12.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.080-088
УДК 904

А.Е. Астафьев[1], Е.С. Богданов[2]
[1]Мангистауский государственный историко-культурный заповедник, Казахстан
Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы
3-ші шағынаудан, 66, Ақтау, 130001, Қазақстан Республикасы
E-mail: aasta@list.ru
[2]Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: bogdanov@archaeology.nsc.ru

Полихромный стиль на Мангышлаке (Республика Казахстан)

Статья посвящена анализу материала, полученного при раскопках погребения эпохи Великого переселения народов на северо-восточном берегу Каспийского моря, рядом с поселением той же эпохи Каракабак (Мангистауская обл. Республики Казахстан). Основные находки, относящиеся к шиповским древностям, позволяют датировать памятник в пределах второй половины V – первой половины VI в. В проанализированном комплексе на фоне сарматских и позднесарматских особенностей удалось четко обозначить новации в погребальном обряде и обычаях, определить векторы культурных влияний. Найденные в погребении изделия в полихромном стиле (техника клуазоне) впервые позволили включить п-ов Мангышлак в зону распространения «понтийской моды». Высказано предположение о местном их производстве: мастер был знаком с оригиналами и эталонами ювелирного искусства, но не имел под рукой специализированных инструментов. Выявленные нами технологические особенности изготовления кулона и перстней были ранее зафиксированы исследователями у поздних восточно-европейских предметов и связаны с византийской школой. По датам (V–VI вв.) это четко соотносится с выделенной И.П. Засецкой 5-й стилистической группой полихромных изделий. Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о том, что в Каракабаке, являвшемся ремесленно-торговым центром, могли изготавливаться изделия из металла и ювелирные украшения в технике перегородчатой инкрустации по византийской технологии. Этими изделиями город снабжал кочевые племена, обитавшие в Арало-Каспийском регионе в гуннское и постгуннское время.

Ключевые слова: *Мангышлак, Каракабак, гуннская эпоха, шиповский горизонт, захоронения с подбоем, полихромный стиль, перегородчатая инкрустация.*

A.E. Astafyev[1] and E.S. Bogdanov[2]
[1]Mangystau State Historical and Cultural Reserve,
3rd Microdistrict 66, Aktau, 130001, Republic of Kazakhstan
E-mail: aasta@list.ru
[2]Institute of Archaeology and Ethnography,
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Pr. Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090, Russia
E-mail: bogdanov@archaeology.nsc.ru

Polychrome Style in Mangystau, Kazakhstan

We describe artifacts from a burial of the period of Barbarian Invasions on the northeastern Caspian coast (Mangystau Region, Republic of Kazakhstan), near the contemporaneous settlement of Karakabak. The principal finds, representing the Shipovo horizon, suggest a date of late 5th to early 6th centuries. They reveal a mixture of Sarmatian and Late Sarmatian features with certain innovations. The origin of the latter is discussed. Metal artifacts belonging to the polychrome style (cloisonné work) make it possible, for the first time, to include the Mangystau Peninsula in the distribution range of the "Pontic fashion". We propose that these artifacts are of local origin, and that the craftsman replicated certain standards without requisite tools. Technological characteristics of the pendant and rings were observed by previous scholars in late Eastern European artifacts associated with the Byzantine school. Their dates (5th–6th centuries) correlate with those of the fifth stylistic group of polychrome artifacts described by I.P. Zasetskaya. Our findings suggest that Karakabak, a craft and trade center, was the place where Byzantine-style cloisonné artifacts were manufactured. These were supplied to nomadic tribes inhabiting the Aral-Caspian area during the Hun and post-Hun periods.

Keywords: *Mangystau, Karakabak, Hun Period, Shipovo horizon, undercut burials, polychrome style, cloisonné.*

© Астафьев А.Е., Богданов Е.С., 2020

Введение

В последние десятилетия термин «полихромный стиль» в археологической литературе стал употребляться чрезвычайно широко как с точки зрения хронологии, так и в культурно-историческом контексте. С одной стороны, использовать этот термин в качестве «научного сленга» очень удобно. Но, с другой стороны, относить к полихромному стилю любые украшения со вставками из цветных камней или стекла в корне неверно, т.к. мы имеем дело с определенным культурным явлением, характерным для эпохи Великого переселения народов. Для нас важно, что «процесс формирования и развития полихромного стиля далеко не однозначен», поскольку имеются различные «этнокультурные корни» и «разные центры производства» [Засецкая, 1994, с. 69]. И если для изделий в этом стиле в западном ареале распространения существуют классификационные схемы с обоснованием различных вариантов происхождения [Якобсон, 1964, с. 12–15; Амброз, 1989, с. 6–54; Засецкая, 1994, с. 68–112; Засецкая и др., 2007, с. 83–101; Бажан, Щукин, 1990; Щукин, 2005, с. 340–358; Фурасьев, 2007, с. 23–24], то в отношении Арало-Каспийского и Центрально-Азиатского регионов – больше вопросов, чем ответов [Алкин, 2007, с. 94–99; Казаков, 2017]. В этой связи чрезвычайно важны открытия, сделанные нами совсем недавно на п-ове Мангышлак. Арало-Каспийский регион, по сути, является связующим звеном между «югом» (сасанидский Иран и Средняя Азия), «западом» (Восточная Европа, Кавказ, Северное Причерноморье), «севером» (Поволжье и Приуралье) и «востоком» (Тянь-Шань, Западная Сибирь, Горный Алтай).

Первые изделия в полихромном стиле зафиксированы в составе «кладов» в ритуальных каменных сооружениях Алтынказгана [Астафьев, Богданов, 2015, рис. 4, *12*; 2018, рис. 4, 5]). В 2019 г. около поселения Каракабак эпохи Великого переселения народов (подробнее об этом см.: [Астафьев, Богданов, 2019]) было обнаружено несколько могильников гуннского времени (рис. 1). В данной статье в научный оборот вводятся материалы, полученные при раскопках погр. 2.

Описание хода работ и погребального обряда

Каньон Каракабак вытянут по направлению юг – север с выходом устья на побережье Каспийского моря, в зону мелководного залива Кочак. Его восточный борт в этом месте сформирован большим останцем, на котором находится Каракабакское городище. Западный борт русла рассечен многочисленными промоинами, оконтуривающими делювиальные шлейфы (конусы выноса), где располагаются группами (от 3 до 20) каменные сооружения-наброски рядом с кольцевидными выкладками (рис. 2).

Объект № 2 до раскопок представлял собой кольцевидную в плане каменную наброску диаметром

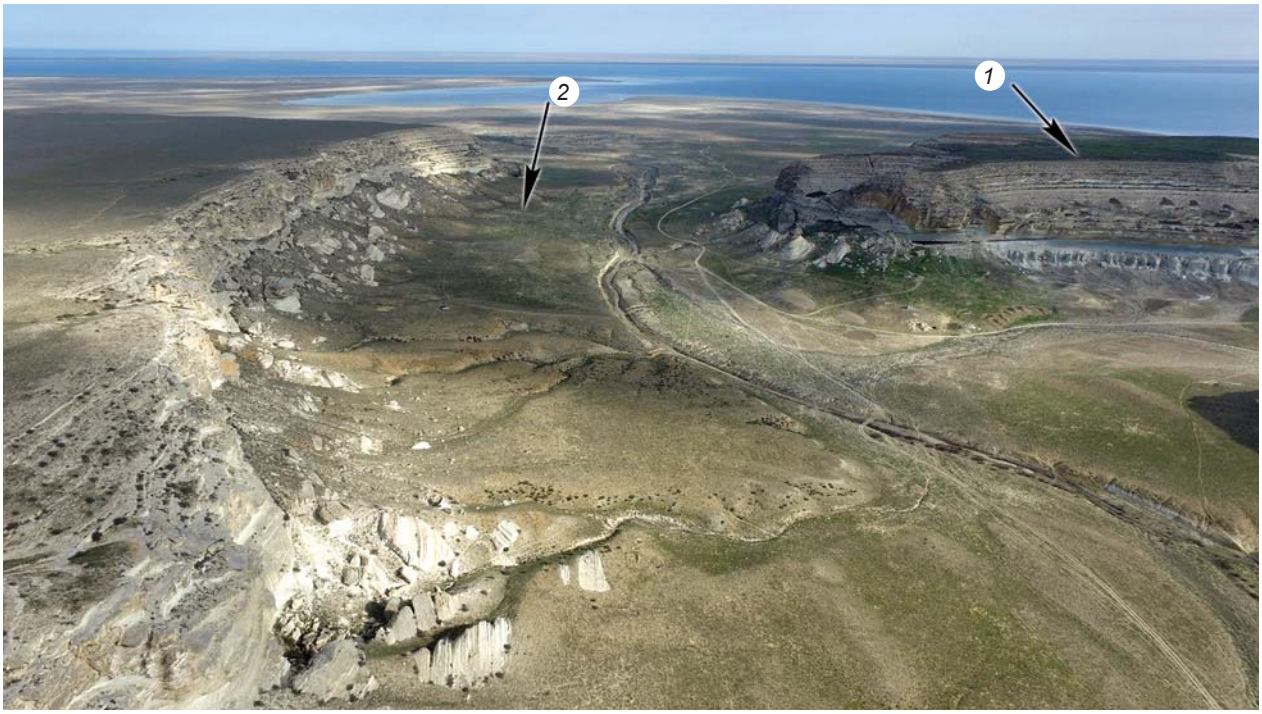

Рис. 1. Вид на каньон Каракабак и берег Каспийского моря.
1 – поселение Каракабак; *2* – могильник № 10.

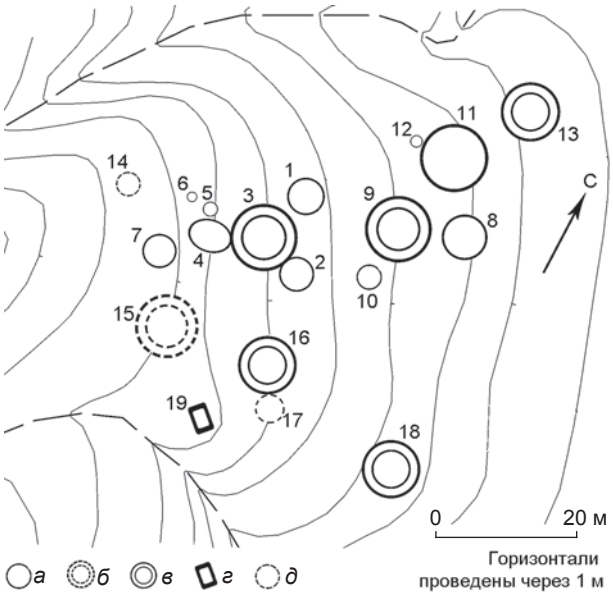

Рис. 2. Расположение объектов на могильнике № 10.
а – насыпь; *б* – насыпь (?) с западиной в центре; *в* – каменное кольцо; *г* – погребение этнографического времени; *д* – каменная наброска.

5 м с грабительской (?) ямой в центре, которая пробила каменный заклад (толщиной до 50 см) из плит и камней на уровне древнего горизонта. По линии восточной стенки ямы в южном направлении на том же уровне расчищено слабозолистое пятно прокала. По этой же линии с противоположной стороны в 0,3 м от ямы находился врытый по горловину лепной кувшинообразный сосуд с ручкой (рис. 3, *а*). Каменный заклад перекрывал входную могильную яму прямоугольной в плане формы (2,15 × 1,00 м), ориентированную по линии С – Ю. На глубине 1,0–1,2 м от уровня древней поверхности вдоль западной стенки были выявлены верхние камни четырехрядной кладки – заклада погребальной камеры подбойного типа. Он небрежно выполнен блоками известняка средней величины, уложенными на края ступени (рис. 3, *б*). В юго-восточном углу входной могильной ямы расчищено скопление костей быка (череп с шейным позвонком-атлантом, четыре копыта, бедренная кость и два ребра).

На дне погребальной камеры (высота свода 0,9 м) со смещением в северный сектор находился скелет

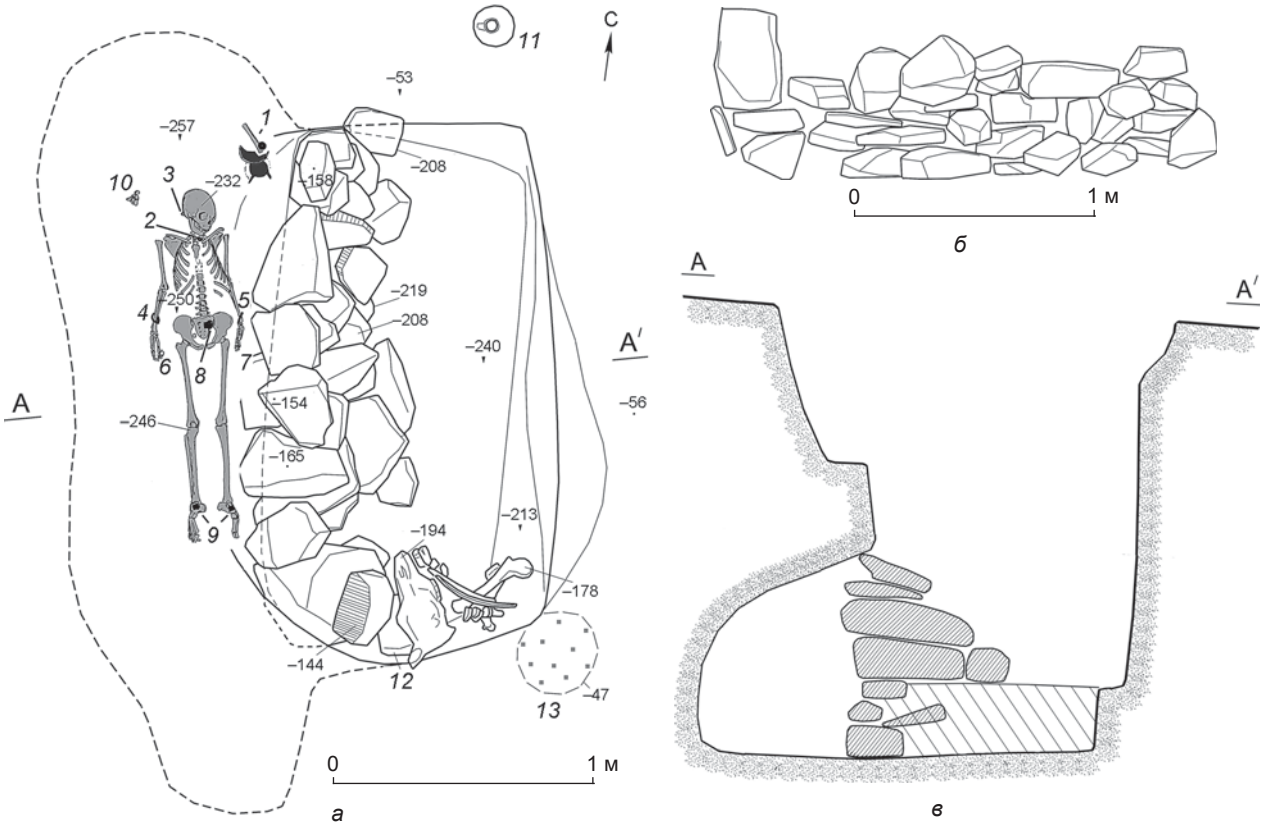

Рис. 3. План (*а*), заклад подбоя (*б*) и разрез (*в*) погр. 2.
1 – комплект погребального инвентаря на деревянном блюде-подносе (бронзовое зеркало с ручкой штырьком, обломок бронзового зеркала с циркульным орнаментом, медный пинцет, дисковидный керамический грузик (пряслице?), ядро аммонита с пробитым отверстием, «игольник» из большеберцовой кости животного подсемейства козьих); *2* – серебряный кулон; *3* – височные кольца; *4*, *5* – медные браслеты; *6*, *7* – перстни; *8* – поясная серебряная пряжка; *9* – обувные серебряные пряжки; *10* – крестец барана; *11* – вкопанный сосуд; *12* – скопление костей (шкура?) быка; *13* – углистое пятно прокала.

Рис. 4. Находки из погр. 2.
1 – бронзовые браслеты с фрагментом текстиля (*1а*); *2* – медный пинцет; *3* – серебряная поясная пряжка; *4* – серебряная обувная пряжка; *5* – керамическое пряслице; *6*, *7* – бронзовые зеркала.

женщины 20–30 лет, уложенной в вытянутом положении на спине головой на северо-северо-запад (рис. 3, *а*). Череп имеет лобно-затылочную деформацию. Справа от него в анатомическом порядке залегали крестцовые позвонки животного подсемейства козьих. Слева за черепом на линии ступени у стенки погребальной камеры обнаружен комплект погребального инвентаря: медный пинцет (рис. 4, *2*), дисковидный керамический грузик (пряслице?) диаметром 38 мм, изготовленный из стенки сероглиняного станкового сосуда (рис. 4, *5*), бронзовое зеркало с ручкой штырьком (рис. 4, *6*), обломок бронзового зеркала с циркульным орнаментом (рис. 4, *7*), ядро аммонита с пробитым отверстием (рис. 5, *8*), «игольник» из большеберцовой кости животного подсемейства козьих, у которой срезан верхний конец. Судя по сохранившемуся тлену, все предметы лежали на деревянном подносе или блюде, декорированном широко прорезанной косой сеткой с размером квадрата 30 × 30 мм.

В районе сосцевидных отростков черепа женщины располагались две парные цельнолитые золотые серьги калачиковидной формы (рис. 5, *2*). Под нижней челюстью лежало нашейное украшение (рис. 5, *1*, *3–5*, *9*, *10*), состоящее из серебряного кулона со вставкой (альмандин); стеклянной, сильно патинированной бусины округлой формы; трех шаровидных бусин (коралл?); трех серебряных спиралевидных пронизей. На костях предплечья обнаружены бронзовые браслеты с чуть расширенными несомкнутыми концами (см. рис. 4, *1*). На одном из них сохранился фрагмент грубой ткани (одежды?) (см. рис. 4, *1а*). В сом-

Рис. 5. Находки из погр. 2.
1 – серебряный кулон; *2* – золотые серьги; *3–5* – бусины; *6*, *7* – перстни; *8* – аммонит; *9*, *10* – фрагменты нашейного украшения.

кнутой правой кисти погребенной находился золотой перстень с ромбовидным пластинчатым щитком (см. рис. 5, *6*), а на средний палец левой руки было надето аналогичное по типу украшение меньшего размера щитком к ладони (см. рис. 5, *7*). На крестце лежала серебряная пряжка (см. рис. 4, *3*), на предплюсневых костях – еще две такие же, только меньшего размера (см. рис. 4, *4*).

Интерпретация материала

Один из феноменов эпохи Великого переселения народов состоит в том, что все позднесарматские особенности в погребальном обряде и обычаях (например, деформация головы) характерны и для гуннского времени на территории урало-казахстанских степей, Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья (см.: [Боталов, Гуцалов, 2000, с. 125–128; Мошкова, 2009, с. 108–110; Симоненко, 2011, с. 174–180; Малашев, 2013, с. 9; Смирнов, 2016, с. 26–28; Скрипкин, 2017, с. 221–245]). Это захоронения под индивидуальной насыпью, преимущественно в подбоях или узких прямоугольных (овальных) ямах. Как отмечают указанные выше исследователи, ямы с подбоем (в основном в западной стенке) встречаются в 70–75 % случаев. Чаще всего подбой такой же формы, что и входная яма, но несколько больше (средние размеры 2,00 × 0,75 м). Погребенные в большинстве случаев были уложены в вытянутом положении на спине, головой на север. Данные факты свидетельствуют о том, что состав населения на указанных выше территориях сильно не менялся, процессы миграций и ассимиляции не ломали мировоззренческие устои, а лишь корректировали распространение иноземных (гуннских) элементов в костюме и ритуалах. Что касается обычая кольцевой деформации черепа, то он не является хроноиндикатором гуннской эпохи и вообще напрямую не связан с гуннами. Большинство исследователей считает, что этот обычай был изначально воспринят от сарматских и аланских племен (ираноязычных степняков), но именно в гуннское время его ареал резко расширился от Северного Кавказа до среднего Дуная (подробнее об этом см.: [Казанский, 2006]).

При анализе погребального обряда кроме черт, характерных для позднесарматского круга памятников, зафиксированы и некоторые новации, не встречаемые в более раннее время в Арало-Каспийском регионе. В качестве примера можно указать на сложенные кости быка (шкуры?) у стенки входной ямы (см. рис. 3, *а*). Известны захоронения шкур коня в подбойных (в основном женских) погребениях гуннского времени в Нижнем Поволжье, Крыму, Северном Причерноморье, Центральном Казахстане и Приаралье [Засецкая, 1994, с. 17–19; Левина, 1996, с. 120]. Реже встречаются в указанных регионах захоронения шкур или голов быка (коровы).

Найденный в погр. 2 инвентарь, за исключением ременных пряжек и изделий в полихромном стиле, имеет очень широкие аналогии и «размытые» векторы культурных влияний. Особое внимание привлекает набор предметов, уложенных у головы погребенной. Все они входят в группу вещей «понтийской моды» и по отдельности характерны для культур как оседлого, так и «варварского» населения Танаиса, Крыма, Западного Предкавказья, встречаясь также в отдаленных, периферийных зонах. Так, аналоги медного косметического пинцета высокой трапециевидной формы с прямыми загнутыми концами (см. рис. 4, *2*) есть в материалах эпохи Великого переселения народов на территории Венгрии (Генцапати [Bona, 1991, S. 103, Abb. 75, *3*]), Краснодарского края (погр. 1, 1948 г., Пашковский могильник [Смирнов, 2016, рис. 100]), Крыма и нижнего Дона [Мастыкова, 2009, с. 89; рис. 106], Приаралья [Левина, 1996, рис. 150, *23–25*]. Зеркала сарматского облика с циркульным гравированным орнаментом (см. рис. 4, *7*) достаточно редки, есть только одно похожее изделие из погр. 91 могильника Суук-Су в Крыму [Засецкая и др., 2007, рис. 4, *5*]. Довольно редкими для западной части ойкумены в гуннскую эпоху являются плоские бронзовые зеркала с тонким валиком по краю и длинной боковой ручкой-штырем (см. рис. 4, *6*). В «классических» шиповских комплексах зафиксирован только один экземпляр из кург. 3 у ст. Шипово [Засецкая, 1994, табл. 40, *5*]. Хотя подобный тип (II по типологии А.М. Хазанова [1963]) зеркал с более короткой ручкой известен со скифского времени. Особенно он был популярен у рядовых кочевников сарматской эпохи на территории Поволжья и Приуралья [Смирнов, 1964, рис. 14, *2а*; Хазанов, 1963, с. 58, рис. 1; Глебов, 2019, рис. 2], Средней Азии и Казахстана [Литвинский, 1973, с. 75–76; табл. 1–8]. Представительная коллекция зеркал такого типа (но уже с длинной ручкой) происходит из джетыасарских комплексов [Левина, 1996, с. 230; рис. 152–155]. Остальные предметы из погр. 2 (пряслице, бусы, «игольник»), как и факт наличия разбитого зеркала, характерны в целом для сарматской и позднесарматской эпохи не только Северного Прикаспия, Поволжья и Южного Приуралья, но и Северного Причерноморья.

Более точную датировку и четкие векторы культурных влияний имеют цельнолитые серебряные пряжки (2 экз. 24 × 13 мм; 1 экз. 32 × 20 мм) с овальной рамкой полукруглого сечения, прямоугольным щитком со скошенными бортиками, литым широким язычком полукруглого сечения с загнутым вниз концом (см. рис. 4, *3*, *4*). Данный тип пряжек относится к шиповскому

горизонту*, датируется в пределах V–VI вв. и имеет широкий круг аналогий среди боспорских и центрально-европейских древностей [Засецкая, 1994, с. 90–91, табл. 40, *3*; 42, *6*; рис. 19, *в*].

Самыми интересными находками из погр. 2 являются украшения, выполненные в полихромном стиле. Поскольку найденным перстням почти нет аналогий, дадим их подробное описание. Первое изделие (см. рис. 5, *6*) имеет ромбовидный пластинчатый щиток 20 × 17 мм и такой же формы каст 15 × 12 мм, высотой 1,5 мм с четырьмя плоскими перегородчатыми вставками из полупрозрачного камня красноватого оттенка (альмандин) и одной ромбовидной из мягкого вещества светло-коричневого цвета. Каждый угол щитка оформлен тремя цилиндрами диаметром 2,5 мм на высоту каста. В трех из них сохранились вставки из мягкого вещества светло-коричневого цвета. По краям щитка напаяны полоски с рифлеными валиками. Концы немного деформированной шинки треугольного сечения (шириной 4 мм при внешнем диаметре 19 мм) сильно расплющены, сведены и спаяны на щитке. Щиток подпирается припаянными под углом к шинке рифлеными стерженьками. Второй перстень (см. рис. 5, *7*) имеет также ромбовидные пластинчатый щиток (16 × 12 мм) и каст (12 × 8 мм, высотой 2 мм) с плоским полупрозрачным камнем красноватого оттенка (альмандин). Углы щитка оформлены цилиндрами диаметром 2,5 мм на высоту каста. В одном из них сохранилась вставка из мягкого вещества светло-коричневого цвета. По краям щитка напаяны полоски с ложной зернью. Концы шинки треугольного сечения (шириной 4 мм при внешнем диаметре 19 мм) сведены и спаяны на щитке. Именно такие изделия Р.С. Минасян, ведущий российский специалист по древней металлообработке, считает выполненными в технике перегородчатой инкрустации [Минасян, Шаблавина, 2009, с. 257, рис. 9]. Подобными тонкими альмандиновыми пластинками оформлены портупейные пряжки и подвески, детали меча и ножен из Волниковского «клада» [Волниковский «клад»..., 2014, кат. № 1–5, 103, 115–117], который, скорее всего, относится ко второй половине V в., хотя авторы публикации настаивают на более ранней дате [Там же, с. 24–25]. Самой близкой аналогией нашим находкам является перстень с оформлением углов щитка цилиндриками и рубиновыми вставками из тайника боспорского склепа № 40 (некрополь Джурга-Оба) [Ермолин, 2009, рис. 5, *3*].

Если принять точку зрения Р.С. Минасяна и И.П. Засецкой, согласно которой после падения Рима центрами ювелирного производства остались только мастерские на территории Германии и Византии, продолжавшие античные традиции [Засецкая и др., 2007, с. 84], то, безусловно, изделия с перегородчатой инкрустацией типа украшений из Волниковского «клада» или из погребений возле хут. Морской Чулек, а также перстни и кулоны из Джурга-Обы были сделаны именно там и не ранее второй половины V в. М.Б. Щукин считал, что «возрождение техники клуазоне могло произойти где-то в странах Передней Азии и Восточного Средиземноморья, в римско-сасанидском пограничье» (Иберии) [2005, с. 346–347]. В этой связи стоит обратить внимание на оформление каракабакских перстней каменными вставками. Изначально у мастера были отличного качества заготовки-пластины с ровными отшлифованными краями, но больше нужных размеров. Их уменьшили, грубо подработав края с помощью вертикальной отжимной ретуши, и втиснули в касты изделий. Это хорошо видно при увеличении (см. рис. 5, *6а*). В данном случае, несомненно, мы имеем дело с подражанием: мастер был знаком с оригиналами и эталонами ювелирного искусства, но не имел под рукой специализированных инструментов. При этом он соблюдал технологию производства подобных ювелирных изделий. Например, под каменными вставками у каракабакских перстней остался тонкий слой светлого вещества. В момент изготовления изделия это пастообразное вещество было мягким и вязким, а потом затвердело. Как показали исследования Б. Аррениус, в основном использовался цемент или гипс с разного рода органическими добавками [Там же, с. 344]. Именно благодаря химическому анализу этих добавок удалось дифференцировать предметы эпохи Великого переселения народов и более поздние – меровингского времени. Интересно, что камни многих изделий позднего периода обточены дважды, т.е. в дело шли гранатовые вставки из уже вышедших из употребления вещей [Там же, с. 345]. Применение различных паст позволило использовать совсем тонкие пластинки, экономя дорогостоящий материал, и не заниматься дополнительной подгонкой по толщине вставки. Но, как отмечает Б. Аррениус, возникала другая проблема: закрепленные на пасту камни переставали быть яркими в лучах света [Там же]. Дабы избежать этого, стали использовать прокладку из тонкой золотой фольги, что

*«…“Постгуннский”, или горизонт Шипово, охватывающий время от 430/470 до 530/570 гг., начальная фаза которого в общей “варварской” хронологии соответствует периодам D2/D3 (горизонт Смолин или среднедунайская фаза MD 1: 430/440–470/480 гг.), D3 (горизонт Каравуково-Косино или среднедунайская фаза MD 2, для “княжеских” находок – горизонт Блучина-Апахида-Турнэ: 450–480 гг.), D3/E1 (или среднедунайская фаза MD 3: 480–500/510 гг.), и наконец среднедунайские фазы MD 4 (510–540/550 гг.) и MD 5 (540–560 гг.)» [Мастыкова, 2009, с. 19]. Датировка шиповских комплексов VI–VII вв. [Амброз, 1989, с. 67–75] в настоящее время не поддерживается современными исследователями.

и мы обнаружили в каракабакских перстнях. Данный технологический прием зафиксирован у поздних восточно-европейских предметов и связан с византийской школой. По датам (V–VI вв.) он четко соотносится с выделенной И.П. Засецкой 5-й стилистической группой полихромных изделий [1994, с. 72, рис. 15].

Точно в такой же подражательной, грубоватой манере был сделан и найденный в погр. 2 серебряный кулон (см. рис. 5, *1*). Край подвески (35 × 21 мм) оформлен мелкорифленым валиком, напаянным на овальную пластинчатую основу. Из таких же спаянных трех валиков состоит ушко. Каст невысокий, овальный (20 × 13 мм); уплощенный красный камень (сердолик?) выступает из него. Вставка прекрасно отшлифована, закреплена тем же способом, что и в перстнях, и не имеет следов вторичной обработки. С точки зрения технологии изготовления этот предмет не выходит за очерченные выше для перстней хронологические рамки бытования. В данном случае характер оформления каста (рубчатый ободок) не является хроноиндикатором и не отражает эволюционного развития в гуннское время от сложного (зернь, псевдозернь) к простому*.

В отличие от перстней, кулон находит такое огромное количество аналогий в Европе, Причерноморье и Поволжье, что полное их перечисление намного превысило бы допустимый объем публикации**. Данный факт отражает большую популярность изделий этого типа как в кочевой среде, так и у оседлого населения. Видно, что использовались камни определенных шаблонов, причем их размеры удивительным образом стандартизированы. Данный факт навел Б. Аррениус на интересную мысль о существовании «ГОСТов» у византийских мастеров (см.: [Щукин, 2005, с. 354]). Дальнейшее оформление изделий (от нагрудных женских нашейных украшений до деталей-накладок на поясах и в конском снаряжении) могло быть различным. Уже сейчас сформирована ясная картина распространения полихромных вещей данного типа в гуннскую и постгуннскую эпоху с запада на восток. Причем за последние 20 лет исследований археологических памятников граница ареала этого полихромного стиля существенно продвинулась в глубь восточной части степного пояса. Раньше аналогии каракабакскому кулону ограничились бы находками из погребений Приаралья (Алтынасар [Левина, 1996, рис. 119]), Северного Казахстана (около оз. Борового [Бернштам, 1951, с. 219, рис. 4]), Киргизии (Кенкольский могильник [Бернштам, 1940, с. 24]) и Западной Сибири (Тугозвоново [Уманский, 1978, рис. 4], кург. 35 Тимирязевского-1 [Беликова, Плетнева, 1983, рис. 45, *1*, *2*], кург. 6 Крохалевки-23 [Троицкая, Новиков, 1998, рис. 17, *55*], кург. 1 Крохалевки-16 [Сумин и др., 2013, рис. 155, *1*, *2*], погребение на р. Ераське [Казаков, 2017, рис. 1]). Сейчас база данных пополнилась предметами из погребений на р. Илек (Северный Казахстан) [Бисембаев и др., 2018, рис. 5], в ущелье Шамси и кургане Бома (отроги Тянь-Шаня) [Кожемяко, Кожомбердиев, 2015, рис. 14, 16, 17, 19; Kožomberdieva, Kožomberdiev, Kožemjako, 1998, Abb. 3, *7*; 2, *9*, *10*; Алкин, 2007, рис. 2, *10*; Koch, 2008, Abb. 8], с памятника Аржан-Бугузун (Горный Алтай) [Кубарев, 2010, рис. 1]. И это только круг восточных аналогий каракабакскому серебряному кулону, количество же найденных изделий полихромного стиля гораздо больше (см., напр.: [Молодин, Чикишева, 1990, рис. 3, *1*; Бородовский, 1999, рис. 1, *1*]). Однако, как справедливо отметил С.В. Алкин [2007, с. 94–95], а затем и А.А. Казаков [2017, с. 83], проблематика полихромного стиля в Центрально-Азиатском регионе находится еще в стадии разработки.

Выводы

Открытие алтынказганского комплекса, каракабакского поселения с захоронениями гуннской эпохи позволяет по-новому взглянуть на проблему существования производственных центров в восточной ойкумене степного мира. Если допустить, что их не было, то значит – все найденные полихромные изделия изготовлены в европейских или византийских мастерских и попадали в урало-казахстанские степи, Центральную Азию и Западную Сибирь путем торговых операций или вместе с мигрантами. Изначальный импульс мог произойти, как считает М.М. Казанский [Kazanski, 1995, p. 192–193], в связи с политикой Рима, использовавшего сарматских кочевников в своем вооруженном противостоянии с Ираном. Однако нам представляется, что все могло быть гораздо сложнее.

Во-первых, нужно учитывать наличие в Китае в ханьское время хорошо развитого производства украшений с использованием золотой зерни и инкрустации для «варварских» племен [Алкин, 2007, с. 95]. То, что китайцы знали образцы западного ювелирного искусства и как никто другой умели им подражать, хорошо известно исследователям скифо-сибирского звериного стиля (об этом см.: [Богданов, 2006, с. 27–28]). Во-вторых, учитывая мощные миграции номадов в западном направлении после распада гуннской империи Аттилы, нельзя исключать и передвижение

*Изделия с совершенно разным оформлением каста могут встречаться не только на одном памятнике, но и в одном погребении (Морской Чулек [Засецкая и др., 2007, табл. I, II, *3*; VIII, *1–3*]).

**Подробная информация содержится в фундаментальных работах А.К. Амброза [1989] и И.П. Засецкой [1994; Засецкая и др., 2007], где классифицируются и анализируются подобные полихромные украшения как с накладным орнаментом из золотой проволоки (рубчатый ободок), так и с зернью.

захваченных мастеров с оседанием их в каких-то отдаленных поселениях. Одним из них мог быть и Каракабак, «спрятанный» в укромном месте, но на трассе Великого Шелкового пути. Через это поселение могли «двигаться» в Европу драгоценные камни (гранаты и др.) из Индии. О возможности производства полихромных изделий в Каракабаке свидетельствует не только зафиксированная нами «варварская» обработка камней. Идентичные по технологии изготовления предметы с перегородчатой инкрустацией и со вставками из альмандина и янтаря мы обнаружили в составе алтынказганских «кладов» [Астафьев, Богданов, 2018, рис. 4, *1*, *2*; 5, *5–8*, *15–18*], которые датируются также в пределах V–VI вв. (про аналогии и датировку см.: [Там же, с. 74–75]). Стоит напомнить, что ритуальный комплекс Алтынказган располагается всего в 18 км от каракабакского поселения. Также очень важным является тот факт, что большинство найденных там золотых и серебряных изделий были сделаны специально для ритуала и не использовались в быту. Идентичность предметов из разных «кладов», а также стилистически единое изображение головок грифонов на пластинах конской узды и парадного пояса из Алтынказгана [Там же, рис. 4, 5] могут объясняться тем, что данные изделия приобретались в одном, вероятно, близко расположенном ремесленном центре, коим и мог быть Каракабак. Самым важным доводом в пользу этого предположения являются материалы, полученные при его раскопках: 1) сотни обрезков медных пластинок, обломков деталей поясной фурнитуры; 2) множество отходов металлургического передела (шлаки, всплески, съемы), являющихся свидетельством формовочного литья, что подтверждено наличием литков и кусочков спекшегося вторичного лома, шлака; 3) несколько десятков кусочков драгоценных и полудрагоценных камней (как обработанных, предназначенных для вставок, так и необработанных), полученных при просеивании грунта с «уличного» пространства поселения и из мусорных отвалов. То есть мы можем предположить, что в Каракабаке могли трудиться мастера византийской школы, снабжавшие предметами «гуннской моды» кочевую элиту Арало-Каспийского региона. О связях с Византией косвенно свидетельствует и медная византийская монета Флавия Аркадия (395–408 гг.), найденная на площади Караганской (Мангышлакской) торговой пристани, которая располагалась в непосредственной близости от Каракабака и активно функционировала в Средневековье [Астафьев, Богданов, 2019, с. 31]. При этом нужно учитывать, что в настоящий момент исследована 1/25 от общей площади этого поселения. Несомненно, последующие раскопки на могильнике и поселении, а также антропологические и естественно-научные исследования (драгоценных камней-вставок, состава металла и др.) позволят получить новые данные, подтверждающие или опровергающие высказанные нами предположения.

Благодарность

Статья подготовлена по плану НИР в рамках Программы XII.186.2.1, проект № 0329-2018-0003.

Список литературы

Алкин С.В. Коллекция из кургана Бома в Северном Притяньшанье: материалы к изучению гунно-сарматского времени в Восточном Туркестане // Алтае-Саянская горная страна и соседние территории в древности. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. – С. 91–100.

Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа V–VII вв. – М.: Наука, 1989. – 134 с.

Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Парадное седло из Алтынказгана // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 4. – С. 72–84.

Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Жертвенные приношения вещей гуннского облика в каменных оградах Алтынказгана, на восточном берегу Каспийского моря // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 2. – С. 68–78.

Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Древний город на Восточном берегу Каспийского моря // STRATUM. – 2019. – № 4. – С. 17–38.

Бажан И.А., Щукин М.Б. К вопросу о возникновении полихромного стиля cloisonné (эпохи Великого переселения народов) // АСГЭ. – 1990. – Вып. 30. – С. 83–96.

Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V–VIII вв. н.э. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1983. – 245 с.

Бернштам А.Н. Кенкольский могильник. – Л.: [б.и.], 1940. – 34 с. + 36 табл. – (Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа; вып. II).

Бернштам А.Н. Находки у оз. Боровое в Казахстане // Сб. МАЭ. – 1951. – Вып. XIII. – С. 216–229.

Бисембаев А.А., Хаванский А.И., Дуйсенгали М.Н., Мамедов А.М., Баиров Н.М., Амелин В.А. Исследование памятников гуннского времени в Актюбинской области в 2018 году (предварительное сообщение) // Археология Казахстана. – 2018. – № 1/2. – С. 235–244.

Богданов Е.С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 240 с.

Бородовский А.П. Украшение полихромного стиля из Новосибирского Приобья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – Т. V. – С. 283–287.

Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунно-сарматы ураловазахстанских степей. – Челябинск: Рифей, 2000. – 265 с.

Волниковский «клад»: Комплекс снаряжения коня и всадника 1-й половины V в. н.э.: каталог коллекции. – М.: Голден-Би, 2014. – 200 с.

Глебов В.П. Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья // Нижневолж. археол. вестн. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 86–104.

Ермолин А.Л. Кроваво-золотой стиль «клуазонне» в ювелирных изделиях Боспора (по материалам некрополя Джурга-Оба) // Боспорский феномен: Искусство на периферии античного мира. – СПб.: Нестор-История, 2009. – С. 70–77.

Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV – V в. н.э.). – СПб.: Эллипс ЛТД, 1994. – 224 с.

Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. Морской Чулек: Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. – 212 с.

Казаков А.А. О восточной границе распространения изделий полихромного стиля // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2017. – № 45. – С. 83–92.

Казанский М.М. Об искусственной деформации черепа у бургундов в эпоху Великого переселения народов // Искусственная деформация головы человека в прошлом Евразии. – М.: ИА РАН, 2006. – С. 127–139. – (OPUS. Междисциплинарные исследования в археологии; вып. 5).

Кожемяко П.Н., Кожомбердиев И. Катакомбное погребение в ущелье Шамси // Археология Центральной Азии: архивные материалы. – Самарканд: Междунар. ин-т центральноазиат. исследований, 2015. – Т. II. – С. 130–157.

Кубарев Г.В. Уздечный набор в полихромном стиле из памятника Аржан-Бугузун (Юго-Восточный Алтай) // Торевтика в древних и средневековых культурах Евразии. – Барнаул: Азбука, 2010. – С. 27–31.

Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья: I тысячелетие до н.э. – I тысячелетие н.э. – М.: Вост. лит., 1996. – 396 с.

Литвинский Б.А. Украшения из могильников Западной Ферганы. – М.: Наука, 1973. – 211 с., 10 л. ил. – (Могильники Западной Ферганы; т. III).

Малашев В.Ю. Позднесарматская культура Южного Приуралья во II–III вв. н.э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2013. – 25 с.

Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV – середине VI в. н.э. – М.: ИА РАН, 2009. – 502 с.

Минасян Р.С., Шаблавина Е.А. О роли технической терминологии в археологической литературе // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2009. – С. 236–261.

Молодин В.И., Чикишева Т.А. Погребение воина IV–V вв. н.э. в Барабе // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. – Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1990. – С. 161–179.

Мошкова М.Г. Женское погребение в кургане 2 из Лебедевского могильного комплекса (раскопки Г.И. Багрикова) // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2009. – С. 99–113.

Симоненко А.В. Заметки о погребальном обряде поздних сарматов Северного Причерноморья // Нижневолж. археол. вестн. – 2011. – Вып. 12. – С. 169–182.

Смирнов К.Ф. Савроматы: Ранняя история и культура сарматов. – М.: Наука, 1964. – 380 с.

Смирнов К.Ф. Раскопки Пашковского могильника № 1 в 1947–1949 гг. – СПб.: Нестор-История, 2016. – Т. 1. – 280 с.

Скрипкин А.С. Сарматы. – Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2017. – 293 с.

Сумин В.А., Евтеева Е.М., Ануфриев Д.Е., Росляков С.Г. Археологические памятники Коченевского района Новосибирской области. – Новосибирск: Науч.-производств. центр по сохранению ист.-культ. наследия Новосиб. обл., 2013. – 272 с.

Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 152 с.

Уманский А.П. Погребение эпохи «Великого переселения народов» на Чарыше // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 129–163.

Фурасьев А.Г. Эпоха Меровингов: орлы Рима и вороны Вотана. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. – 39 с.

Хазанов А.М. Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА. – 1963. – № 4. – С. 58–71.

Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). – СПб.: Филол. ф-т СПб. гос. ун-та, 2005. – 576 с.

Якобсон А.Л. Средневековый Крым: Очерки истории и истории материальной культуры. – М.; Л.: Наука, 1964. – 232 с.

Bona I. Das hunnenreich. – Stuttgart: Theiss, 1991. – 294 S.

Kazanski M. Les tombes des chefs alano-sarmates du IVe siècle dans les steppes pontiques // La noblesse romaine et les chefs barbares du III-e au VII-e siècle. – P.: Condé-sur-Noireau, 1995. – P. 189–205.

Koch A. Boma – ein reiternomadisch-hunnicher Fundkomplex in Nordwestchina // Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. – 2008. – Bd. 50. – S. 59–71.

Kožomberdieva E.I., Kožomberdiev I.K., Kožemjako P.N. Ein Katakombengrab aus der Schlucht Ŝamsi // Eurasia Antiqua. – 1998. – Bd. 4. – S. 451–471.

Материал поступил в редколлегию 28.12.19 г.,
в окончательном варианте – 17.01.20 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.089-096
УДК 902

К.А. Руденко[1], А.В. Бауло[2]
[1]Казанский государственный институт культуры
Оренбургский тракт, 3, Казань, 420059, Россия
E-mail: murziha@mail.ru
[2]Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: bau194@yandex.ru

Металлические изделия из ранее неизвестного могильника в бассейне реки Северная Сосьва (север Западной Сибири)

В статье представлены находки из средневекового могильника, расположенного в бассейне р. Северная Сосьва, близ д. Люликары (Березовский р-н ХМАО – Югры), ранние известия о которой относятся к XIV–XV вв. и связаны с нахождением здесь крупного торгового центра на путях из России в Сибирь. В некотором отдалении от могильника или на покрывающих его отложениях находится средневековое святилище; часть вещей обнаружена в стороне от захоронений и близко от поверхности. В работе приводятся описания находок, их характеристики и изображения. В составе находок из могильника – серебряные и медные украшения, парадная посуда, предметы вооружения (шлем, кольчуги, сабли). Подробно рассматриваются часто встречающиеся на средневековых памятниках севера Западной Сибири серебряные круглые медальоны с изображением всадника – «сокольничего», металлические щитки на запястье руки. В коллекции имеются шумящие подвески арочной формы со вставкой из поделочного камня. С учетом признаков золочения и черни на украшениях, а также характерных элементов оформления выдвинуто предположение о том, что большинство рассматриваемых ювелирных изделий было изготовлено в Прикамье. На основе сравнительного анализа сделан вывод о том, что часть артефактов, в частности, створчатые браслеты, выполнены как подражание или реплики ювелирных изделий Древней Руси конца XII–начала XIII в. В характеристике металлической посуды – фрагменты иранского блюда XII в., фрагментированные кубки, чаши и блюда – отмечено ее сходство с торевтикой Восточной и Западной Европы. По аналогиям и специфическим чертам дизайна рассмотренные предметы датированы XIII в.

Ключевые слова: *Средневековье, Западная Сибирь, могильник, украшения, чернь, скань, зернь, позолота, браслеты, железный шлем, сабля.*

K.A. Rudenko[1] and A.V. Baulo[2]
[1]Kazan State University of Culture and Arts,
Orenburgsky trakt 3, Kazan, 420059, Russia
E-mail: murziha@mail.ru
[2]Institute of Archaeology and Ethnography,
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Pr. Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090, Russia
E-mail: bau194@yandex.ru

Metal Artifacts from a Newly Discovered Cemetery in the Severnaya Sosva Basin, Northwestern Siberia

We describe artifacts from a medieval cemetery near the village of Lyulikary, in the Berezovsky District of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug–Yugra. The village was first mentioned in the 14th to 15th centuries, when it was a major trade center on the route from Russia to Siberia. The place adjoining the cemetery and horizons overlying it relate to a medieval sanctuary. Some artifacts were found apart from the burials, near the surface. They include silver and copper ornaments, ceremonial ware, and weaponry (a helmet, chain-mails, and sabers). We describe round silver pendants representing mounted falconers, and metal shields protecting the wrist. There are also arch-shaped dangle pendants with stone inserts. Because most ornaments are gilded and nielloed, and show typical decorative

© Руденко К.А., Бауло А.В., 2020

elements, we propose that most were manufactured in the Kama area. On the basis of comparative analysis we conclude that certain ornaments, including hinged bracelets, are replicas of the late 12th to early 13th century Russian prototypes. The metal ware includes fragments of a 12th century Iranian dish, fragmented goblets, and dishes, which reveal parallels with Eastern and Western European toreutics. On the basis of these parallels and characteristic features of design, these artifacts date to the 13th century.

Keywords: *Middle Ages, Western Siberia, cemetery, jewelry, niello, filigree, grain, gilding, bracelets, iron helmet, saber.*

Введение

Комплекс предметов, которому посвящена данная статья, был обнаружен летом 2015 г. местными жителями. Точное место его нахождения неизвестно. По весьма скудной информации, комплекс обнаружен на левом берегу р. Северная Сосьва в окрестностях бывшей д. Люликары на территории Березовского р-на Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры. Здесь на узкой хвойной гриве (высота над урезом воды ок. 2 м) располагался могильник с плохо сохранившейся органикой. Возможно, что поодаль от него (скорее, на покрывавших его отложениях) было средневековое святилище, поскольку часть вещей находилась в стороне от захоронений и на небольшой глубине. Именно там почти на поверхности лежали предметы вооружения.

Могильник, скорее всего, относился к Люликарским летним юртам, находившимся на правом берегу Северной Сосьвы, в 5 км ниже от современного пос. Игрим (Березовский р-н ХМАО – Югры). Люликар упоминался в Книге Большого чертежа (середина XVI в.) [Бахрушин, 1935, с. 77]. Люликарские юрты описаны в дневниках Г.Ф. Миллера (1740 г.): «Во времена, когда дорога вдоль р. Сосьвы через Югорские горы на реку Печору и в Россию еще часто использовалась и ею обычно путешествовали также многие торговцы из России в Сибирь… в указанной летней деревне из Березова был учрежден для летнего времени таможенный пост для осмотра путешествующих…» [Сибирь XVIII века…, 1996, с. 238].

Памятник не имеет внешних признаков. Его площадь составляет ориентировочно 100 × 300 м. Судя по местоположению находок, погребения располагались группами, включавшими по три-четыре захоронения. Из информации, полученной от местных жителей, следует, что глубина залегания вещей была небольшая, например браслеты, лежали практически на поверхности. Однако такие предметы, как оружие были «захоронены» значительно глубже. Комплекс составляют железные сабли и топоры, кольчуги, медные котлы, украшения.

Состав находок

I. Изделия из цветного металла.

А. Украшения головы.

1. Венец (рис. 1, *2*) – пластинчатое изделие шириной 2 см. Представлено двумя фрагментами. Лицевая поверхность ровная, чуть выпуклая, по краям с небольшим утолщением. Орнаментальное поле разделено на прямоугольные сектора с гравированным узором. В одном имеется схематическое изображение пары птиц с пышными хвостами, обращенных клювами друг к другу. В остальных – композиция из плетенки, пущенной по периметру рамки и смыкающейся в нескольких местах по широкой стороне вертикальными отрезками. На краях изделия видны следы позолоты. Подобные поделки использовались для украшения древнерусских женских головных уборов в домонгольское время [Сабурова, 1997, с. 107].

Б. Шейные и шейно-нагрудные украшения.

1. Шейный обруч или венец (рис. 1, *1*) – пластинчатое изделие, декорированное гравированным орнаментом с позолотой и чернью. Диаметр сохранившейся части 15 см. Орнаментальные мотивы достаточно просты: стилизованный растительный побег, плетенка и узловые композиции. Рисунок делится вертикальными картушами с орнаментом в виде узлового плетения на несколько секторов с оригинальным орнаментом: в центре – растительный побег, окаймленный сверху и снизу плетенкой, с боков – сложная композиция из переплетающихся ленточек с одинарными узлами, вписанными в кольцо. Практически все мотивы находят аналогии в оформлении древнерусских ювелирных украшений, в частности браслетов-обручей с чернью [Макарова, 1986, с. 88–89, рис. 41, 42, кат. № 225, 232]. Судя по стилизации рисунка, грубости исполнения, калькированию главных композиционных приемов мастеров киевской или владимирской школы, эти изделия изготовлены не ранее конца XII – первой половины XIII в.

2. Медальон бармы, украшенный двумя рельефными ободками по краю, круглый, диаметром 4,3 см (рис. 2, *1*). В центре – гравированное изображение креста с двумя перекладинами, нижняя часть которого трансформируется в два растительных побега. Центральный стержень украшен плохо различимым орнаментом, который напоминает зигзаг или волну. Листья побегов показаны достаточно реалистично. Композиция рисунка такая же, как на древнерусских серебряных медальонах барм XII – начала XIII в. [Там же, с. 108–109, кат. № 297, 307]. Причем стилевая особенность рисунка, воплощенная на рассматриваемом изделии, – «нахлест» крупных лепестков на побег –

Рис. 1. Венец или шейное украшение (*1*), венец (*2*) и пара подвесок (*3*) из цветных металлов.

встречена только на одном медальоне, выполненным во владимирской мастерской в начале XIII в. [Там же, с. 107, кат. № 307]. В подражание этим изделиям выполнен и вышеописанный медальон.

3. Медальоны с изображением всадника, дисковидной формы, диаметром ок. 6 см, с припаянной на оборотной стороне широкой пластиной, которая вверху преобразована в петельку для крепления (3 экз.) (рис. 3). Сюжет на медальонах стандартный – конный всадник в окружении животных, птиц и небесных светил. На двух медальонах рисунок выделен позолотой, а фон чернью (рис. 3, *1*, *2*). В одном случае использована катушечная скань (рис. 3, *1*). Такие изделия были наиболее широко распространены в Предуралье и за Уралом [Белавин, 2000, с. 91–93, рис. 40; Комова, Приступа, 2012, с. 127, кат. № 51, ил. 60]; в настоящее время их известно несколько десятков. Медальоны датируются XII–XIV вв. Такие артефакты подробно исследованы Н.В. Фёдоровой [2014].

4. Брошь или накладка круглой формы, с петелькой на оборотной стороне (не сохранилась) (см. рис. 2, *2*). На лицевой стороне по краям – ажурный декор из позолоченной проволоки в виде рас-

Рис. 2. Медальон (*1*), брошь (*2*), щиток на запястье (*3*) из цветных металлов.

Рис. 3. Медальоны с изображением всадника из цветных металлов.

тительного побега, в центре – 8-лепестковая розетка из тонкой фольги с рельефной детализацией листьев. Середина розетки выделена полусферой. Двухслойные ювелирные изделия приобрели популярность в Восточной Европе в XIII–XIV вв. [Седова, 1981, с. 162, рис. 64, *12*, *13*], хотя приемы их создания, судя по ювелирным украшениям, были известны в XII – начале XIII в. Примерами могут служить хорошо известные украшения из Старорязанского клада 1822 г. [Рыбаков, 1971, с. 21, 30–31, ил. 19, 29, 30]. Накладной сканый узор на нескольких подвесках [Стерлигова, 2017, с. 584, рис. 1–4] практически совпадает с декором описываемого изделия. Технологически сходный декор имеется и на других изделиях с территории Древней Руси, например, на нагрудной иконке с перегородчатой эмалью, вероятно византийского производства первой трети XIII в., из Оружейной палаты [Рыбаков, 1971, с. 25, ил. 22]. По аналогиям данное изделие датируется началом XIII в.

5. Пара подвесок – арочные подвески из белого металла (3 × 4 см) с цилиндрическими привесками на цепочках (см. рис. 1, *3*). Привески высотой 1,5 см и диаметром 1 см сделаны из двух полусферических элементов, которые соединены узкой металлической лентой, скрепленной двойными сканными «веревочками», позолочены и декорированы крупной зернью. В нижней части привески припаян крупный шарик зерни. В нижней части щитка имеются четыре сквозных отверстия, окаймленных сканью, в которых закреплены цепочки.

Основное орнаментальное поле позолочено и оконтурено крупной катушечной сканью, а изнутри – дополнительно тонкой штампованной «псевдосканой» проволокой. В центре расположен каст арочной формы с крупным поделочным камнем насыщенного винного цвета. Основание каста украшено зернью, причем маленький треугольник из зерни венчает эту композицию, а ромбики из зерни дополняют ее в нижних углах. Посередине свободного пространства из штампованной «псевдоскани» выложена арочка, соединенная с внешним и внутренним контурами зерневыми ромбиками.

Такие украшения типичны для пермских древностей с XII в. [Белавин, 2000, с. 88, рис. 37, *7*]. Их реплики встречаются за Уралом на памятниках XII–XIV вв. [Комова, Приступа, 2012, с. 85–88, кат. № 32, ил. 38, *2*; 40, *3*]. Для Прикамья и Зауралья характерны описанные выше привески-бусины [Там же, с. 54–55, кат. № 18, ил. 19, *1*, *2*].

В. Украшения для рук.

1. Щиток на запястье овальной формы, изогнут по форме запястья (см. рис. 2, *3*). На длинных сторонах по краю сделаны парные сквозные отверстия для крепления ремешков. Край артефакта выпуклый. Внешняя поверхность украшена гравированным геометрическим орнаментом. Композиция построена по стандартной схеме: два орнаментальных пояска и центральный медальон, разделенный на два сектора. Основной мотив – плетенка с кольцевыми или близ-

кими к ним по форме звеньями, как дополнительный используется s-видный мотив. Сектора центрального медальона заполнены неровными ромбами, которые благодаря вписанным дуговидным фигурам напоминают чешую.

Разнообразные по декору серебряные щитки, обнаруженные в основном на территории Западной Сибири, имеются в собраниях Государственного Эрмитажа и музеев ЯНАО [Сокровища Приобья…, 2003, с. 70–71, кат. 33, 34; Бауло, 2007; Комова, Приступа, 2012, с. 26–27, кат. 7, ил. 7]. Рассматриваемый щиток относится к сибирской группе таких находок. Судя по ранним прототипам, подобные щитки появились в данном регионе в I тыс. н.э. и бытовали здесь до этнографического времени. Хронология их не разработана. Костяные щитки на запястье использовались в Пермском Прикамье и на территории Волжской Булгарии в XII – начале XIII в., в Булгарской области Золотой Орды во второй половине XIII – XIV вв. [Белавин, 2000, с. 112, рис. 52, *1*, *2*; Руденко, 2005]. Изучаемые щитки, хотя, вероятно, могли защитить запястье от удара тетивы, служили, скорее всего, украшением. По изображению плетенки с кольцевыми звеньями, которое встречается на древнерусских браслетах XII–XIII вв. [Седова, 1981, с. 109, рис. 42, *10*], данное изделие можно отнести к этому времени.

2. Браслеты-обручи двустворчатые шарнирные (3 экз.) (рис. 4). Выполнены в древнерусских традициях [Макарова, 1986, с. 64–99]. Изделия выделяются использованием скани и зерни, а также золочения. В ряде случаев фон рисунка грубо расштрихован. Конструкция изделий и большая часть орнаментальных мотивов (в основном сложные узлы из переплетающихся лент) совпадают с древнерусскими. Близкие по форме вещи встречаются в Западной Сибири, например, в Сайгатинском III могильнике [Комова, Приступа, 2012, с. 80–81, кат. 30, ил. 33, 34; Сокровища Приобья…, 2003, с. 72, кат. 35]. Находки датируются XII–XIV вв. Браслеты-обручи встречаются в Прикамье [Белавин, 2000, с. 102, рис. 45], где, видимо, их изготавливали не ранее конца XII – XIII в.

Рис. 4. Створчатые браслеты из цветных металлов.

Г. Металлическая посуда.

1. Кубок – неглубокий чашевидный сосуд диаметром 20 см, с конической высокой ножкой-поддоном (рис. 5, *1*, *а*). Венчик утолщен. По верхнему краю специальным инструментом типа канфарника нанесен волнистый орнамент, окаймленный двумя прерывистыми линиями. Полоса орнамента в этой части сосуда позолочена. В нижней части ножки-поддона и в широкой части у самого основания также имеется позолоченный орнамент в виде сомкнутых округлых скобок, образованных узкой лентой; в местах соединения скобок изображены цветы, напоминающие лотос с валютовидными листьями и полусферическим соцветием. Между скобами выгравирована заштрихованная позолоченная арочка. На чаше и ножке-поддоне имеются следы чернения.

С оборотной стороны на ножке-поддоне процарапана древнерусская надпись (рис. 5, *1*, *б*). Она может

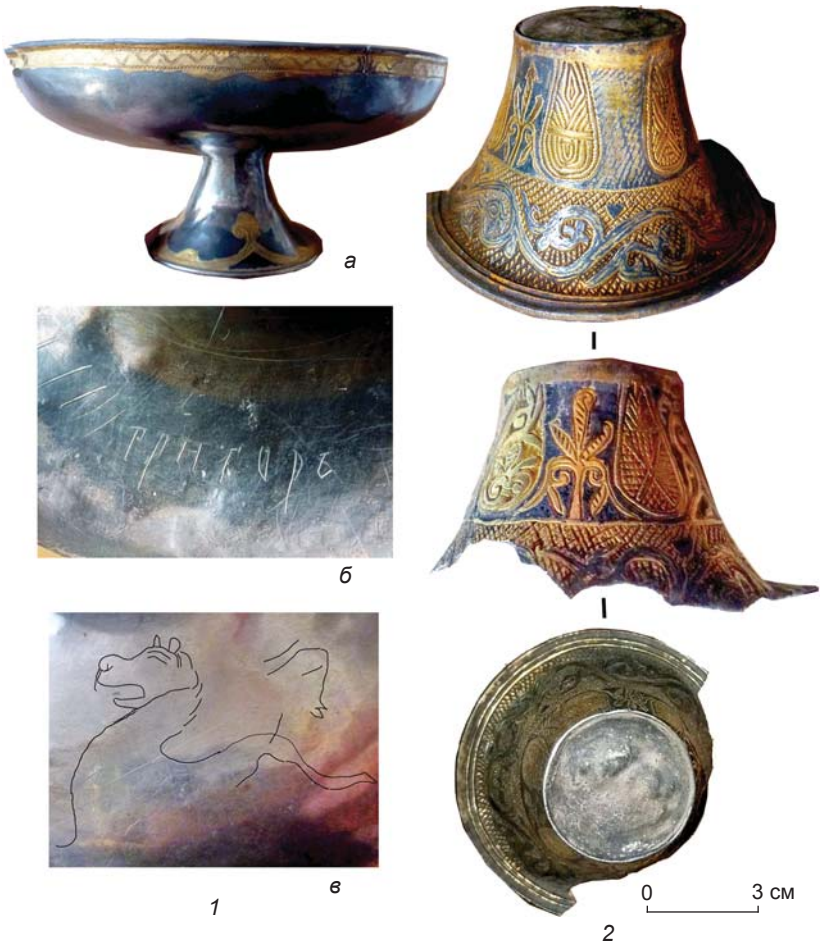

Рис. 5. Кубки из цветных металлов.
1 – кубок № 1: *а* – общий вид, *б* – часть надписи со словом «Григорь» и насечками на оборотной стороне ножки-поддона, *в* – прорисовка рисунка на ножке-поддоне; *2* – ножка-поддон кубка № 2.

читаться так: «Григорь. Гри(венъ) поло чотве(рте)»*, т.е. 3,5 гривны. Рядом с ней – ряд насечек, обозначающих, скорее всего, число 17½. Это половина от числа 35, которое зафиксировано в буквенной форме.

На поддоне уже на севере Западной Сибири было выгравировано крупное изображение мифического животного с львинообразной головой и, возможно, крыльями (рис. 5, *1*, *в*). С учетом этого можно утверждать, что кубок использовался местным сибирским населением в качестве культового атрибута.

Форма кубка достаточно стандартна, широко распространена в европейской и византийской торевтике XI–XIV вв. Аналогичные по форме изделия имеются среди новгородской деревянной посуды конца XI – XIII в. [Розенфельдт, 1997, с. 45, 280, табл. 34, *14–16*].

2. Ножка-поддон кубка (?) (рис. 5, *2*). Имеет коническую форму, украшена гравированным орнаментом с использованием черни и позолоты. Рисунки распределяются по двум уровням. В верхнем на гладком черненом фоне помещены чередующиеся позолоченные миндалевидные медальоны, заполненные стилизованным рисунком. Между ними располагаются крестовидные фигуры, в композиции которых явственно проявляются мотивы трилистника. Последние обнаруживают поразительное сходство с декором ряда древнерусских браслетов конца XII – начала XIII в. [Макарова, 1986, с. 81, рис. 38, № 224]. Техника обработки фона глубокой перекрестной штриховкой также совпадает с таковой на древнерусских браслетах.

Нижний ярус украшен изображением растительного побега, рельефный контур которого, подчеркнутый чернью, отчетливо проявляется на расштрихованном позолоченном фоне. Некоторые мелкие детали, например миниатюрное сердечко взамен традиционного выступа на изгибе стебля в месте крепления его отростка или дополнительный трилистник в завитке стебелька, являются оригинальными.

3. Чаша с поддоном полусферической формы, глубокая, с кольцевым поддоном (рис. 6, *1*). Изнутри на дне выгравирована 8-лучевая узколепестковая розетка на канфарном фоне. Рисунок позолочен. Прототипом данного сосуда могут быть деревянные чаши XII–XIII вв. [Розенфельдт, 1997, с. 278, табл. 32, *25*]. Форма таких чаш из металла тиражировалась на Востоке в XIII–XIV вв. [Художественная культура…, 2012, с. 277, рис. 5]. Мотив многолучевой розетки широко распространен в торевтике и не имеет территориальной или культурной привязки.

4. Блюдо (?) плоское, круглое, декорированное псевдоложковым орнаментом (рис. 6, *3*). В центре в круглом медальоне изображена сложная геометрическая композиция из переплетающихся узких полосок, построенная на основе квадрата и звезды. Аналогии ей имеются в восточной торевтике, в основном иранского происхождения XII в. [Baer, 1983, p. 130, fig. 108]. Судя по стилю оформления и орнаменту, это иранское изделие XII в.

---

*Вариант прочтения предложен чл.-корр. РАН А.А. Гиппиусом (Институт славяноведения РАН), который относит надпись предположительно к XII в. Авторы выражают ему глубокую благодарность.

Рис. 6. Чаша (*1*) и блюда (*2–5*) из цветных металлов.

5. Блюдо ложчатое (?), диаметром ок. 30 см, с широким краем. На крае имеются арабографичные надписи и круглые миниатюрные медальоны, в которые вписаны 8-лепестковые розетки с округлыми лепестками (рис. 6, *2*). Фон медальонов зачернен. Дно блюда сделано в виде розетки с глубокими ложками. Близкое по стилю блюдо найдено на городище Барсов Городок близ Сургута и датировано XIII в. [Сокровища Приобья…, 2003, кат. 31]. Оформление дна блюда в виде розетки характерно для художественных изделий из металла, которые изготавливались во многих мусульманских странах в XIII в. [Художественная культура…, 2012, с. 80, ил. XXII].

6. Блюдо плоское, с широким отогнутым бортом (рис. 6, *5*). В центре – круглый медальон с гравированным изображением 8-лепестковой розетки на черневом фоне. Медальон окружают три треугольника со стилизованным растительным побегом на зачерненном фоне.

7. Блюдо круглое, ложчатое, диаметром 20 см фрагментированное, нашито на ткань (рис. 6, *4*, *а*). На дне изделия имеется рисунок-палимпсест (рис. 6, *4*, *б*) – изображение человека. Использовалось как культовый предмет.

II. Изделия из железа.

А. Защитное вооружение.

1. Шлем сфероконической формы, с высоким навершием, имеющим шаровидное утолщение посередине и заканчивающимся шпилем петелькой с кольцом для бунчука (?) (рис. 7, *2*). Корпус шлема куполовидной формы. В его нижней части на лицевой стороне имеются наносник и окологлазные выкружки. Вероятно, у шлема была бармица. Шлемы этого типа более характерны для кочевников восточно-европейских степей домонгольского времени, хотя встречаются и в южно-русских землях [Кирпичников, Медведев, 1985, с. 316]. Шлемы, близкие по конструкции к рассматриваемому изделию, представлены в коллекции Государственного Эрмитажа: находки из местности у с. Никольского Орловской губ. и у с. Тангача Киевской обл., да-

Рис. 7. Клинок сабли (*1*), шлем (*2*) и кольчуга (*3*) из железа.

тированные первой половиной XIII в. [Там же, с. 356, табл. 142, *2*, *3*; Кирпичников, 2009, с. 59, рис. 41].

2. Кольчуги (3 экз.) сохранились в виде бесформенных окисленных массивов (рис. 7, *3*). Скорее всего, они были свернуты при совершении погребальных обрядов.

Б. Наступательное вооружение.

1. Сабля со слабоизогнутым клинком, долом и заостренным окончанием (рис. 7, *1*). Сабли такого типа известны в Древней Руси XII–XIII вв. [Кирпичников, Медведев, 1985, с. 335, табл. 123, *4*]. Более ранние образцы встречены в Зауралье, например, на Сайгатинском VI могильнике X–XI вв. [Сургутский краеведческий музей…, 2011, с. 67, 125, кат. 131].

Заключение

Большая часть предметов из Сосьвинского могильника относится к XIII в., скорее всего, ко второй его половине. Ювелирные украшения и некоторые другие предметы изготавливали либо по образцам, либо как подражания древнерусским изделиям в Прикамье. Об этом свидетельствуют следы использования таких характерных для данного региона приемов декорирования, как золочение и чернение. Не исключено, что в подобном стиле создавали изделия древнерусские ювелиры, перебравшиеся после монгольского нашествия в Прикамье. Подражаниями и имитациями, выполненными в Прикамье, является и практически вся металлическая посуда из рассматриваемого могильника. Считать последнюю продукцией булгарских мастеров, судя по характерным чертам булгарского ювелирного искусства [Руденко, 2015], вряд ли возможно.

Оригинальных импортных вещей немного. Это иранская чаша XII в., а также защитное и наступательное вооружение «степного» облика, попавшие за Урал, видимо, благодаря русским купцам. О деятельности последних свидетельствует русская надпись на одном из сосудов.

Не зная всех обстоятельств обнаружения предметов, мы не можем определить, какие вещи принадлежали погребенным, а какие являлись атрибутами святилища. К предметам, вошедшим в религиозно-обрядовую практику местного сибирского населения, с уверенностью можно отнести кубок (см. рис. 5, *1*) и блюдо (см. рис. 6, *4*), на которых представлены северные граффити.

Список литературы

Бауло А.В. Средневековые изделия из серебра на севере Западной Сибири: новые находки // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 1. – С. 145–150.

Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв. – Л.: Изд-во Ин-та народов Севера, 1935. – 92 с.

Белавин А.М. Камский торговый путь: Средневековое Предуралье в его экономических и этнокультурных связях. – Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2000. – 195 с.

Кирпичников А.Н. Раннесредневековые золоченые шлемы. Новые находки и наблюдения. – СПб.: Вести, 2009. – 68 с.

Кирпичников А.Н., Медведев А.Ф. Вооружение // Древняя Русь. Город, замок, село / отв. ред. Б.А. Колчин. – М.: Наука, 1985. – С. 298–363.

Комова Н.Г., Приступа О.И. Серебро Древней Югры: каталог. – Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Баско, 2012. – 140 с.

Макарова Т.И. Черневое дело древней Руси. – М.: Наука, 1986. – 156 с.

Розенфельдт Р.Л. Бытовые изделия: деревянная тара и посуда // Древняя Русь: быт и культура / отв. ред. Б.А. Колчин, Т.И. Макарова. – М.: Наука, 1997. – С. 43–46.

Руденко К.А. Защитные пластины Предуралья и Зауралья // Finno-Ugrica. – 2005. – № 1 (7/8). – С. 27–35.

Руденко К.А. Булгарское серебро. Древности Биляра. – Казань: Заман, 2015. – Т. II. – 528 с.

Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X–XIII веков. – Л.: Аврора, 1971. – 128 с.

Сабурова М.А. Реконструкция одежды // Древняя Русь: быт и культура / отв. ред. Б.А. Колчин, Т.И. Макарова. – М.: Наука, 1997. – С. 106–109.

Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). – М.: Наука, 1981. – 196 с.

Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера // История Сибири. Первоисточники. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 1996. – Вып. VI. – 310 с.

Сокровища Приобья. Западная Сибирь на торговых путях средневековья: каталог выставки. – Салехард; СПб.: Славия, 2003. – 96 с.

Стерлигова И.А. «Колты» из Старорязанского клада 1822 года: драгоценности рязанской княгини или царицы небесной? // В камне и бронзе: Сб. ст. в честь А. Песковой / отв. ред. А.Е. Мусин. – СПб.: Невская кн. тип., 2017. – С. 583–594. – (Тр. ИИМК РАН; т. XLVIII).

Сургутский краеведческий музей. Археологическое собрание: каталог / отв. ред. М.Ю. Селянина. – Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2011. – 152 с.

Фёдорова Н.В. Справа от солнца, слева от месяца: бляхи с сокольничим (Предуралье и Западная Сибирь, эпоха средневековья) // Археология Арктики. – Екатеринбург: Деловая пресса, 2014. – Вып. 2. – С. 162–174.

Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX–XV веков. – Самарканд; Ташкент: Международ. ин-т Центральноазиатских исследований, 2012. – Т. III: Торевтика / науч. ред. К. Байпаков, Ш. Пидаев, А. Хакимов. – 296 с.

Baer E. Metalwork in Medieval Islamic Art. – N. Y.: State Univ. of New York Press: Albany, 1983. – 372 p.

Материал поступил в редколлегию 08.11.19 г.

ЭТНОГРАФИЯ

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.097-105
УДК 902/904+91

Л.А. Беляев[1], Я. Чехановец[2]
[1]Институт археологии РАН
ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия
Томский государственный университет
пр. Ленина, 34, Томск, 634050, Россия
E-mail: labeliaev@bk.ru
[2]Управление древностей Израиля
Israel Antiquities Authority
P.O.B. 586, Jerusalem, 91004, Israel
E-mail: yanatchk@gmail.com

Этноархеология русских в Сиро-Палестинском регионе. XVIII–XIX века

Статья посвящена характеристике нового направления в науке России и Израиля – археологии русского присутствия, изучающей культурное, этническое и геополитическое взаимодействие Российской империи с населением Ближнего Востока (Сиро-Палестинский регион) в середине XIX – начале XX в. В это время сложилось социокультурное явление, получившее название Русской Палестины. Многие тысячи православных христиан из России (в т.ч. из восточных областей, Сибири) отправлялись ежегодно в Святую Землю. Длительное пребывание русских в Оттоманской Палестине, где Россия владела десятками земельных участков, оставило глубокий след в местной культуре. Важное свидетельство взаимодействия – археологические комплексы, связанные с русскими землями и с точками паломнических поездок. В статье представлены сведения об открытых в последние годы русских владениях в Иерусалиме XIX в., обнаруженных остатках зданий с их инфраструктурой на участках Русского и Вениаминовского подворий, Русского городка за Яффскими воротами. Рассмотрены широко распространенные свидетельства русского присутствия: многочисленные объекты лапидарной эпиграфики XVIII–XIX вв., бытовые предметы, оставленные первыми русскими миссионерами, маленькие кладбища и отдельные погребения (иногда крайне интересные, как погребение русской паломницы в Акелдаме, Иерусалим). Описана удивительная находка из Акелдамы – семейный синодик, отпечатанный в московской типографии. Среди надписей отмечены как профессионально выполненные в монументальном стиле, так и обычные молитвенные граффити. Одна надпись позволила уточнить дату начала путешествия черниговских монахов в Константинополь и Палестину, описание которого составил Сильвестр (Диканский).

Ключевые слова: *историческая археология, паломничество, кладбища, Иерусалим, Иерихон, культурные контакты.*

L.A. Belyaev[1] and Y. Tchekhanovets[2]
[1]Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences,
Dm. Ulyanova 19, Moscow, 117292, Russia
Tomsk State University,
Pr. Lenina 34, Tomsk, 634050, Russia
E-mail: labeliaev@bk.ru
[2]Israel Antiquities Authority,
P.O.B. 586, Jerusalem, 91004, Israel
E-mail: yanatchk@gmail.com

The Ethnoarchaeology of Russians in the Syro-Palestinian Region (18th–19th Centuries)

This study belongs to a new archaeological subdiscipline in Russian and Israeli research—the archaeology of Russian presence, addressing cultural, ethnic, and geopolitical contacts between the Russian Empire and the Near Eastern, specifically Syro-Palestinian, population in the mid-19th to early 20th centuries. This was the time when a new sociocultural entity emerged, known as Russian Palestine. Many thousands of Orthodox Christians from Russia (including Siberia) traveled to the Holy Land each year. A prolonged

© Беляев Л.А., Чехановец Я., 2020

Russian residence in the Ottoman part of Palestine, where Russia owned dozens of estates, had a profound impact on Palestinian culture. Important evidence thereof are archaeological sites relating to Russian estates and pilgrimage centers. This article provides information on newly discovered Russian estates in 19th century Jerusalem, remains of buildings with their infrastructure at the Russian and Benjamin's estates, and the Russian Compound outside the Jaffa Gate. Evidence of the Russian presence include numerous 18th–19th century lapidary inscriptions, utensils left by the first Russian missionaries, small cemeteries, and separate burials (some of them very interesting, such as the burial of a Russian pilgrimess at Akeldama, Jerusalem). One find is unusual—a family synodikon from Aceldama, printed in Moscow. Among the inscriptions are professional ones, made in the monumental style, and usual prayer graffiti. One inscription has allowed us to determine the date of the pilgrimage to Constantinople and Palestine by the Chernigov monks, described by Sylvester (Dikansky).

Keywords: *Historical archaeology, pilgrimage, cemeteries, Jerusalem, Jericho, cultural contacts.*

Введение: археология временного присутствия

В области взаимодействия культур есть направление, которое занимает обособленную позицию, в силу чего не всегда учитывается при анализе кросскультурных отношений на археологическом материале. Это археология присутствия на чужой территории во время путешествий, будь они научно-географические или паломнические. Следы такого присутствия фиксируют в лучшем случае на уровне обнаружения не свойственных местной культуре артефактов при раскопках, а также опосредованно – например, по распространению особых паломнических предметов и своеобразной иконографии, связанной с той или иной реликвией (характерный пример: пряжки-значки паломников позднего Средневековья в Европе; см. известный каталог [Spencer, 1998] и современную базу данных Университета Неймегена (http://www.kunera.nl/Default.aspx)). Хорошо известны и примеры целенаправленного структурирования местной среды в ответ на массовое паломничество, такие как развитие определенных областей производства (индустрия «сувениров» и евлогий, простых массовых или очень сложных (например, вифлеемские модели храма Гроба Господня XVII–XVIII вв.)); аккумулирование продуктов питания и объектов бытового комфорта, а также создание пространственных инфраструктурных объектов (дорог, архитектурных сооружений – укрытий, гостиниц и т.п.) или трансформация ранее существовавших видов построек (известный пример – складывание подвида «паломнических церквей» в романо-готической архитектуре Европы). Наконец, путешественники и паломники, умирая на чужбине, оставляли погребения, оформленные нетипично для местных кладбищ (например, христианское кладбище Галаты [Düll, 1989; Düll, Luttrell, Keen, 1991]).

По сути дела, паломничество и познавательно-развлекательное путешествие представляют одну из форм освоения, колонизации. Их продолжением часто становятся инокультурные сеттльменты и иные поселения иноземцев, типа иноземных слобод в Москве XVII в., Галаты в Стамбуле и Русского городка в Иерусалиме, оказывающие сильное воздействие на локальную культуру. Это одна из важных форм обмена, фиксируемая в т.ч. и археологически (о паломничествах как явлении см.: [Sumption, 2002; Pilgrimage…, 1995, Reframing Pilgrimage…, 2005]). Цель статьи – указать на возможности развития археологии русского присутствия на Святой Земле и первые шаги в этом направлении.

Русская Палестина: этноархеологическая версия

Прежде всего следует отметить отчасти архаический (учитывая архаику самого явления массового паломничества к святым местам), отчасти чрезвычайно современный (если не футуристический) характер русского движения в Палестину. В истории России складывание представлений о землях, на которых происходили библейские и евангельские события, было исключительно важным процессом, не вполне совпавшим с аналогичным ментальным развитием у христианских народов Запада. Интерес русских книжников (в широком понимании слова – и писателей, и читателей) к Святой Земле был исключительно силен, что долго выражалось не столько в развитии реального движения, сколько в любви к паломнической литературе – и собственной, и переводной. Речь идет о «хождениях» и иных формах описания сакральной географии и топографии. По сути дела, жители Московской Руси (крестьяне, горожане, служилые люди) представляли Палестину (во всяком случае, ее анагогический образ) гораздо лучше, чем общую географию своего государства и окрестных земель [Федорова, 2014, с. 62–71, 165–193].

В XVIII в. земли Османской империи стали доступнее для посещения европейцами. После реформ Петра I несколько возросла и мобильность жителей Российской империи. Посещения Святой Земли стали более частыми, что породило новую волну «хождений», постепенно превращавшихся в путевые записки, дневники и другие формы описания путешествий, как научные, так и литературные. Средневековое тяготение к святым местам, характерное любопытство европейского ориентализма и политическая

необходимость породили явление, которое называют Русской Палестиной, соединяя в одном понятии ментальное с практическим продвижением в Сиро-Палестинский регион (основные вехи развития процесса см.: [Великий князь…, 2011]). На протяжении примерно полувека (1860–1910-е гг.) паломническое движение из России обрело массовый характер. Одно это уже готовило почву для мощного культурного взаимодействия.

Поддержка движения со стороны государства и общества, которые отчасти его формировали и стремились использовать как своеобразный инструмент внешней политики, придала ему системно отстроенную, централизованную структуру, настолько стабильную, что ее оказалось возможным удержать от окончательного распада, хотя и со значительными потерями, в течение примерно столетия (недаром главными акторами были не только Министерство иностранных дел, но и Русская духовная миссия, а также особая общественная организация, по сути, тоже государственная – Императорское православное палестинское общество; подробнее см.: [Россия…, 2000]). Следы происходившего взаимодействия можно было до недавнего времени обнаружить в быту арабских поселков и городов: здесь широко пользовались русскими самоварами, серебряные монеты последних российских царей включали в ожерелья и браслеты, на столах стоял фарфор русских заводов. Все это встречается и сейчас, но в основном как предметы антикварной торговли. Русский вклад XIX – начала XX в. сохранился и в виде учебных книг, в графике журналов того времени, до известной степени все еще заменявшей репортерам раннюю фотографию, которая, конечно, и сама показывает современное ей русское присутствие (рис. 1). Но в целом сегодня ситуация уже иная: в арабских поселениях помнят дореволюционных русских в основном по рассказам бабушек и прабабушек, русская инфраструктура из реально работающего механизма превратилась в более или менее сохраняемое наследие. Очень многие элементы забыты до такой степени, что актуализировать воспоминания об их существовании можно только с помощью археологии [Беляев, 2019].

Хотя законодательство Израиля не признает археологическими объекты, появившиеся позже 1700 г. (закон о древностях был принят в 1978 г.), общий тренд к омоложению археологии в мире требует включить в ее рамки памятники позднего оттоманского периода, Первой мировой войны и даже Британского мандата (1917–1948). Тем более, что именно они, как лежащие выше других, подвергаются деструкции при любых раскопках и должны восприниматься как равнозначные иным историческим свидетельствам, будь то объекты городской или сельской археологии (примеры: [Arbel, 2014; Ottoman Jaffa…, 2017; Re'em, 2010; Finkielsztejn, Nagar, Bilig, 2009; Re'em, Forestani, 2017; Re'em, 2018b; Tsuk, Bordowicz, Taxel, 2016; Taxel, 2017; Peretz, 2017; Zilberstein, Shatil, 2013]). В современном российском законодательстве порогом археологии признан 100-летний рубеж, что позволяет рассматривать любые дореволюционные объекты как археологические.

Рис. 1. Русские паломники у церковной лавки в Иерусалиме. Гравюра конца XIX в.

Чрезвычайно характерный пример в области «археологии русских» – находка 2018 г. в районе Иерусалима, известном как Мусрара (к северу от стен Старого города, вблизи французского комплекса Нотр-Дам). После начала работ по строительному освоению давно заброшенного участка сотрудники Управления древностей Израиля вполне ожидаемо обнаружили слои византийского и арабского периодов. Их перекрывал фундамент более позднего (не ранее XIX в.) здания с несомненно европейской планировкой. Идентифицировать его оказалось непросто – до начала работ у исследователей не было сведений о его существовании. Обращение к архивам выявило на фотографиях начала XX в. трехэтажный дом характерной архитектуры. На карте времен Британского мандата он назван неопределенно: District Offices. Подробный план, напечатанный в 1895 г. К. Шиком, главным архитектором Иерусалима второй половины XIX в., позволил опознать здание, обозначенное как «Wohnung der russischen Konsulats beamten». Ситуация прояснилась: археологи нечаянно открыли одно из русских

владений в Иерусалиме XIX в., определив и тогдашнее название: участок Хомси у Новых ворот (3 436 м^2), на котором был выстроен жилой дом для сотрудников русского консульства. Неопубликованные прежде документы отражают длительную служебную переписку, процесс оформления постройки и иные мытарства в турецких и русских канцеляриях. Необходимый для чиновников Русского генерального консульства дом был выстроен, но, не простояв и века, разобран при не вполне выясненных обстоятельствах [Чехановец, Вах, 2019; Вах, 2018].

В последние годы в ходе работ по освоению обширной зоны в Иерусалиме, в прошлом целиком принадлежавшей к Русскому городку за Яффскими воротами, центру русского паломнического движения в Оттоманской Палестине, обнаружены остатки и других зданий последней трети XIX в. с их инфраструктурой (цистернами и каналами), следами строительных площадок (каменоломни, печи для обжига извести) и т.п. Подобные элементы инфраструктуры на участке Русского подворья открыты раскопками 2015–2017 гг. [Tchekhanovets, Arviv, Vach, in press]; более ограниченный по объему материал выявлен на Вениаминовском подворье [Kagan, 2011]. Наряду с архивными данными, эти находки фиксируют развитие города, демонстрируя срастание европейских и местных элементов, очевидное культурное взаимодействие.

Приведенные примеры археологии русского присутствия строго локализованы. Их дополняют широко распространенные свидетельства, так сказать, массовый материал. В первую очередь это эпиграфика: надписи паломников, частью совершенно особые, уникальные, выполненные в монументальном стиле, и обычные молитвенные граффити, которые оставлял чуть ли не каждый. Ранние надписи охотно ищут и публикуют, делая порой поразительные открытия. Так, первые русские надписи в Святой Земле относятся к XII в., они обнаружены в храме Рождества в Вифлееме [Артамонов, Гиппиус, Зайцев, 2013]. Но такая «спонтанная» эпиграфика XVIII–XIX вв. практически не изучена, хотя и она по-своему информативна. Специалисты Управления древностей Израиля ведут работу по фотофиксации надписей как в храме Гроба Господня, так и в монастырях Старого города. Уже составлены объемные подборки фотографий, пока в основном не прочтенных (первая попытка публикации: [Беляев, Вах, 2019])*.

В Архангельском монастыре сосредоточены десятки русских и других славянских, а также румынских и греческих надписей. Он десятилетиями служил местом остановки православных групп, своего рода карантином для иноземцев. В его кельях располагалась и первая Русская духовная миссия до того, как был построен Русский городок за Яффскими воротами. Тексты служат важным дополнением к малоизвестным «хождениям», у них одни и те же авторы. Интересны как явление и монументальные формы эпиграфов в память о том или ином посещении, вполне профессионально выполненных, видимо, по заказу, оплаченному самим паломником. Некоторые записи, напротив, выглядят небрежно, но при этом нанесены на специально затесанные поля-«ковчеги» (надписи паломников Ивана Биризовского из Воронежа и Ивана Дорохова из курского села Куденицыно, 1857 г.) [Там же, с. 96–97] (рис. 2). Такова самая ранняя из отмеченных пока в монастыре надпись 1720 г. в одной из келий, повествующая о том, как «приходили зде[сь] на поклонение гробу Г(ос)п(о)дню з малои росии черниговской діѡцезии еромонахи силвестр и никодим рихловской» [Там же, с. 96]. Сильвестр и Никодим, монахи Рыхловского Николаевского монастыря, совершили путешествие в Константинополь и Палестину. В 1728 г. Сильвестр (Диканский) составил его описание, известное в двух списках (часть одного издана в 1883 г., а полная авторская рукопись хранится в библиотеке Томского государственного университета и готовится к публикации [Описание…, 1883; Славяно-русские рукописи…, 2009; Путник…, 1728]). До сих пор думали, что путешествие черниговских монахов началось в 1722 г., но на самом деле это, видимо, год возвращения.

Среди выдающихся надписей вне Иерусалима уже отмечено значимое в культурно-историческом отношении латинское граффито, оставленное епископом Порфирием (Успенским), основателем Русской духовной миссии в Иерусалиме, на важном перекрестке Синая [Чехановец, 2018]. Наряду с такими сложными источниками, как крупные здания, городская инфраструктура и строительные площадки, массовый археологический материал (в традиционном понимании) четко обозначает русское присутствие в Палестине. Его оставили первые русские миссионеры на русских участках в Иерихоне, Хевроне и других местах (рис. 3). Это мелкие предметы из стекла, в основном аптечные сосуды, использовавшиеся для святой воды Иордана и других почитаемых источников или для освященного елея, а также, видимо, просто из русских больниц. Фрагменты и целые изделия недавно найдены при раскопках в храме Воскресения Христова [Avni, Seligman, 2003] и Городе Давида (раскопки 2018 г.), причем сюжеты и иконография евангельских сцен, схожая с евлогиями византийской Палестины, демонстрируют устойчивость паломнических практик. К этой группе примыкают фрагменты лампад.

---

*Российские и израильские археологи только приступили к систематическому совместному изучению таких надписей. Приносим искреннюю благодарность Е. Кагану, куратору объектов Старого города, щедро поделившемуся с нами накопленным материалом.

Рис. 2. Памятная надпись Ивана Биризовского и Ивана Дорохова. 1857 г. Иерусалим, двор Архангельского монастыря (*фото авторов*).

Как свидетельство переноса культурных традиций можно воспринимать уже упомянутые менее специфические предметы: бытовой фарфор, детали самоваров, других кухонных приборов. Они многочисленны, например в слоях русских владений в Иерихоне, и делают далекий город византийского и более ранних периодов правомерным сюжетом исторической археологии и России, и Палестины. Это затрагивает не только мир вещей, но и пространство ономастики, где укоренилось понятие «Москобийе», относимое местным населением к любым русским участкам, а в научной лексике – такое устойчивое понятие, как Russian mosaics (т.е. византийские мозаики, найденные на русских землях [Беляев, 2016, с. 47–82]).

Не всем паломникам и путешественникам удавалось вернуться на родину, закономерной формой фиксации их присутствия становятся погребения и маленькие русские кладбища, ясно рисующие первый этап освоения участков. Такое кладбище 1880-х гг. из четырех отмеченных надгробиями могил есть, например, на участке в Иерихоне, который куплен в 1883 г. афонским иеромонахом Иоасафом (Иваном Кирилловичем Плехановым) с целью создать Троице-Михайловский монастырь. Все плиты имеют знаки креста, но надписи есть только на двух: под одной погребена русская женщина, пожертвовавшая деньги на покупку участка, – Елена Игнатьевна Резниченкова, в схиме Евлампия, 08.08.1885 (рис. 4, *а*); под другой, с надписью «Наталія. 1883 г. НОЕМ 6», – неизвестная. Дневник архимандрита Антонина (Капустина), основателя паломнического приюта в Иерихоне, донес до нас историю смерти паломницы с таким же именем, но умершей годом позже: Наталия Ив. Елунгкова, дочь почетного гражданина, в 45 лет скончалась 21.06.1884 г. от гангрены, пожертвовав 30 000 руб. на развитие русских участков и другие дела благочестия.

Рис. 3. Предметы второй половины XIX в. с участка Музейно-паркового комплекса РФ в Иерихоне (по: [Беляев, 2016]).
а – фарфор и стекло; *б* – металл и керамика.

Что касается отдельных погребений, то среди них есть весьма экзотические. На Антониновском участке в Иерихоне оказалась могила (во всяком случае, надгробный камень) видного путешественника-ориенталиста и врача Фридриха Моока (29.09.1844–13.12.1880), родом из Бад-Бергцаберна (Пфальц), утонувшего в Иордане во время известной экспедиции другого немецкого путешественника по Востоку, Эмиля Рибека (в Иерихоне, видимо, не оказалось другого участка церковной земли для христианина). Это важный пример своеобразной сплоченности христиан-европейцев, питательной среды культурного обмена (рис. 4, *б*).

Еще удивительнее находка из евангельской Акелдамы (Мф 27: 6–8) в юго-восточной части Енномовой долины (также «село Скудельничье» и «земля горшечника»). Это урочище с высеченными в склонах погребальными пещерами с римского времени вошло в систему окружавших Иерусалим кладбищ, в византийское время стало также пристанищем от-

Рис. 4. Надгробия на участке Музейно-паркового комплекса РФ в Иерихоне.

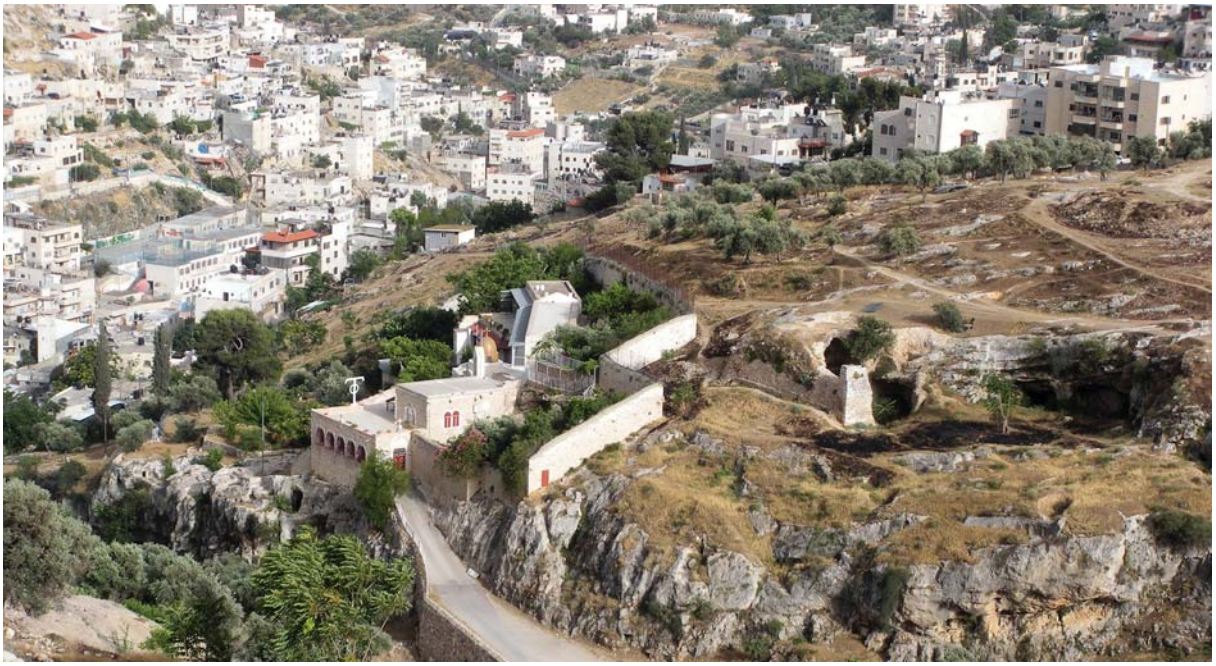

Рис. 5. Район древних кладбищ Акелдама в Иерусалиме (по: [Реэм, Чехановец, 2019]).

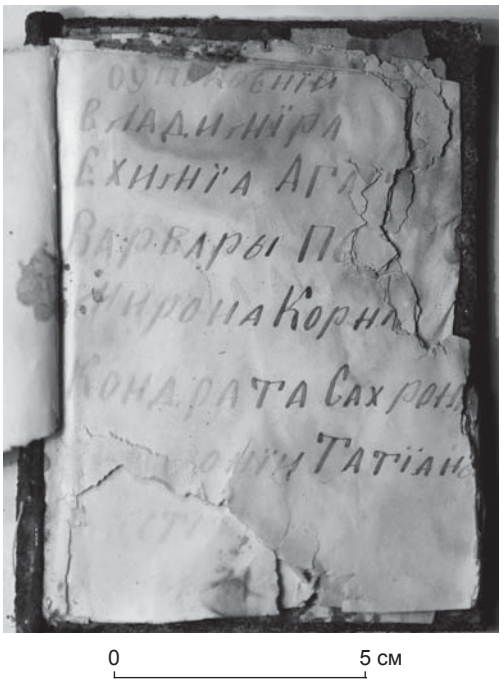

Рис. 6. Страница помянника, принадлежавшего русской паломнице Галушкиной, погребенной в 1910-х гг. на кладбище монастыря св. Онуфрия Великого (по: [Реэм, Чехановец, 2019]).

шельников, в эпоху Средневековья – местом массового погребения паломников [Re'em, 2018a, p. 153–154] (рис. 5). Акелдама упомянута буквально всеми писавшими об Иерусалиме, включая игумена Даниила в 1106–1108 гг. [Житие...], ее почитаемую землю вывозили в Европу кораблями (предполагалось, что она обеспечивает быстрый распад тканей, но не вызывает процессов гниения) [Bodner, 2015]. В начале XIV в. в Акелдаме построили костницу с 15 проемами в крыше для спуска вниз тел; накопившиеся кости затем хоронили в пещерах греческого монастыря св. Онуфрия Великого (возобновлен в 1892 г.). В описаниях всегда подчеркивается иноземный состав погребавшихся [Хождение...]. Хоронили и служили панихиды здесь до XIX в. [Tobler, 1854, p. 274; Conder, 1881, p. 271; Леонид (Кавелин), 2008, с. 215]. Реставрационные работы 2002 и 2011 гг. показали достоверность описаний и позволили рассчитать вместимость костницы (почти 13 000 тел, ср.: [Проскинитарий…, 1889, с. 181–183]. Скелеты в ней не обнаружены, но в 2010 г. была изучена одна из пещер монастыря, заполненная вторично захороненными костными останками сотен людей, в основном взрослых мужчин. Среди немногих женских скелетов оказался один с обрывками одеяния и книжечкой в переплете с металлической крышкой – семейным синодиком, поминальной записной книжкой, отпечатанной в типографии Вильде в Москве. Помянник принадлежал паломнице Галушкиной (рис. 6). Ее точное происхождение пока не установлено, хотя женщина с такой фамилией упоминается в дневнике о. Антонина (Капустина) [Реэм, Чехановец, 2019]. Галушкина (или Голушкина), видимо, происходила из Южной России и принадлежала к простому сословию (крестьянка?) – как известно, массовость паломнического движения обеспечили именно крестьяне и жители городских окраин от западных границ Российской империи до Сибири (для «сибирников» хождение и осмысление феномена Русской Палестины вообще стало одним из путей формирования идентичности [Валитов, 2019; Валитов, Кибардина, 2019]; тема сейчас разрабатывается группой ученых Омского университета под руководством М.С. Шаповалова).

Заключение: все в будущем

Вопрос о русском присутствии в Палестине активно изучают с последней четверти XX в., но не на уровне «диалога культур». Выявить его позволяет не что иное, как поздняя археология. Даже утраченные русские участки сохраняют в глазах местных жителей и ученых определенную связь с Россией, чему способствует сохранение большей части возведенных на них в XIX – начале XX в. построек. Важно, что сам процесс русского освоения Палестины создал своего рода культурный слой, оставил материальные следы, которые включают и обычные для археологии формы, от бытового мусора до некрополей. В научном отношении такой культурно-антропологический материал служит полем историко-археологического эксперимента, он важен и для музейной работы на русских участках, таких как Иоасафовский в г. Иерихоне, где в 2011 г. создан Музейно-парковый комплекс РФ.

Израильские археологи, располагая огромным древнейшим наследием, также готовы изучать местную русскую старину, формируя отдельное направление как часть археологии Израиля (интернациональной по определению). В 2019 г. в Тель-Авивском университете прошел российско-израильский семинар (при участии Института археологии РАН), посвященный археологии русских участков XIX – начала XX в. (Russian Archaeological Project, 19th–21st centuries); читаются публичные лекции; тема заявлена на ресурсе Чикагского университета ANET [Tchekhanovets, Belyaev, 2020]. С 2010 г. издается специальный источниковедческий ежегодник, отражающий глубокий обоюдный интерес к наследию Святой Земли (совершенно внеконфессиональный, несмотря на название «Иерусалимский православный семи-

нар»). Несомненно, мы имеем право говорить о начале формирования русской этноархеологии Сиро-Палестинского региона.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-09-40075) и Программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.

Список литературы

Артамонов Ю.А., Гиппиус А.А., Зайцев И.В. «И с отцом, и с матерью, и со всею братьею…»: Два древнерусских граффито из базилики Рождества в Вифлееме // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. – 2013. – № 2. – С. 86–91.

Беляев Л.А. Византийский Иерихон: раскопки спустя столетие: Материалы Российско-Палестинской археологической экспедиции 2010–2013 гг. / под ред. акад. Н.А. Макарова. – М.: Индрик, 2016. – 500 с.

Беляев Л.А. Русская археология Палестины // Вестн. РФФИ. – 2019. – № 2. – С. 51–64.

Беляев Л.А., Вах К.А. Памятные надписи славянских паломников XVIII–XIX вв. в Архангельском монастыре в Иерусалиме (предварительная публикация) // Славяноведение. – 2019. – № 1. – С. 94–99.

Валитов А.А. Роль сибирских отделов Императорского Православного Палестинского общества в конструировании русской идентичности (конец XIX – начало XX в.) // Сибирские татары: мат-лы Всерос. (с международным участием) симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири» / под ред. З.А. Тычинских. – Тобольск, 2019. – С. 285–289.

Валитов А.А., Кибардина Т.А. Воспоминания сибирских паломников о Палестине конца XIX – начала XX веков как исторический источник // Научный диалог. – 2019. – № 4. – С. 213–224. – DOI: 10.24224/2227-1295-2019-4-213-224.

Вах К.А. Русский консульский дом в Иерусалиме на участке «Хомси»: история строительства // Иерусалимский православный семинар. – Иерусалим; М.: Индрик, 2018. – Вып. 8. – С. 82–107.

Великий князь Константин Николаевич и русское паломничество в Святую Землю: К 150-летию основания Русской Палестины. 1860–1864 / авт.-сост. К.А. Вах. – М.: Индрик, 2011. – 60 с.

Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли / подгот. текста, пер. и коммент. Г.М. Прохорова. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4934 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

Леонид (Кавелин), архим. Старый Иерусалим и его окрестности: Из записок инока-паломника. – М.: Индрик, 2008. – 384 с.

Описание путешествия иеромонаха Рыхловского Николаевского монастыря Сильвестра и Никодима в Царьград и Иерусалим в 1722 году // Тр. Киев. духовной академии. – 1883. – Вып. 5. – С. 192–204. – Отд. отт.

Проскинитарий Арсения Суханова: 1649–1653 гг. / ред. и предисл. Н.И. Ивановского. – СПб.: Правосл. Палестин. об-во, 1889. – XVII, 390 с. – (Православный Палестинский сборник; т. VII, вып. 3 (21)).

Путник странствия моего. Рукопись. 1728 г. // Научная библиотека Томского государственного университета. В-878.

Реэм А., Чехановец Я. Русский помянник из Акелдамы // Вестн. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. V: Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2019. – № 2 (34). – С. 157–170.

Россия в Святой Земле: документы и материалы / сост. Н.Н. Лисовой. – М.: Междунар. отношения, 2000. – Т. 1. – 744 с.

Славяно-русские рукописи научной библиотеки Томского государственного университета: каталог / сост. В.А. Есипова. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2009. – Вып. 2: XVIII в. – 610 с.

Федорова И.В. «Путешествие в Святую Землю и Египет» князя Николая Радзивилла и восточнославянская паломническая литература XVII – начала XVIII в.: Исследование и текст. – СПб.: Пушкинский Дом, 2014. – 608 с.

Хождение на Восток гостя Василия Познякова с товарищи / подгот. текста, пер. и коммент. О.А. Белобровой. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5142 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

Чехановец Я. Порфирий и другие: к будущему исследованию русских паломнических надписей в Святой земле // Иерусалимский православный семинар. – 2018. – Вып. 8. – С. 19–30.

Чехановец Я., Вах К.А. Византийский монастырь и консульский дом в Иерусалиме (по материалам раскопок 2018 г.) // РА. – № 3. – 2019. – С. 147–157.

Arbel Y. The Archaeology of Urban Change: 19th Century Jaffa // Cities in Transformation: Research and Design / eds. M. Bovati, M. Caja, G. Floridi, M. Landsberger. – Milan: Il Poligrafo, 2014. – Vol. 1. – P. 531–538.

Avni G., Seligman J. New Excavations at the Church of Holy Sepulchre Compound // One Land – Many Cultures: Archaeological Studies in Honour of Stanislao Loffrefda OFM / eds. C. Bottini, L. Di Segni, D. Chrupcała. – Jerusalem: Franciscan Printing Press, 2003. – P. 161–162.

Bodner N. Earth from Jerusalem in the Pisan Camposanto // Between Jerusalem and Europe: Essays in Honour of Bianca Kühnel / eds. R. Bartal, H. Vorholt. – Leiden; Boston: Brill, 2015. – P. 74–93.

Conder C.R. The Land of Benjamin // Palestine Exploration Quarterly. – 1881. – Vol. 13. – P. 247–281.

Düll S. „Mercator honestus“ und Totenktanz: Europaische Reflexe nach dem Fall of Constantinopel // Südost-Forschnungen. – Münich, 1989. – Bd. 48. – S. 86–105.

Düll S., Luttrell A., Keen M. Faithful unto Death: The Tomb Slab of Sir William Newille and Sir John Clanvowe? Constantinople, 1391 // The Antiquaries J. – 1991. – Vol. 71. – P. 174–190.

Finkielsztejn G., Nagar A., Bilig Y. The Northwestern Corner of Jerusalem's Old City Wall: Medieval Archaeology and Modern History // New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region / eds. D. Amit, G.D. Stiebel, O. Peleg-Barkat. – Jerusalem, 2009. – Vol. 3. – P. 5–9.

Kagan E. Jerusalem, Ha-Nevi'im Street // Hadashot Arkheologiyot: Excavations and Surveys in Israel. – 2011. – Vol. 123. – URL: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_

eng.aspx?id=1856&mag_id=118 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

Ottoman Jaffa: From Pilgrims' Anchorage to Regional Center // Mapping Urban Changes / A. Plosnić Škarić. – Zagreb: Inst. of Art History, 2017. – P. 392–413.

Peretz A. Ottoman Military Logistics as Reflected in the Findings at Nebi Samuel // Cathedra. – 2017. – Vol. 166. – P. 118–199 (in Hebrew).

Pilgrimage: Past and Present in the World Religions / eds. S. Coleman, J. Elsner. – Cambridge: Harvard Univ. Press, 1995. – 240 p.

Re'em A. Yafo, the French Hospital // Hadashot Arkheologiyot: Excavations and Surveys in Israel. – 2010. – Vol. 122. – URL: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1566&mag_id=117 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

Re'em A. The Medieval Burial Structure at Aceldama: Terminological and Chronological Reflections and Some New Insights in Light of the Archaeological and Textual Evidence // New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region. – Jerusalem, 2018a. – Vol. 12. – P. 134–167 (in Hebrew).

Re'em A. The Qishle Excavations in the Old City of Jerusalem. – Jerusalem: Israel Exploration Society, 2018b. – 267 p.

Re'em A., Forestani R. Jerusalem, Old City: The Muristan // Hadashot Arkheologiyot: Excavations and Surveys in Israel. – 2017. – Vol. 129. – URL: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=25216&mag_id=125 (дата обращения: 24.01.2019 г.).

Reframing Pilgrimage: Cultures in Motion / eds. S. Coleman, J. Elsner. – L.: Routledge, 2005. – 197 p.

Sumption J. Pilgrimage: An Image of Medieval Religion. – L.: Faber and Faber Ltd., 2002. – 350 p.

Spencer B. Pilgrim Souvenirs and Secular Badges, Medieval Finds from Excavations in London. – L.: Stationery Office, 1998. – 208 p.

Taxel I. Majdal Yābā: More Insights on the Site in the Medieval and Late Ottoman to Mandatory Times // J. of Islamic Archaeology. – 2017. – Vol. 4.1. – P. 49–86.

Tchekhanovets Y., Arviv K., Vach K. A Short Memory: Historical Archaeology of Russian Compounds // Memory: Proceedings of Conference held at Tel Aviv University, 29.05.2019 / eds. G.D. Stiebel, D. Ben Ami, I. Koch, Y. Tepper (in press).

Tchekhanovets Y., Belyaev L. Russian Archaeology of the Holy Land // The Ancient Near East Today. – 2020. – Vol. VIII, N 2. – URL: http://www.asor.org/anetoday/2020/02/russian-archaeology

Tobler T. Topographie von Jerusalem. – B.: G. Reimer, 1854. – IV, 1035 p.

Tsuk T., Bordowicz I., Taxel I. Majdal Yābā: The History and Material Culture of a Fortified Village in Late Ottoman – and British Mandate Palestine // J. of Islamic Archaeology. – 2016. – Vol. 3, iss. 1. – P. 37–88.

Zilberstein A., Shatil A. New Finds Dating from the British Mandate from the Tyropoeon Valley: the Givati Parking Lot Excavations near the Dung Gate // Strata. – 2013. – Vol. 31. – P. 153–161.

Материал поступил в редколлегию 11.07.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.106-113
УДК 398.54

А.А. Бадмаев
Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: badmaevaa@ngs.ru

Традиционные представления бурят о птицах

В статье выявляются бурятские орнитоморфные представления, дается их характеристика. Исследование базируется на этнографических, лингвистических и фольклорных материалах. Приводятся бурятские лексические данные, выявляются основные группы пернатых народной зооклассификации. Отмечено, что в традиционной классификации животных не определено место летучей мыши. По народным представлениям, эти рукокрылые не подчиняются ни одному из царей животного мира. Указываются признаки, которые учитывались бурятами при выделении класса птиц, а также главные критерии оценки пернатых. Отношение зависело в основном от восприятия птиц как вредных или полезных для жизни бурят. Большое место уделяется рассмотрению орнитоморфных образов в мифологии, фольклоре и обрядности бурят. Очерчен круг почитаемых птиц и птиц-тотемов, выявлены следы локальных культов птиц – лебедя, гуся, утки, голубя, орла. Определены птицы с положительной (лебедь, журавль, ласточка, голубь, орел, филин) и отрицательной (коршун, ворон(а), перепелка, кукушка, удод), а также с амбивалентной (утка, ястреб, сорока, галка) коннотацией. Показано, что конкретные виды пернатых связывались с космогоническими идеями (утка, ворон) и идеей оборотничества (лебедь, гусь, орел и др.). Согласно традиционным воззрениям, такие птицы, как ворон, кукушка, удод символизировали природные ритмы. Образы сороки, перепелки были включены в представления о душе. В работе освещается вопрос об инкорпорации образа птиц в бурятскую мифоритуальную практику. Отмечается, что в бурятской мифологии получили отражение не только специфические, характерные для этноса представления о конкретных птицах, но и универсальные.

Ключевые слова: *буряты, мировоззрение, шаманизм, птицы, фольклор, обрядность.*

A.A. Badmaev
Institute of Archaeology and Ethnography,
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Pr. Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090, Russia
E-mail: badmaevaa@ngs.ru

Traditional Buryat Beliefs About Birds

This study, based on on ethnographic, linguistic, and folk materials, describes and interprets Buryat ideas of birds. The analysis of lexical data reveals the principal groups of birds according to the Buryat folk classification. The bat's status is indistinct, since bats are not subordinate to the kings of the animal world. Diagnostic criteria underlying the classification of birds are outlined. The main criterion was whether a bird was beneficial or harmful. Ornithomorphic images in Buryat mythology, folklore, and ritual are described. Cult birds and bird totems are listed, and relics of local bird cults (those relating to swan, goose, duck, pigeon, and eagle) are revealed. Birds with positive connotations are the swan, crane, swallow, pigeon, eagle, and eagle-owl. Those with negative connotation are the kite, raven, crow, quail, cuckoo, and hoopoe). The attitude toward ducks, hawks, magpies, and jackdaws is ambivalent. Certain birds (ducks and ravens) were related to cosmogonic ideas; others (swan, goose, eagle, etc.) were endowed with a werewolf capability. The raven, the cuckoo, and the hoopoe symbolized natural cycles, whereas the magpie and the quail were associated with the soul. The role of bird images in the mytho-ritual practices is discussed. The Buryat mythological ideas reflected not only specific ethnic views of certain birds, but also universal ones.

Keywords: *Buryats, worldview, shamanism, birds, folklore, ritual.*

© Бадмаев А.А., 2020

Введение

Орнитоморфные образы представлены в различных областях бурятской культуры. Они прослеживаются в воззрениях о пространстве и времени, болезнях и т.д. Их связывают с тотемными прародителями, различными мифическими персонажами и др. Образы птиц включены в бурятскую семейно-родовую обрядность, например, в обряды жизненного цикла. Данную тему затрагивали в своих работах дореволюционные и советские этнографы [Хангалов, 1959, 1960; Потанин, 2005; Баторов, 1927; Галданова, 1987], но, к сожалению, в бурятской этнографии образ птицы остается малоизученным. Цель настоящего исследования – выявить и охарактеризовать традиционные представления бурят о птицах.

Исследование базируется на литературных, музейных, архивных и полевых данных. Основными являются фольклорные материалы, собранные М.Н. Хангаловым, Г.Н. Потаниным, Ц.Ж. Жамцарано. Источником лингвистических данных послужил академический словарь «Буряад-ород толи» [2010]; в нем содержатся орнитонимы на бурятском языке, названия органов птиц и др. Исследование проводится на основе структурно-семиотического метода.

Общая характеристика орнитоморфных представлений бурят

На территории, прилегающей к оз. Байкал, за последние три столетия зарегистрированы птицы 363 видов [Байкал..., 2009, с. 147]. Далеко не всем из них даны названия на бурятском языке. Очевидно, что птицы, получившие такие названия, для бурят имели сакральное или промысловое значение.

Буряты вычленяли птиц из животного мира по виду рождения – у шаманистов он назывался *яһан турэл* ‘костяное рождение’ [Хангалов, 1959, с. 219], у буддистов – *ундэгэнһоо турэхэ* ‘рождение через яйцо’.

В бурятской лексике содержатся слова и словосочетания, передающие морфологические признаки птиц: *шубуунай хоншоор* ‘клюв’, *удэ*(*н*) ‘перо’, *урбээлгэ* ‘хвостовое перо’, *жэбэр* ‘маховые перья’, *һодо*(*н*) ‘маховые крылья’, *удэ дали*, *дали*, *жэгуур* ‘крылья’, *эреэ маряан удэн* ‘пестрое оперение’, *удэрхэг һуул* ‘перистый хвост’ [Буряад-ород толи..., 2010, т. 1, с. 255, 361, 362; т. 2, с. 326, 444, 557, 621]. Эти признаки нашли отражение в названиях класса птиц: *дали жэгууртэ шубуун* ‘крылатые птицы’, *жэгууртэн* ‘пернатые’. Любопытно, что по такому признаку, как наличие хвоста буряты объединяли птиц и зверей в одну общность – *һуултэн ‘хвостатые*’. В самом классе птиц они выделяли группы, например, *мяхаша шубууд* ‘хищные птицы’, букв. ‘птицы, любящие мясо’; *нугаһа загаһад* ‘водоплавающая дичь’.

В отличие от ряда других этносов, у бурят в народной классификации животных не определено место летучей мыши – представителя отряда рукокрылых, приспособленных к полету. Буряты полагали, что летучая мышь не подчиняется ни одному из царей животного мира [Хангалов, 1960, т. 3, с. 23]. Данное представление нашло отражение в сюжете некоторых фольклорных произведений, например, следующей сказки: «В царя выбрали орла и стали подчинять ему всех птиц. Летучая мышь (урмуше) отказалась подчиняться, сказав, что хотя у нее и есть крылья, но есть и зубы. Когда же мыши стали избирать своего царя и избрали Цаган Амын Хулугуну, летучая мышь сказала, что она не мышь: у нее есть крылья. За это птицы и мыши присудили ее летать только ночью, а не днем» [Потанин, 2005, с. 174]. Согласно приведенному фрагменту, буряты, подобно славянским и прибалтийско-финским народам, рассматривали нетопыря как ночную птицу [Гура, 1997, с. 603; Винокурова, 2007, с. 18]. Лексический материал указывает на то, что летучую мышь сближали с бабочками: наряду с номинацией *урэмшоо* ‘летучая мышь’ использовалось название *һарьһан эрбээхэй* ‘игривая бабочка’. Хотя последнее определение не совсем согласуется с выделением класса насекомых на основе морфологии как «очень маленьких».

Локус, с которым прежде всего связывали птиц, – небо. По традиционным представлениям бурят, оно делится на западную и восточную части, которые в соответствии с обитавшими там небожителями имеют противоположные качества. Одни птицы подчинялись воле западных (белых) *тэнгэринууд* ‘небожителей’, а другие – восточных (черных). Внешне это членение проявлялось в расцветке оперения пернатых, в первую очередь в преобладании в ней контрастных цветов – черного и белого, например, черное оперение ворона было показателем его принадлежности к черному *заяан* ‘духу-покровителю’, и наоборот, белый цвет перьев лебедя связывал его со светлыми силами. Конечно, наделение птиц положительной или отрицательной коннотацией зависело главным образом от восприятия их как вредных или безвредных и полезных для бурят, их хозяйства. Заметим, что к числу положительных относились птицы, являвшиеся тотемами отдельных этнических сообществ.

Одним из критериев деления птиц была их пригодность для употребления в пищу. Буряты избегали употреблять в пищу мясо птиц ястребиного, соколиного и вранового семейств. Основными добываемыми птицами были водоплавающие и боровая дичь.

Буряты верили, что птицы имеют своего царя. В приведенной выше сказке им оказался орел, это указывает на универсальность данного воззрения: у тюрко-монгольских, славянских и других народов орел считался царственной птицей [Бурнаков, 2010,

с. 157; Гура, 1997, с. 610]. Властелином птиц называли мифического персонажа *Хан Хэрдэг шубуун* ‘птица Хан Гаруди’, который имеет индуистско-буддийские корни. Его появление в мифологии бурят, вероятно, связано с раннесредневековыми контактами между этносами Южной Сибири, а также принятием некоторыми из них в XVII–XIX вв. тибетского буддизма.

Буряты обращали внимание на мелодичность звуков, издаваемых птицами, и выделяли категорию *дууша шубууд* ‘певчих птиц’. Кроме того, существовал круг птиц, чьи голоса у бурят считались особенно привлекательными; об этом свидетельствует наличие в их языке соответствующих выражений: *шаханаа*(*н*) ‘стрекотание (сороки)’, ‘ласково звучать (о куковании кукушки)’, *ойн дууша шубуухай* ‘лесная певчая птичка’ и т.д.

В антропонимике бурят имеются имена, омонимичные названиям птиц: *Бурхуут* ‘орел’, *Галуун* ‘гусь’, *Нугаhан* ‘утка’, *Харсага* ‘ястреб’, *Хэрээ* ‘ворон’, *Турлааг* ‘ворона’, *Хухэй* ‘кукушка’ [Митрошкина, 1987, с. 82–83]. Как и другие «обманные имена», они, согласно традиционным представлениям, защищали ребенка от посягательств нечистой силы.

Образы птиц в мифологии, фольклоре и обрядности бурят

Среди водоплавающих птиц буряты выделяли лебедя; следы его культа фиксируются у целого ряда этнических сообществ – хори-бурят, хонгодоров и др. Хонгодоры, считая лебедя тотемным животным, не охотились на него и совершали ритуальное окропление молоком пролетающей птицы. Однако у некоторых групп бурят было разрешено убийство этой птицы в обрядовых целях. За убитого лебедя охотнику обязаны были отдать любого коня, причем такую добычу старались скорее выменять друг у друга; это происходило многократно, пока туша не испортится [Т.С. (Савенков Тимофей), 1925, с. 16]. Вероятно, лебедь ассоциировался с небесной благодатью, к которой стремились буряты. По данным М.Н. Хангалова, буряты испытывали страх перед лебедями, потому что верили – эти птицы имеют небесного покровителя [1960, т. 3, с. 37]. Более того, согласно сказкам и легендам, лебеди с красными лапами являлись дочерями неба [Потанин, 2005, с. 25], которые могли оборачиваться земными женщинами. В бурятской сказочной традиции с образом лебедя ассоциировалась, в частности, грациозная женская походка: «красавица ханша как птица лебедь похаживает, да так плавно и легко ступает, что цветы и травы за ней поднимаются» [Бурятские волшебные сказки, 1993, с. 42–47].

Образ лебедя запечатлен на культовых предметах бурят. Показательно, что на таком атрибуте хори-бурятского шамана, как бубен *хэсэ* имелись металлические подвески с изображением этой птицы [Галданова, 1987, с. 41]. Пара медных фигурок летящих лебедей (самец и самка) украшает шаманское одеяние агинских бурят, которое хранится в Российском этнографическом музее (РЭМ, № 783–39). Очевидно, в путешествиях шамана лебеди были его духами-помощниками.

С оборотничеством народ связывал и другого представителя водоплавающих птиц – гуся (*галуун*, *тураг шубуун* ‘серый гусь’ (*Anser anser*)). Так, было распространено представление о том, что тарасинские аханутy (духи известных шаманов) при жизни умели превращаться в гусей [Хангалов, 1959, т. 2, с. 180]. Янгуты называли гуся своим мифическим предком. Эти буряты проводили сезонные обряды жертвоприношения: весной они были посвящены прилету гусей, а осенью – их отлету [Манжигеев, 1960, с. 79].

Образ другой водоплавающей птицы – утки – увязывается с космогонической идеей. Согласно мифу, *ангир* ‘турпан’ (*Melanitta fusca*) ныряет в первородный океан по просьбе демиурга Сомбол-бурхана и в клюве приносит комок черной земли, а в лапах – красную глину, из которых творец создает сушу [Хангалов, 1960, т. 3, с. 7]. Обращает на себя внимание бытование у бурят легенды о *хун-нугаhан* ‘человеке-утке’, разумном существе: «утка-мужчина очень похожа на человека... Утка-женщина похожа на женщину: на голове будто шапка, две косы, ожерелье и шуба» [Там же, с. 378]. Данный образ, вероятно, не случаен и может быть отголоском древнего локального культа утки. Между тем утка в традиционных воззрениях бурят несет и отрицательную коннотацию. Плохой приметой считалось гнездование утки в летнике до переселения туда семьи из зимника [Потанин, 2005, с. 133]. Было распространено представление о том, что турпан съедает своих птенцов [Хангалов, 1960, т. 3, с. 28–29]. Приведенные примеры свидетельствуют об амбивалентности образа утки в культуре бурят.

Образ журавля слабо выражен в мировоззрении этноса, но очевидно, что данная птица воспринималась положительно. У бурят существовали запреты на убийство журавля и употребление в пищу его мяса. Считалось, что *хара тохорюун* ‘черный журавль’ (*Grus monacha*) имеет небесных покровителей [Там же, с. 71]. В сказках журавль выступает конкурентом орла в борьбе за место царя птиц, но проявленный им гнев по отношению к перепелке, выступившей против его кандидатуры, вызывает осуждение собрания птиц [Подгорбунский, 1915, с. 92]. Мифологические представления о журавле, не ставшем царственной птицей, известны у ряда тюркских народов Сибири [Потанин, 2005, с. 185].

Утверждать, что журавль у бурят являлся тотемным животным, нет оснований. Правда, в одной пу-

бликации приводится обращение аларских бурят к онгону Боронхи с упоминанием журавля в качестве тотема [Баторов, Хороших, 1926, с. 56–57], но, скорее всего, в ней допущена ошибка: в тексте предком хори-бурят наряду с лебедем названа птица цэн-шубуун, будто бы являвшаяся стерхом, хотя должна быть указана *сэн шубуун* ‘лебедица’.

В Юго-Восточной Сибири обитают два вида ласточек – деревенская (*Hirundo rustica*) и береговая (*Riparia riparia*). В традиционных представлениях бурят ласточки принадлежат к положительным птицам. Свидетельством этого является сюжет сказки «Ласточка и овод»: ласточка спасает людей от опасности – узнав, что огромный овод признал самой вкусной кровь человека, она летит сообщить об этом владыке подземного мира Эрлен Номон-хану [Бурятские народные сказки..., 2000, с. 91–93]. Заметим, что данный сюжет с небольшими вариациями встречается в фольклоре других тюрко-монгольских народов (напр., у дербетов: [Потанин, 2005, с. 183]).

Хорошим знаком считалось, если ласточка свила гнездо в срубной юрте или на скотном дворе (Полевые материалы автора (ПМА)). Народная традиция запрещала убивать такую птицу и разорять ее гнездо [Хангалов, 1960, т. 3, с. 72]. Ласточка рассматривалась как носительница божественной благодати. Это нашло отражение в примете: если ласточка прилетит, то в семье всегда будет курунга. Молочный продукт курунга относился к «белой», или сакральной, пище и символизировал *хэшэг* ‘счастье’ семьи, его нельзя было давать другим людям, иначе, как полагали, уйдет семейное благополучие. Дурной приметой считалось, если ласточка выбрасывала птенца из гнезда [Потанин, 2005, с. 133]. Такое поведение птицы было признаком грозящей беды, нависшей над семьей (ПМА).

Размытым выглядит образ голубя, представленного в природе Юго-Восточной Сибири двумя видами – сизым (*Columba livia*) и большой горлицей (*Streptopelia orientalis*). На его небесную семантику указывает одно из названий птицы – *бурханай шубуун* ‘божья птица’. Оно отражало древние религиозные воззрения предбайкальских бурят и не связано с процессом христианизации. Такое название носил один из родов нижнеудинских бурят [Буряты, 2004, с. 50]. Кроме того, по материалам, собранным М.Н. Хангаловым, одним из прародителей рода Икинат балаганских бурят считается птица *Гули эхэ* [1960, т. 3, с. 377] (*досл. пер.* ‘Голубица мать’). Согласно народным суждениям, голубь был девушкой-сиротой, с которой жестоко обращалась жена брата; бог пожалел ее и превратил в птицу *туутэй шубуун* ‘горлицу’ [Там же, с. 29].

Среди дневных хищных птиц буряты особо почитали орла (*ехэ шубуун*, *харабсар*, *бургэд*). В природе Байкальского региона встречаются различные виды птиц из семейства ястребиных. Для большинства из них имеются орнитонимы на бурятском языке: *талын бургэд*, *тад шубуун* ‘степной орел’, *далайн бургэд* ‘орлан’, *тарбажа* ‘лесной орел’, *хабтар бургэд* ‘орел-могильник’, *тас шубуун* ‘ягнятник’, *сагаан hуултэй бургэд* ‘орлан-белохвост’. Уважительное отношение бурят к образу орла передают используемые в народе фразеологизмы: *бургэд хараса* ‘орлиный взгляд’; *бургэд зориг* ‘орлиная отвага’. Восхищение большими размерами, размахом крыльев, высотой и быстротой полета птицы, а также ее бесстрашием в схватке получило отражение в одной из ее имен – *ехэ шубуун* ‘великая птица’. Такое название орла связано с восприятием его как птицы, обладающей необыкновенной, сакральной силой.

Анализ материалов М.Н. Хангалова [Там же, с. 30–31] и П.П. Баторова [1927, с. 79] показал, что у одной части бурят сложился культ орла (точнее орлана-белохвоста (*Haliaeetus albicilla*)), а у другой – эта хищная птица была почитаемой. Местом зарождения культа орла считается о-в Ольхон: согласно легенде, орел был человеком, сыном мифического хозяина Ольхона *Шубуун-нойона* ‘Птицы-господина’, но, съев падаль, он не смог более принимать человеческий облик; от него произошли ольхонские орланы-белохвосты. Как видим, с данной птицей буряты связывали идею оборотничества. Примером оборотничества является превращение темно-серого орла в мифического героя Гэсэра.

Орел был тотемом, его запрещалось убивать. Считается, что всякого, кто поднимет руку на эту птицу, жестоко покарает дух-хозяин Ольхона. Последнего буряты относили к 13 северным нойонам, в *ноёhи суглаан* ‘собрании духов предводителей племен’ он выполнял роль главного судьи [Шаманские поверия..., 1890, с. 17] и почитался как божество-покровитель семьи [Жамцарано, 2001, с. 93]. По представлениям верхоленских бурят, у *Шубуун-нойона* было три сына-орла: *Хара эрээн бургэд* ‘Черно-пестрый орел’, *Шара эрээн бургэд* ‘Желто-пестрый орел’, *Гал шара бургэд* ‘Огненно-желтый орел’. Ежегодно им посвящали семейные жертвоприношения, при этом приглашенный шаман «клекотал, подражая орлам... молился, прося защиты и покровительства домохозяину» [Там же, с. 328]. Любопытно, что всем перечисленным выше персонажам приносили в жертву, помимо полагающихся домашних животных, боровую дичь – рябчика и тетерева-косача [Там же, с. 336]. В источнике XVIII в. говорится, что буряты, если «орел... пролетит над их юртой... приносят ему молоко в жертву, чай или то, что в данный момент случится под руками, причем они танцуют вокруг, прыгают и скачут» (цит. по: [Зиннер, 1968, с. 193]).

К упомянутым 13 северным нойонам принадлежал *Хан Хото баабай* ‘Царь Хото отец’, который тоже

обладал способностью оборачиваться орлом [Нацов, 1995, с. 80]. Стоит добавить, что слово *хото* в имени данного персонажа находит аналогию в якутском языке: *хотой* ‘орел’ [Галданова, 1987, с. 37].

Почитание орла у бурят, по мнению Г.Р. Галдановой, связано с солнечным культом [Там же, с. 37]. Нельзя не отметить, что образы орла и коня, также относящегося к солнечному культу, в представлениях бурят имеют черты сходства. Звуки, издаваемые орлом и лошадью, передаются в бурятском языке одним словом – *инсагаалга* ‘ржание, клекот’ [Буряад-ород толи, 2010, т. 1, с. 447]. Этих животных объединяет борьба с одним врагом – змеей, хтоническим существом. Правда, в бурятских мифах и сказках место орла в этом противостоянии нередко занимает мифическая птица Гаруди. Судя по шаманскому фольклору, орел может уничтожать и других представителей змееобразных, например, червя [Шаманские поверия..., 1890, с. 16]. Орел, как и конь, служит светлым силам. Кстати, в пантеоне божеств упоминается *Хан Бургэд тэнгри* ‘Царь Орел небожитель’, олицетворявший дневное светило. Оба животных выполняли функцию проводников из Среднего мира в другие миры.

В бурятских мифах и сказках носителем признаков коня и птицы выступает *далитан морин* ‘крылатый конь’, который переносит культурного героя на большие расстояния. По воззрениям бурят, крылатого коня имеет глава западных небожителей, божество света Хормуста, на нем он якобы объезжает небесный свод.

В древности населением Прибайкалья орел отождествлялся с небом. По мнению А.П. Окладникова, в фигуре парящего орла на петроглифах Забайкалья воплощен образ носителя светлой небесной силы, залога плодородия и счастья [Окладников, Запорожская, 1970, ч. 2, с. 122–123].

Образ орла – ключевой в бурятском шаманизме. Первым шаманом, согласно традиционным воззрениям, был орел, передавший свой дар земной женщине [Хангалов, 1959, т. 2, с. 130]. Неслучайно у бурят существовало представление о том, что человек, испробовавший мясо животного, убитого орлом, становится шаманом. Такое мясо могли есть только мужчины. Женщинам строго запрещалось не только пробовать его, но даже приближаться к туше животного, дабы не осквернить божество, которое, как считалось, приняло облик орла. Шаман, по народным воззрениям, может превратиться в орла, чтобы отправиться в путешествие, например, в иные миры или сражаться с другим шаманом. В шаманском костюме бурят нашла отражение связь с данной птицей, а вместе с ней – с сакральным небом и солнцем. Так, у предбайкальских бурят шаман имел головной убор *оргой*, который делали из орлиной кожи, снятой вместе с крыльями [Там же, с. 183] (подобные шапки зафиксированы у хакасских шаманов [Бутанаев, 2006, с. 73]), у агинских бурят – нагрудное металлическое зеркало *толи* с изображением орла, символизирующего *Хан Бургэд тэнгри* (РЭМ, № 783-10). К семейным покровителям предбайкальские буряты причисляли *Хан Хото баабай*, в честь него совершали жертвоприношения. Отметим, что в традиционных воззрениях тюрков Сибири образ орла также связывался с культами Неба и Солнца [Бурнаков, 2010, с. 162].

Представления о других дневных хищных птицах у бурят крайне ограничены и касаются в основном ястреба и коршуна. На территории традиционного расселения бурят гнездятся *хара шэхэтэй элеэ* ‘черноухий коршун’ (*Milvus migrans lineatus*), а также *булжамуурай харсага* ‘ястреб-перепелятник’ (*Accipiter nisus*) и *хурдэг*, *hойршо харсага*, *hоношо харсага* ‘ястреб-тетеревятник’(*Accipiter gentilis*). Отношение бурят к коршунам было преимущественно негативным. Однако считалось, что летом этим птицам покровительствуют духи-хозяева и в эту пору на них нельзя охотиться; на остальное время этот запрет не распространялся [Хангалов, 1960, т. 3, с. 37]. Буряты воспринимали коршуна как зловещую птицу. В народе закрепилась примета: когда кричит коршун – будет дождь и продолжительное несчастье [Там же, с. 74]. Люди верили, что злой дух мог обрести облик этой птицы [Гомбоев, 1864, с. 58]. Согласно традиционным представлениям, некоторые шаманы могут оборачиваться в эту хищную птицу для своих путешествий [Шаманские поверия..., 1890, с. 9]. Коршун упоминался в шаманских призываниях предбайкальских бурят.

Бурят восхищали физические качества ястреба. Это подтверждают следующие эпитеты: *харсага солбон хухы* ‘подвижная и ловкая, как ястреб, кукушка’, *харсага боро морин* ‘быстрый, как ястреб, серый конь’; *харсага маhартай* ‘с ястребиным взглядом’. В сказках в ястреба превращаются не только герои, но и их антиподы (мангадхаи). Вероятно, это показатель амбивалентности данной птицы в представлениях бурят. Важное место ей отводилось в ритуальной практике шамана. Считалось, что некоторые шаманы принимают облик ястреба в мистической схватке с враждебным шаманом [Жамцарано].

В лексике бурят содержатся орнитонимы, относимые к *туун турлааг* ‘врановым’: *туун*, *алаг туун* ‘альпийская галка’ (*Pyrrhocorax graculus*), *убсуу сагаан турлааг* ‘галка белогрудая’ (*Coloeus dauuricus*), *алаг шаазгай* ‘обыкновенная сорока’ (*Pica pica*), *итаг шаазгай* ‘сойка’ (*Garrulus glandarius*), *онголо* ‘кедровка’ (*Nucifraga caryocatactes*), *турлааг* ‘ворон обыкновенный’ (*Corvus corax kamtschaticus*), *хара хирээ* ‘черная ворона’(*Corvus corone*). В представленческом комплексе бурят получили отражение образы таких птиц из семейства врановых, как ворон, сорока и галка.

В традиционном сознании бурят одним из первых существ, будто бы созданных «тысячей небесных бо-

гов», наряду с лебедем был ворон [Жамцарано, 2001, с. 84]. Он воспринимался как священный персонаж, определяющий ритмы природы: «Черный ворон закаркал – Весна пришла» [Улигеры хори-бурят, 1988, с. 88]. Ворон считался сыном Ажирай Бухэ, мифического духа-хозяина реки Лены, который входил в состав 13 северных нойонов. Поэтому в нем видели посланника черных восточных небожителей, имеющего собственного духа-покровителя; убийство ворона было под запретом [Хангалов, 1960, т. 3, с. 74]. В воззрениях бурят эта птица несла отрицательную коннотацию, что обусловливалось ее биологическими характеристиками – черное оперение, употребление в пищу падали, резкий крик. Принадлежность ворона к темному миру подчеркивается в мифологии. В частности, в эпосе «Алтан Шагай мэргэн» имеется такое выражение: «Черный ворон кричит, и желтая лисица лает» [Сказания бурят..., 1890, с. 17]. Дело в том, что лисицу называли «собакой Эрлена», которая была проводником в Нижний мир [Хангалов, 1960, т. 3, с. 69].

С образом ворона связаны представления о «вечной черной воде», будто бы дарующей этой птице бессмертие [Потанин, 2005, с. 348]. Такие воззрения известны и в традиции иных тюрко-монгольских народов [Бурнаков, 2010, с. 158].

К ворону обращались в шаманских призываниях. О сакральном значении этой птицы свидетельствует и один из элементов облачения бурятского шамана: шаманскую шапку *малгай*, надеваемую под железную корону, украшает *залаа* ‘кисточка’, к которой крепилось воронье перо (РЭМ, № 783–2).

Ворона в понимании бурят была плохой птицей: для нее характерен такой же набор морфологических признаков, как и для ворона. Ее выделял гортанный крик, который, как полагали, не предвещал ничего доброго. Считалось плохой приметой, если ворона садилась на крышу дома и громко каркала [Хангалов, 1960, т. 3, с. 74]. Однако ее крик мог оцениваться и как добрый знак: «Если же иным звуком прокричит, то обещает богатство» [Смолев, 1900, с. 28]. Вороне приписывали способности оборотня, например, в сказках в нее превращаются слуги мангадхая. У бурят данная птица ассоциировалась с таким человеческим пороком, как жадность: *хэнтэй хун хирээ мэтэ* ‘жадный подобен вороне’.

Бурятские суждения об упомянутых выше врановых в деталях соответствуют представлениям тюрков Сибири. Например, у тех и у других эти птицы наделяются хтоническими свойствами, в символике присутствует мотив вещей птицы, с вороном связана шаманская практика.

В мировоззрении бурят образ других врановых – сороки и галки – предстает как амбивалентный. В сказках бурят указывается, что вместилище души мангадхая находится в золотогрудой сороке. Плохим предзнаменованием считается, если сорока свила гнездо во дворе. Вера в то, что эта птица является предвестницей беды, получила отражение в легенде о переселении хоршитов из Западного Забайкалья в Монголию: данное племя, оценив появление сороки как предвестие прихода «людей с желтыми волосами и необычными воротниками», навсегда покинуло землю предков [Нацов, 1995, с. 10–11].

Сороке приписывали способность предсказывать события. Причем у разных групп бурят на этот счет были свои мнения. Так, предбайкальские буряты считали: «Если сорока у кого-нибудь на дворе стрекочет утром, это предвещает несчастье. Если сорока кричит вечером, это хорошо» [Хангалов, 1960, т. 3, с. 73]. У селенгинских монголов стрекотание сороки интерпретировалось иначе: «Если сорока стрекочет во дворе перед утром и вечером, то предвещает несчастье. Если сорока стрекочет днем и головой к юрте, то благополучие» [Смолев, 1900, с. 28]. Агинские буряты связывали с птицей приятные события: «Если сорока стрекочет рядом, то ожидает радостная встреча» [Жамцарано, 2001, с. 181]. Похожие представления о сороке как о птице, приносящей вести, зафиксированы у хакасов [Бурнаков, 2009, с. 431].

В преданиях бурят сорока выступает спасительницей матери основателя рода Нарат, которая оказалась в тайге на грани жизни и смерти [Хангалов, 1960, т. 3, с. 378]. В подобной роли она предстает и в легенде тункинских бурят о речке Зангясан [Дуброва, 1884, с. 30].

Традиционно в образе сороки с иронией подчеркивались особенности, обусловленные ее морфологическими признаками. Для примера приведем загадку о сороке: *тээг-тээг ябадалтай, тэхэ һаарал гуталтай, алаг булаг дахатай, алтан урга шэрээһэтэй* ‘ходит вприпрыжку, в шагреневых унтах, пестрой шубе, тащит за собой позолоченный шест’. В фольклоре бурят акцентировалось внимание на ее эгоистичном поведении, за которое было наказано все ее потомство.

Обладающая черным оперением галка воспринималась негативно, тем более что ее объединяет с вороной привычка питаться падалью. Галку наделяли способностью предвещать ненастье [Хангалов, 1960, т. 3, с. 73]. Ее считали полезной знахари. Для исцеления от бешенства они, сжигая перья альпийской галки, окуривали больного, в лечебных целях заставляли слушать ее крики [Потанин, 2005, с. 707].

В бурятской лексике имеются орнитонимы таких ночных хищных птиц, как филин, сова и сыч: *шара шубуун* ‘обыкновенный филин’ (Bubo bubo), *буг*, *бэгсэргэ*, *уули*, *һуухирдэг* ‘ушастая сова’ (*Asio otus*), *тажаа* ‘полярная сова’ (*Bubo scandiacus*), *бэгсэргэ*, *уули*, *буха шубуун* ‘сыч мохноногий’ (*Aegolius funereus*). Среди перечисленных выше представителей

семейства совиных положительный образ сложился только у филина. По поверьям бурят, эта птица защищала маленьких детей от *ада анахай* ‘нечистой силы’ [Хангалов, 1960, т. 3, с. 39–40]. Поэтому в семьях, где умирали младенцы, заводили птенца филина – т.н. шамана-филина, которого выбирали по следующим признакам: «смотрит не мигая, чего не могут делать другие птицы, имеет на голове два пучка перьев вроде рогов» [Чистохин, 1878, с. 232]. Птица жила вместе с ребенком и, как думали родственники малыша, оберегала его. Люди верили, что филин находится под покровительством «белых» – добрых – небожителей, и по этой причине посвящали ему, как орлу и лебедю, брызганье молоком [Потанин, 2005, с. 92]. Во время обряда поклонения онгонам у предбайкальских бурят было принято привязывать к шапке невесты перо филина, которое после окончания ритуала прятали в подголовник *дэрэ* [Жамцарано, 2001, с. 58], имевший сакральное назначение. Перо филина в данном случае символизировало защиту молодой семьи светлыми божествами.

По народным воззрениям, данная птица была вестником затяжной болезни: «Если филин по ночам садится во дворе и кричит, то быть больному на долгое время» [Смолев, 1900, с. 28].

Образ филина использовался в шаманской атрибутике бурят: у агинских бурят между рогами железной короны шамана прикрепляли перья филина (РЭМ, № 783-1).

Если филин рассматривался как посланник светлых сил Верхнего мира, то сова (точнее полярная сова), обитающая, как считали, не только на земле, но и в водной среде, относилась к Нижнему (темному) миру [Потанин, 2005, с. 184]. Тем не менее, сова являлась объектом почитания: к ней обращались в призываниях шаманы. Об отрицательном отношении к сове свидетельствует лексика бурят, в частности, одно из значений названия совы – *буг* ‘злой дух’. Г. Гомбоев указывал, что селенгинские монголы издревле причисляли сову к зловещим созданиям [1859, с. 250]. Однако можно допустить, что образ этой птицы имел амбивалентную коннотацию. Например, в сказаниях о сыне неба его чудесное зачатие происходит от небожителя, явившегося земной женщине в виде совы [Потанин, 2005, с. 674].

Мотив птицы-души в фольклоре бурят связан с образом перепелки (*будкэ* ‘обыкновенный перепел’ (*Coturnix coturnix*)). В сказке «Харасгай Мэргэн» души семи внуков злой старухи были заключены в семи перепелах [Бурятские волшебные сказки, 1993, с. 51–59]. В произведении «Храбрый Жэбжэнэй» душа представителя темных сил – мангадхая – была скрыта в 13 перепелах [Там же, с. 88–90]. Все это указывает на отрицательную коннотацию образа перепелки.

С кукушкой (*хухы*, *хубхуу* ‘обыкновенная кукушка’ (*Cuculus canorus*)) буряты связывали наступление теплого сезона: «Царь кукушка кукует – Наступило лето» [Улигеры хори-бурят, 1988, с. 88]. В народном календаре это нашло отражение в наименовании последнего весеннего месяца – *хухын дууна hара* ‘месяц кукования, май’ [Жамцарано, 2001, с. 80]. В традиции тюрков Южной Сибири кукушка считалась также вестником приближающегося лета [Бурнаков, 2008, с. 305].

Данная птица негативно воспринималась бурятами. По преданию, в прежней жизни она была распутной женщиной, якобы за это ее наказал бог [Хангалов, 1960, т. 3, с. 28]. В народе придумали образное название кукушки – *хан хухы* ‘«царственная» кукушка (оттого, что не сама кормит птенца)’ [Буряад-ород толи..., 2010, т. 2, с. 393]. Ее считали предвестницей голодного времени: «Если кукушка сильно кукует, будет худой год» [Потанин, 2005, с. 133]. Предбайкальские буряты обращали внимание на то, в какое время суток птица кукует: «Если кукушка кукует по ночам – скудный год, а в хороший год вовсе не кукует» [Жамцарано, 2001, с. 85].

К числу птиц, отрицательно воспринимаемых бурятами, относится *бубоолжэн* ‘удод’ (*Upupa epops*). Нехорошим предзнаменованием для семьи считалось гнездование этой птицы под крышей дома [Потанин, 2005, с. 133], как вариант, под полом. Полагали, что это может принести несчастье домочадцам [Жамцарано, 2001, с. 250]. Полеты удода рядом с людскими постройками также попадали в разряд плохих примет [Хангалов, 1960, с. 73]. У бурят эта птица ассоциировалась с окончанием лета и наступлением осенних холодов; в народном календаре август называется месяцем удода.

Заключение

Изучение традиционных орнитоморфных представлений бурят позволило выявить круг почитаемых птиц. Некоторые из них – лебедь, гусь, утка, голубь, орел – считались тотемными предками и имели локальные культы. В народной культуре лебедю, журавлю, ласточке, голубю, орлу, филину соответствовала положительная коннотация, а коршуну, ворону(е), перепелке, кукушке, удоду – негативная, амбивалентная коннотация сложилась в отношении утки, ястреба, сороки и галки. С космогонической идеей буряты связывали утку и ворона. Популярным был сюжет превращения в птицу – лебедя, гуся и т.д. – человека или животного. Образы ряда птиц получили отражение в бурятской шаманской атрибутике и были инкорпорированы в мифоритуальную практику. На основе народных воззрений выделяются птицы (ворон,

кукушка, удод), символизирующие ритмы природы. Представления о душе-птице буряты связывали с сорокой и перепелкой, считали таких птиц, как сорока, сова, удод, ворона и др. способными предсказывать грядущие события.

Традиционные представления бурят о ряде птиц близки к таковым других народов Южной Сибири и Центральной Азии, что свидетельствует как о наличии в бурятской мифологии универсальных и локальных сюжетов, так и об имевшихся в прошлом этнокультурных контактах.

Благодарность

Исследование проведено в рамках проекта НИР «Символ и знак в культуре народов Сибири: XVII–XXI вв.: актуализация и стратегии сохранения».

Список литературы

Байкал: природа и люди: энциклопедический справочник. – Улан-Удэ: ЭКОС: изд-во БНЦ СО РАН, 2009. – 608 с.

Баторов П.П. Культ орла у северобайкальских бурят // Бурятиеведение. – 1927. – № 4. – С. 79–81.

Баторов П.П., Хороших П.П. Материалы по народному скотолечению иркутских бурят // Бурятовед. – 1926. – Вып. 2. – С. 50–59.

Бурнаков В.А. Образ кукушки в мифо-поэтической и ритуальной традиции хакасов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – Т. XIV. – С. 305–309.

Бурнаков В.А. Образ сороки в мифологических воззрениях хакасов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. XV. – С. 429–433.

Бурнаков В.А. К вопросу о культе орла у хакасов // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. – Барнаул: Азбука, 2010. – Вып. IV. – С. 153–164.

Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь / сост. К.М. Черемисов, Л.Д. Шагдаров: в 2 т. – Улан-Удэ: [Республиканская тип.], 2010. – Т. 1. – 636 с.; Т. 2. – 708 с.

Бурятские волшебные сказки / сост. Е.В. Баранникова, С.С. Бардаханова, В.Ш. Гунгаров. – Новосибирск: Наука, 1993. – 341 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 5).

Бурятские народные сказки. О животных. Бытовые / сост. Е.В. Баранникова, С.С. Бардаханова, В.Ш. Гунгаров, Б-Х.Б. Цыбикова. – Новосибирск: Наука, 2000. – 304 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 20).

Буряты. – М.: Наука, 2004. – 633 с.

Бутанаев В.Я. Традиционный шаманизм Хонгорая. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2006. – 254 с.

Винокурова И.Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов (опыт реконструкции): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – СПб., 2007. – 46 с.

Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. – Новосибирск: Наука, 1987. – 115 с.

Гомбоев Г. О древних монгольских обычаях и суеверіях, описанных у Плано Карпини // Тр. Вост. отд-ния Имп. Археол. об-ва. – 1859. – Ч. 4. – С. 236–256.

Гомбоев Г. Глубокомудрая Чуга, по кости лопатке, изложенная Манджуширием // Тр. Вост. отд-ния Имп. Археол. об-ва. – 1864. – Ч. 8. – С. 1–61.

Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997. – 912 с.

Дуброва Я.П. Экспедиция к берегам р. Селенги // Изв. ВСОИРГО. – 1884. – Т. XV, № 1/2. – С. 1–92.

Жамцарано Ц.Ж. Путевые дневники 1903–1907 гг. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. – 382 с.

Жамцарано Ц.Ж. Описание шаманства у агинских хори-бурят и примечание к коллекции № 783 по шаманству. 103 л. // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 28.

Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 248 с.

Манжигеев И.М. Янгутский бурятский род (опыт историко-этнографического исследования). – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960. – 233 с.

Митрошкина А.Г. Бурятская антропонимия. – Новосибирск: Наука, 1987. – 222 с.

Нацов Г.Д. Материалы по истории и культуре бурят. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1995. – Ч. 1. – 156 с.

Окладников А.П., Запорожская В.А. Петроглифы Забайкалья. – Л.: Наука, 1970. – Ч. 2. – 264 с.

Подгорбунский И.А. Сказки и песни бурят // Изв. ВСОИРГО. – 1915. – Т. XLIV. – С. 90–107.

Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. – 2-е изд. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 2005. – 1026 с.

Сказания бурят, записанные разными собирателями // Зап. ВСОИРГО. – Иркутск, 1890. – Т. 1, вып. 2. – 160 с.

Смолев Я.С. Три табангутских рода селенгинских бурят: этнографический очерк. – М.: [тов-во тип. А.И. Мамонтова], 1900. – 58 с.

Т.С. (Савенков Тимофей). Байкал // Сибирь. – 1925. – № 4. – С. 16–17.

Хангалов М.Н. Собрание сочинений. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. – Т. 1. – 551 с.; 1959. – Т. 2. – 444 с.; 1960. – Т. 3. – 421 с.

Чистохин Я. Обычаи бурят при рождении и первоначальном воспитании детей // Миссионер. – 1878. – № 29. – С. 231–232.

Улигеры хори-бурят. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1988. – 175 с.

Шаманские поверия инородцев Восточной Сибири. – Иркутск: [тип. К.И. Витковского], 1890. – 51 с. – (Зап. ВСОИРГО; т. 2, вып. 2).

Материал поступил в редколлегию 13.05.19 г.,
в окончательном варианте – 17.07.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.114-121
УДК 394

М.А. Рыблова
Федеральный исследовательский центр «Южный научный центр РАН»
пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону, 344006, Россия
E-mail: ryblova@mail.ru

Предметные символы девушки-невесты в донской казачьей свадьбе

В статье представлена новая трактовка символов девушки-невесты как уже известных на восточно-славянском материале, так и обнаруженных в ходе изучения традиции донских казаков. Исследование основано на материалах этнографических экспедиций, проводившихся в 1980–2000-х гг. в местах компактного проживания донских казаков, а также донской периодической печати XIX в. В поисках сущности и значения предметных символов донской невесты автор соединяет обрядовые практики и фольклорные тексты, рассматривает те и другие в контексте двух основных «переходов», которые совершает девушка в ходе свадебного обряда: 1) выход из вольного девичьего состояния и включение в группу замужних женщин; 2) переход из одного семейно-родственного коллектива в другой. Оба «перехода» непосредственно связаны с понятиями «красота» (ее девушка лишалась в ходе обряда) и «доля» (часть жизненной силы и благ, выделяемых в ходе обряда невесте из общесемейной/родовой и включаемых в общую долю новой семьи). Предметные воплощения «красоты» – коса, лента и венок – трактуются автором как символы воли и девственности. Эти качества утрачивались девушкой в ходе свадебного обряда, а сами предметы либо уничтожались, либо переходили к другим. Такие предметы-символы, как деревце и ветка (соответствующие фольклорному образу «сада») автор связывает с концептом «доли», а обрядовые действия с ними трактует как поэтапное разрывание невестой родовых связей, лишение ее доли в семье (символическая смерть), после чего следовало новое рождение, связанное с выделением новой доли – доли замужней женщины в новом роду. Автором внесены коррективы в уже имеющиеся классификации символов невесты, выявлены новые знаки и символы, даны их интерпретации.

Ключевые слова: *традиция донских казаков, свадебный обряд, личные знаки невесты, символы девственности, предметы-символы родовой женской группы, символы доли.*

M.A. Ryblova
Federal Research Center "Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences",
Pr. Chekhova 41, Rostov-on-Don, 344006, Russia
E-mail: ryblova@mail.ru

Bridal Symbols in the Don Cossack Wedding

This study presents a new interpretation of symbols of the maiden-bride, already known in the Eastern Slavic, specifically Don Cossack tradition. It is based on findings of ethnographic expeditions of the 1980s–2000s to areas where Don Cossacks concentrate, and on 19th-century periodicals published in the Don Region. To interpret the essence and meaning of bridal symbols, I collate ritual practices and folkloric texts, viewing both in the context of two principal passages that the bride undergoes during the wedding: 1) transition from the state of maiden license to that of married women; and 2) transition from one clan to another. Both transitions are related to the ideas of "krasota" (lit. 'beauty'), supposed to be lost during the ceremony, and "dolya" (lit. 'lot')—part of stamina and wealth allotted to the bride from her family/clan "lot" and added to the common lot of her new family. Material embodiments of "beauty" (braid, ribbon, and wreath) can be interpreted as symbols of maiden license and virginity. These qualities were lost during the rite, whereas their material symbols were either destroyed or passed on to others. Symbols such as small tree and twig (referring to the folkloric image of "garden") can be related to the idea of "lot", and rituals in which they feature can be interpreted as a stepwise disruption of the braid's ties with her clan, deprivation of familial "lot" (symbolic death), followed by rebirth manifested in the acquisition of a new "lot"—that of a married woman in a new clan. I revise existing classifications of bridal symbols by revealing and interpreting new ones.

Keywords: *Don Cossack tradition, wedding ceremony, bridal signs, virginity symbols, object-related symbols, "lot" symbols.*

© Рыблова М.А., 2020

Введение

Символика девичества в восточно-славянской традиции весьма разнообразна, но при ее изучении исследователи обычно акцентировали внимание на предметах и образах, которые фигурируют в свадебной обрядности: лента-косоплетка, венок, ветка дерева, птица, полотенце и др. Большинство этих символов и образов связаны с понятием «красота». К его изучению обращались И.М. Колесницкая, Л.М. Телегина, Т.А. Бернштам, А.В. Гура [Колесницкая, Телегина, 1977; Бернштам, 1982; Гура, 2011]. Символы девственности и «переходного состояния» невесты на фольклорных материалах исследовали С.М. Толстая и С.В. Толкачева [Толстая, 2010; Толкачева, 2013]. Трактовку символам невесты дал А.К. Байбурин, представивший свадебный обряд как процесс «создания новых людей» [Байбурин, 1993]. Н.В. Зорин, изучавший среднерусский свадебный обряд, разработал классификацию предметов-символов невесты [Зорин, 2004]. Что касается свадебного обряда донских казаков, то, несмотря на значительный интерес к нему исследователей [Тумилевич, 2012б; Проценко, 2004; Рудиченко, 2000, Гревцова, 2013, 2017], предметы-символы невесты остаются до сих пор малоизученными.

В данной статье предлагается новая трактовка символов девушки-невесты, уже рассмотренных на восточно-славянском материале, а также выявленных в ходе изучения традиции донских казаков. Основу исследования составили опубликованные тексты свадебных песен [Листопадов, 1947; Тумилевич, 2012а], материалы этнографических экспедиций, проводившихся в местах компактного проживания донских казаков в 1980–2000-х гг., и периодической печати XIX в., собранные и недавно опубликованные нами [Донская свадьба, 2019].

Что касается основного метода исследования, то мы попытались не только соединить обрядовые практики и фольклорные тексты, но и соотнести те и другие с семейно-родственными отношениями, которые, по сути, были структурообразующими в традиционной свадьбе. В поисках определения сущности ключевого для девушек брачного возраста понятия «красота» мы предлагаем обратиться к концепту «доля», которая в русской народной традиции понималась широко: как жизненная сила, энергия, блага и подлежала постоянному переделу в обрядах жизненного цикла.

«Красота» и «сад»: образы и предметы

«Красота»: коса, лента, венок

В русской народной традиции понятие «девичьей красоты» применительно к группе девушек брачного возраста и невест имело ключевое значение и вместе с тем было окутано флером таинственности. Возможно, именно поэтому исследователям так и не удалось прийти к единству мнений в попытках выявить ее сущность.

В собранных нами донских материалах отсутствует название широко распространенного в общерусской традиции обряда *расставание с красотой,* однако само слово «красота» имеется в текстах свадебных песен. С этим образом в общерусской традиции связаны такие предметные символы, как коса, косная лента, венок, ветка дерева или другого растения, например, калины (*Viburnum opulus*), сосны (*Pinus sylvestris*) и др. Совпадали и обрядовые действия с этими предметами в момент обряжения невесты в донской и русской свадьбах: сначала выплеталась лента, затем следовала «продажа» косы; в некоторых местностях на голову девушки надевался венок из цветов и лент. Ветку (хоперские казаки называют ее «садом») украшали накануне свадьбы в доме невесты, а после брачной ночи переносили в дом жениха. Однако, если в русской традиции «сад» часто был связан с «красотой» [Бернштам, 1982, с. 43], то в традиции донских казаков нами это не зафиксировано, поэтому в данном разделе речь пойдет только о косе, ленте и венке.

Т.А. Бернштам считала возможным применительно к русской традиции рассматривать «красоту» (соотносимую с косой, лентой, венком и веткой дерева) в качестве личного знака невесты и, более того, как «одушевленную субстанцию девичьего “Я”, по сути – как душу девушки, которая, то умирая, то возрождаясь, претерпевает в обряде череду перевоплощений» [Там же, с. 66]. С.М. Толстая соглашается в принципе с этим утверждением, но добавляет, что «красота» соотносится одновременно и с душой девушки, и с ее девственностью, настаивая на особой значимости последней [Толстая, 2010, с. 151]. Тем не менее нам представляется, что поиски глубинного смысла понятия «красота» и связанных с ней предметов могут быть продолжены.

Девственность в донской традиции определялась словом «знатá» и понималась, конечно, как личное достояние девушки:

Да хоть она по ночам и ходила,
Да при себе знату носила,
Да носила ж её столько лет,
Да своему Ванюшке на совет

[Местные слова..., 1875].

В другой песне в этом же контексте упоминается «красота» («Хучь и по ночам она ходила, / При себе красу носила…» [Листопадов, 1947, с. 109]), что подтверждает мнение Т.А. Бернштам и С.М. Толстой о том, что в народной традиции она соотносилась с личностью девушки и ее девственностью.

Вместе с тем, как и в общерусской традиции, «красота» в свадебных песнях донских казаков ассоциировалась с косой:

Гонится мой миленький всё за мною,
За моею девичьей красотою,
За моей за русою за косою
[Полевая запись Кубраковой В.С., 1992...].

Девичья коса в этом тексте также обозначается как личное достояние девушки и предмет вожделения жениха (в текстах другой песни «девичья красота» объявляется также причиной «молодецкой сухоты») [Листопадов, 1947, с. 27].

Некоторые качества совмещенного образа красоты-косы могут быть определены с помощью растительного кода. Так, в донской традиции известны народные названия растений: *девичья красота (краса)* и *девичья коса*. «Девичьей красотой» на Дону называлось декоративное растение космея (*Cosmos bupinnatus*), которое отличается красивыми цветами и долгим периодом цветения («красива цвитетёть и ни-умалкаить, как девушка, цвиты у-ней разнаи»). «Девичьей косой» именовали дикорастущее и сорное растение с длинными стеблями – ясменник стелющийся (*Asperula prostrata)* [Словарь…, 1975, с. 125].

Обратим внимание на то, что с косой-красотой ассоциировались два растения с разными характеристиками. Первое – декоративное, красиво и долго цветущее, второе – дикорастущее и сорное. Оба растения объединяет то, что от них не ждут плодов, они выращиваются с целью украшения сада/жилища и бывают востребованы только в период цветения, а сорные вообще подлежат удалению. Таким образом, как минимум еще одно качество «красоты» можно определить с помощью растительного кода – ее недолговременность.

Соотнесение косы девушки с сорной дикорастущей (дико-вольно растущей) травой открывает возможность для дальнейших построений и отсылает нас к понятию «воля», характеризующему состояние девушки до брака. В донских свадебных песнях в единый комплекс связывает косу, красу и волю и сама девушка:

Плакала Васильевна по своей косе:
– Свет, моя волюшка, воля девичья,
Свет, моя косушка, коса русая!
Была воля, была воля в роднова батюшки,
Была коса, была краса в родной мамушки
[Листопадов, 1947, с. 31].

В песне, исполняемой на девичнике, «отвитие» ленты и расплетение косы описывается как одновременное умаление и воли («воля унимаетца»), и красоты («красота стираетца») [Там же, с. 30]. В ней вновь подчеркивается недолговременность «девичьей воли»:

Не на веки мне волюшка доставалася, –
Во единый час девичья миновалася
[Там же, с. 31].

В исполняемой также на девичнике песне «Отходилась, отгулялась» речь идет о том, что девушка-невеста оставляет свою волю на попечение подружек («Поручаю вам, мои подруженьки, / Мою волюшку, мою девичью»), однако они должны лишь «примолвить» ее, после чего воля уйдет в чистое поле и падет в темных лесах [Там же, с. 30].

Обратим внимание на то, что понятие «воля» в русской народной традиции находится в связке (дихотомии) с понятием «доля»: девичья воля – бабья доля. Именно обретение девушкой своей доли и дальнейшее включение последней в общую долю нового родственного коллектива является кульминационным моментом свадебного обряда («сыр-каравай», «дары» в доме жениха). Все предшествующие обряды направлены на символическое уничтожение «вольного» (дикого) состояния девушки и ее «окультуривание». При этом происходило поэтапное отлучение девушки от родового коллектива и коллектива сверстниц. С последними, вероятно, связана лента-косоплетка.

Н.В. Зорин считал, что лента, скреплявшая (запиравшая) косу (волю) девушки, была основным знаком ее принадлежности к социально-возрастной группе. Для того чтобы перевести девушку в биосоциальную группу женщин, нужно было изъять ленту и расплести косу. Исследователь отмечал также, что ни коса, ни лента не переходили во владение покупателя; покупка лишь устраняла ленту и давала право на расплетение косы [Зорин, 2004, с. 117]. Однако мы предлагаем обратить внимание на то, что лента и коса в обряде «выкупа невесты» оказывались связанными с разными людьми: коса – с женихом, а лента – либо с девушками – подругами невесты, либо с сестрой невесты (т.е. родственницей по женской линии). Кроме того, лента (чаще всего красного цвета) в русской народной традиции, как отмечают исследователи, соотносилась с девичьими регулами и самой «красотой» (см., напр.: [Мадлевская, 2005, с. 163]). Следовательно, она должна была остаться у кого-либо из девушек (но никак не у жениха).

Судьба косы и в обряде, и в текстах донских свадебных песен складывалась по-другому. Так, в ст-це Гундоровской на Дону перед свадебным пиром между женихом и невестой начиналась борьба за косу. Невеста держала косу двумя руками, а жених с помощью свашек старался вырвать ее. Эту сцену загораживали от глаз публики большой шалью, которую держали дружко и его помощники, что со всей очевидностью свидетельствовало о сокровенной сущности происходящего. Непосредственно перед этим пели песню о том, как «русая коса» просит «сторожей» помочь ей спрятаться под каменной горой, а жених грозит найти ее и вытоптать конем:

Русая коса в обедне стояла,
Она Богу молилась,
Сторожам поклонилась:
“Сторожи мои, сторожи,
Сторожи государевы!
Сторожите меня, сторожи,
Пока я, коса, схоронюся.
Схоронюся я, коса.
Под каменную гору,
С под каменной горушки –
Месяцу под краюшки,
Месяца с подкраюшки –
Соколу под крылышки”.
Алеша речь возговорит:
“С под каменной горы
Конем вытопчу,
Месяца с под краюшек
Я у Бога вымолю,
Ясного сокола я стрелой убью”

[Попов, 1876].

Уничтожение косы в обряде (ее расплетение, раздробление) соотносится с мотивом уничтожения (распыления) «красоты» в других свадебных песнях. При этом красота «уходит» в чистое поле и лес (т.е. расточается в природе), а коса уничтожается женихом. В обоих случаях девичья воля уничтожалась, и это, с нашей точки зрения, был акт, необходимый перед обретением доли.

Что касается такого символа девичества, как венок из цветов и веток, то в описаниях свадебной обрядности донских казаков нам не приходилось фиксировать особых действий с ним (вариант названий – *святки́*), хотя имеются его описания: «Венок надевали: фата марлевая, цветы и ленты… Эти ленты, их щас нет, таких лент-то. Щас нейлон да капрон, а тада просто ленты всякие. И цветы бумажные, и ленты – красные, желтые, зеленые – длинные…» [Полевая запись Шапкиной Р.В. 1997…].

Т.А. Бернштам отмечала, что в русской и украинско-белорусской свадьбе венок не отождествлялся ни с косой, ни с девичьей «красой» [1982, с. 51], однако в донской свадебной песне речь идет о девушке, которая носит свою красу при венке:

При себе красу носила, –
При шалковому поясу,
При тьвятковому при венку

[Листопадов, 1947, с. 109].

Таким образом, «красота» понимается и как воля, и как девственность, и как красота. В донских фольклорных текстах она предстает как некое обобщенное качество девушки, готовящейся к браку. Что касается косы, ленты и венка, то они могут трактоваться в первую очередь как символы разных проявлений (признаков) «красоты» и лишь во вторую – как личные знаки девушки. В ходе свадебного обряда девушка лишалась сначала воли, потом девственности и красоты, а вместе с этим либо уничтожались, либо переходили к другим участникам свадьбы предметы, символизировавшие их.

«Красота» – «сад»?

Исследователи часто называют одним из символов девичьей «красоты» в русском свадебном обряде специально приготовленное украшенное растение (репей, ветка сосны, березы и пр.) – «сад». Н.В. Зорин, рассматривая материалы среднерусской свадьбы, обратил внимание на совпадение времени и места функционирования ленты-косоплетки и деревца-сада и на основе данного наблюдения сделал вывод о том, что на свадьбе использовались одновременно оба символа «красоты», они выполняли близкие функции, но не заменяли друг друга. По его мнению, украшенная ветка только в XIX в. стала восприниматься как символ девушки-невесты (собственно «красоты»). Исследователь указывал, что первоначально она была символом группы девушек брачного возраста, в которую входила невеста, и ссылался на то обстоятельство, что именно девушки обряжали ветку (или репей), навязывали на нее свои ленточки, они же и продавали ее [Зорин, 2004, с. 118]. Однако Н.В. Зорин не обращался к анализу фольклорных текстов, содержащих описание «сада». Меж тем в текстах свадебных песен (в т.ч. в песнях донских казаков) девушка называет «сад» не только своим («мой сад»), но и «батюшкиным-матушкиным». В тех текстах, в которых упоминаются подруги, фигурирует не «сад», а «садочки зеленые» – во множественном числе. Уже только эти замечания мешают безоговорочно принять версию Н.В. Зорина.

Отметим, что существуют и другие трактовки «сада». Так, по мнению Т.А. Бернштам, «сад» фольклорных текстов – это место рождения и смерти девичьей души. В свадебном обряде предметным воплощением фольклорного «сада», с точки зрения исследовательницы, был стол (посад) [1982, с. 58–63]. С.М. Толстая высказала мысль о том, что многообразие цветов и плодов в «саду» могло символизировать множественность возможных воплощений души девушки (она превращается в дерево, цветок, птицу и т.д.) [2010, с. 158–159]. А.К. Байбурин также соотносил деревце (или ветку) с «красотой» невесты, считая, что подготовка такого деревца к обряду символизировала начало процесса отделения «красоты» от невесты [1993, с. 68].

Прежде чем принять или опровергнуть эти суждения, обратимся к описаниям «сада», представленным в свадебных песнях донских казаков. Вновь акцентируем внимание на обилии в «саду» разных растений. В нем растут пахучие васильки, кучерявая гвоздичка, душистая мяточка, зеленая (полевая) вишенка, калина-малина, спелый виноград, сладкая черешенка, елка-сосенка и пр. Сад как сосредоточение в одном месте многого, действительно, мог быть символом

множественности возможных воплощений души девушки (мнение С.М. Толстой). Не исключено, однако, что эта множественность была также отражением различных качеств девушки-невесты: красный цвет калины-малины – символ ее крови, колючесть елки – символ невинности и готовности к «любовной битве» и т.д. Кроме того, наличие в «саду» разных пород деревьев, видов цветов и трав, а также птиц может свидетельствовать в пользу определения его как символа коллективной (родовой, женской) доли. На это указывает и то обстоятельство, что «сад» после ухода невесты из своей семьи остается у ее матери:

Жалко мне, моя мамонька, всё тебе, –
Отдаешь ты свою дочушку от себе;
Остаютца тебе тьветики все мои,
Остаютца да-й пахучие васильки,
Желтая, кучерявая гвоздичка,
Свежая да душистая мяточка

[Листопадов, 1947, с. 32].

В текстах песен девушка просит мать после ее ухода из дома поливать «сад» «горючей слезою». Показателен и запрет, наложенный матерью: дочери нельзя возвращаться в «сад» до истечения семи (в одном из вариантов – трех) лет:

Не велела маменька
Семь лет а мне не бывать.
На первом годочике
Я так прожила.
На втором годочике
Стыскавалася.
А на третим годочике
Я пташкой полечу.
Прилячу я в зелен сад,
Чижало вздохну…

[Полевая запись Порвина В. 1992…].

В другом варианте этой песни дочь приезжает к матери на четвертый год и видит, что в саду ее «стежки-дороженьки» заросли травой. В этих и других текстах мать выступает хранительницей девичьего «сада». Не случайно в свадебном обряде именно мать невесты наказывали, если последняя оказывалась «нечестной». Но тогда вряд ли речь должна идти о «саде» как о месте перевоплощения души (Т.А. Бернштам) или коллективной доли-воли группы девушек (Н.В. Зорин). Вполне возможно, «сад» символизировал женскую семейную (родовую) долю, от которой отделялась часть (доля) дочери-невесты (деревце или ветка):

Там ехали бояре, московские дворяне.
Стали думати, гадать,
Стали грушицу рубать…

[Листопадов, 1947, с. 27].

В донских свадебных песнях предбрачное состояние девушки описывается как осыпание цветов, сама она предстает сломленной веткой:

Уж ты сад, ты мой сад,
Сад молоденький.
Что ж ты рано цветёшь, осыпаешься

Паследний разочик па садику хадила,
С любимай ябланьки виршочик сламила.
Расти, мая ябланька, да весь век ты бис виршочка,
Живи, ты, маминька, весь век биз миня

[Полевая запись Рыбловой М.А. 2001…].

В другой свадебной песне вхождение невесты в предбрачное состояние описывается как заламывание «золотой верхушечки» елки-сосны [Попов, 1876]. В песне казаков-некрасовцев девушка рассказывает, что ее «ёлушку» срубили «в три топора» и сделали из нее весла и лодку, на которой ее и увозят [Тумилевич, 2012б, с. 157]. Сломленная макушка цветущего дерева или срубленное дерево выступают символами потравы и убытка (умаления общей доли), которые отражают состояние, предшествующее обретению девушкой нового статуса.

Интересно, что девичий сад до времени его потравы предстает в свадебных песнях не только как цветущий, но и как золотой или серебряный (золотая верхушка елочки, золотые шишечки и пр.). Этими же качествами обладают и девушки брачного возраста: они носят серебряные и золотые колечки, которые приходят на смену медным. Однако непосредственно перед свадьбой они теряют позолоту и цвет:

Красная Аннушка,
Красная Михайловна
Во тереме сидела,
Сердечком унывши,
Ручки опустивши,
Перстенёчки обронивши.
– Братец мой, Филюшка,
Братец мой родимый!
Подбери перстенёчки,
Ты надень их на ручки,
Чтоб они не валялися,
Золото не маралося,
Серебро не стиралося,
Алексеюшке не досталося

[Попов, 1876].

Обратим внимание на то, что ленту (в обряде) или «тветик» (в песне) невеста передает младшей сестре, а золотые и серебряные перстни – брату, т.е. оставляет и то, и другое в своем роду. В другой песне девушка накануне выданья отдает батюшке золотые ключи со словами: «Вот тебе, батенька, золотые ключи, / Я тебе, батенька, уже не ключница» [Там же]. Ключи в этой переходной ситуации связаны с мотивом «замыкания», т.е. прекращения не только прежнего состояния девушки (девичества), но и прежних родственных отношений. Однако для нас здесь важно то, что накануне перехода девушка-невеста остается ни только без ключей, но и без золота, а также соотносит себя

с засохшей/сломленной веткой. Все эти образы символизируют ее умирание.

Рассмотрев образ «сада», представленный в свадебных песнях и относящийся чаще всего ко времени до брачной ночи, обратимся к обрядности второго дня свадьбы (после брачной ночи), в которой фигурирует предметный символ «сада». Это могла быть ветка калины, вербы, вишни (у низовых казаков), сосны или елки (у верховых). Так, в станицах по Хопру и Бузулуку на второй день свадьбы в доме невесты (обычно силами ее матери и других родственников) украшали лентами и сладостями сосновую или еловую ветку, которая называлась «сад» (в некоторых поселениях – «курник»). Затем «сад» переносили из дома невесты в дом жениха. Уже в это время родственники жениха пытались разорвать ветку на части, им препятствовала сторона невесты. Информанты отмечали, что «умные гости» позволяли донести ветку в сохранности до дома жениха. И лишь там родственники со стороны жениха разрывали «сад» на части и делили между собой: «На второй день сосну наряжали. С садом ходили. Сосну убяруть – там бутылки, конфетки, печенье, кренделя – вот как украсят. Сосна – большая ветка, ёлочка. Несуть её к воротам. Наряжають невестины родители и родственники. Когда утром молодые придуть, позовуть на похмель, то это называется “сад уберут”. И в блюдо накладут закусочки, там всё, гостинчики. Тода, значить, несуть, и подходит невестина родня с этим садом. А жанихова хватають, лезуть, рвуть эти гостинцы. А там идуть, охраняють, чтоб молодые первые сорвали. А тут часто всё порвуть, поломають, и всё раскидають, не дадуть. Иногда пошутять и всё. А какой напьется, он её обломает и всё. А когда принясуть, становят на стол – молодые отрывають. А потом все её срывають, всё разобрали – до дела довели» [Полевая запись Сорокиной Е.Г. 1997…].

В этом и других описаниях важны указания на то, что «сад» изготавливали родственники невесты (обычно мать), а «разорить» его (разорвать на части, разделить между собой) пытались представители родни жениха, а также сами молодые.

Обратим внимание также на то, что в обряде до брачной ночи происходило поэтапное символическое разрушение невесты (лишение воли, девственности, красоты), умаление ее жизненных сил (засыхание «сада», осыпание позолоты и пр.), а после – «собирание», воспроизводилось возрождение и новое цветение не только в новом качестве, но и в ином «составе». Так, в тех поселениях, где не было принято обряжать деревце, каравай украшали ветками, напоминающими сосновые. Их вставляли в середину каравая и подвязывали красной лентой. Когда начиналось подношение даров, каждому дарителю предлагали кусочек такого каравая и ветку. Имеется описание каравая (он выпекался в станицах нижнего Дона), близкого к фольклорному образу «сада»: «имеет вид круглой булки с вершиною, украшенной позолотою; в него втыкаются длинные тонкие палочки, которые спиралью обвиваются узенькими зазубренными полосками теста; концы палочек украшаются фигурами птиц, солнца, месяца и т.п.» [Аврамов, 1875]. Присутствующих на свадьбе (на второй день) одаривали булочками, которые назывались «шишки», иногда их верхушки «золотили». В конце XX в. во время экспедиций в казачьих поселениях на среднем Доне мы фиксировали упрощенные варианты свадебных караваев: с веточками, но без фигурок светил и птиц. В качестве веточек могли служить палочки с накрученными «зубчатыми» («игольчатыми») полосками теста. Иногда к верху палочки привязывалась конфета (замена «птички»).

В низовых станицах на второй день свадьбы (после брачной ночи) дружко (представитель рода жениха) разрезал каравай с золотой верхушкой на части и одаривал ими гостей во время исполнения песни, в которой также упоминались серебряные и золотые предметы:

Дружко каравай краит;
Золотой ножик мает;
Золотые череночки,
На серебряной тарелочке

[Там же].

Одаривание гостей кусками каравая и получение ответных даров были символами включения жизненной силы невесты в общую долю нового родственного коллектива. Таким образом, «сад» в виде деревца, символизировавший долю – жизненную силу невесты, переставал существовать в качестве самостоятельного образа и на второй день свадьбы воплощался в образе нового «сада» – каравая, обновленного, с золоченой верхушкой. Разрезание каравая и раздача шишек символизировали новый передел общей доли, но теперь в нем участвовали все родственники – и жениха, и невесты. Возвращалось золото и самой невесте (молодой): в одной из свадебных песен речь идет о кузнице и молодых ковалях, которые куют и льют новый (венчальный) перстенек для Аннушки [Попов, 1876]. (Отсюда же и кузнецы в группе ряженых на второй день свадьбы, которые «выковывают» новых молодых.) В поздней традиции главными металлическими символами нового статуса станут золотые церковные венцы (на время венчания) и обручальные кольца.

К символам невесты следует отнести также предметы, связанные с образами птиц – лебедушки, уточки, курицы. Орнитоморфная свадебная символика не рассматривается в данной статье ввиду ограниченности объема, однако мы не можем обойти вниманием предметы-символы, которые фиксируют определенные личные качества или состояния девушки-невесты, например, ее семейное положение: сирота, имеет одного родителя или обоих: «Если у невесты родите-

ли живы, под фатой у ней коса, заплетенная до конца. Если жив отец или только мать – до половины. Если круглая сирота – то завязывается хвост» [Полевая запись Рыбловой М.А. 1984…].

Особое внимание в свадебной обрядности уделялось проверке и оглашению того, как и чем закончилась брачная ночь. Если невеста не сохранила целомудрия до свадьбы, об этом символически оповещали всех присутствующих разными способами и с использованием разных предметов: ей клали на стол дырявую ложку, разбивали об пол дырявый горшок, «гоняли по двору худое ржавое ведро» и пр., т.е. использовали предметы, имеющие т.н. пронимальную символику. Символами «правильно» прошедшей брачной ночи были ягоды и ветки калины, а также мед, хорошо известный как один из символов доли (ср. коллективное распитие меда казаками на пирах-*братчинах*). В некоторых донских станицах пучки калины вместе с сотовым медом клали на блюдо и ставили на стол, на котором до этого находился каравай [Поляков, 1875].

Обсуждение результатов

1. Предметы-символы, которые исследователи обычно относят к личным знакам девушки, свидетельствующим о достижении ею брачного возраста, или к символам ее души (коса, лента, венок), на наш взгляд, могут трактоваться как материальное воплощение основных признаков-характеристик обобщенного понятия «красота»: воли и девственности. Во время свадебного обряда девушка лишалась этих качеств, а символизировавшие их предметы либо уничтожались, либо переходили к другим. Последнее было связано с выходом невесты из группы девушек брачного возраста, находившихся с ней в своеобразном духовном родстве. Именно подругам невеста передавала красную ленту-косоплетку (связанную с мотивом крови) во многих вариантах русского свадебного обряда, однако в донской традиции чаще фиксируется передача ленты младшей сестре невесты. Складывается впечатление, что девичья «красота» соотносилась не только (и не столько) с «душевной субстанцией девичьего “Я”», сколько с ее телесностью, или тем, что на современном языке может быть обозначено как психосексуальность – нуждающаяся (по народным представлениям) в ограничении и введении в культурное русло.

2. В свадебном обряде наряду с концептом «воля» отчетливо проявляется и концепт «доля», применительно к невесте воплощенный в образе «сада» и его части (деревце, ветка). В ходе всего длительного свадебного обряда происходило не только отлучение девушки от группы девушек-подруг, но и поэтапное разрывание ее родовых связей, лишение ее доли в семье (символическая смерть), после чего следовало новое рождение, связанное с выделением новой доли – доли замужней женщины в новом роду. Предметные символы невесты фиксировали и маркировали происходящие с ней изменения: цветущий сад – сломанная ветка, засохшее дерево – новый сад с золоченой верхушкой, золотые предметы.

Вывод Н.В. Зорина о том, что соотнесение «сада» с «красотой» невесты в обряде произошло относительно недавно, можно распространить на соотнесение «сада» с группой девушек – подруг невесты. Вполне можно предположить, что первоначально «сад» был связан с родом невесты (и его общей долей), а наряженное деревце (или ветка) являлось символом отделения девушки от семьи-рода и выделения ее (индивидуальной) доли. Во всяком случае, в донской свадьбе (и в текстах песен, и в обрядах) «сад» всегда связан с матерью невесты – хранительницей и распределительницей общеродовой доли.

3. Предложенная Н.В. Зориным классификация может быть дополнена символами невесты, которые отражали ее определенные личные качества и состояния. В первую очередь это ее связь с умершими родственниками (сирота; имеет одного из родителей). Совершенно не случайно именно волосы девушки (как одно из вместилищ жизненной силы) маркировали ее связь с умершими родственниками, что, в свою очередь, должно было определять и их «долевое» участие в обряде. Поскольку в русской народной свадьбе вообще ярко выражен мотив присутствия «мертвых родственников», предков (например, в виде ряженных), наличие предметов-символов той или иной связи невесты с ними представляется вполне закономерным опять же в контексте родовой доли, в новом переделе которой должны принять и живые, и умершие.

Что касается предметов, указывающих на состояние девственности невесты до брачной ночи, то в донской казачьей свадьбе и в общерусской традиции они практически не различались.

Заключение

Анализ материалов свадебной обрядности донских казаков показал, что символы девушки-невесты являлись отражением изменений, касавшихся не только ее как личности, но и ее положения среди собственных родственников и среди родственников будущего мужа. Все эти изменения были связаны с волей, душой и девственностью невесты, а также с ее долей – частью жизненной силы и благ, выделяемых в ходе обряда невесте из общесемейной/родовой и вновь включаемых в общую долю новой семьи. И если такие символы собирательного образа «красоты», как коса, лента и венок соотносились с личностью девушки-невесты, то «сад» и ветка – с семейной (родовой) до-

лей, изменения которой происходили вместе с перемещением невесты из одного родственного коллектива в другой. Главной хранительницей и распорядительницей семейной доли в стане родственников невесты выступала ее мать, что лишний раз подчеркивало инициационный характер свадебного обряда применительно к девушке-невесте.

Таким образом, поиск смыслов предметных символов девушки на материалах свадьбы донских казаков позволил вскрыть глубинные пласты этого обряда, связанные с межродственными отношениями в контексте ключевого для русской народной традиции понятия «доли».

Благодарности

Исследование выполнено в рамках реализации государственного задания ЮНЦ РАН на 2020 г. (№ 01201354248).

Список литературы

Аврамов. Свадебные обычаи в одной из станиц Черкасского округа. Этнографический очерк // Дон. обл. вед. – 1875. – № 51.

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с.

Бернштам Т.А. Обряд «расставания с красотой» (К семантике некоторых элементов материальной культуры в восточнославянском свадебном обряде) // Памятники культуры народов Европы и европейской части СССР / под ред. Т.В. Станюкович. – Л.: Наука, 1982. – С. 43–66.

Гревцова Т.Е. Донские наименования обрядового хлеба первого дня свадьбы на восточнославянском фоне // Современная русская лексикология, лексикография и лингвогеография. 2013 / отв. ред. О.Н. Крылова. – СПб.: Нестор-История, 2013. – С. 81–91.

Гревцова Т.Е. Лексика заключительных дней свадьбы у хоперских казаков // Филологическая регионалистика. – 2017. – № 3 (23). – С. 11–27.

Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. – М.: Индрик, 2011. – 936 с.

Донская свадьба. – Волгоград: Изд-во Волгоград. ин-та управления – филиала РАНХиГС, 2019. – Вып. 1: Материалы архивов и публикаций XIX в. / сост., авторы коммент. и примеч. М.А. Рыблова и А.В. Когитина. – 224 с.

Зорин Н.В. Русский свадебный ритуал. – М.: Наука, 2004. – 248 с.

Колесницкая И.М., Телегина Л.М. Коса и красота в свадебном фольклоре восточных славян // Фольклор и этнография: Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. – Л.: Наука, 1977. – С. 112–122.

Листопадов А.М. Старинная казачья свадьба на Дону. – Ростов н/Д: Ростов. обл. книгоизд-во, 1947. – 120 с.

Мадлевская Е. Девичья красота // Мужики и бабы. Мужское и женское в русской традиционной культуре: иллюстр. энцикл. – СПб.: Искусство-СПБ, 2005. – С. 162–168.

Местные слова и выражения, употребляемые на Дону // Дон. обл. вед. – 1875. – № 10.

Полевая запись Порвина В. 1992 г. в ст-це Алексеевской, Волгоградской обл. // Личный архив В.С. Кубраковой.

Полевая запись Кубраковой В.С. 1992 г. в ст-це Алексеевской Волгоградской обл. Инф. Копылова А.С. 1913 г.р. // Личный архив В.С. Кубраковой.

Полевая запись Сорокиной Е.Г. 1997 г. в ст-це Тепикинской Урюпинского р-на Волгоградской обл. Информант Шаляпин Николай Павлович, 1920 г.р. // Личный архив М.А. Рыбловой. – (Материалы этнографической практики студентов-регионоведов ВолГУ 1997 г. / научн. рук. М.А. Рыблова. Тетр. № 3).

Полевая запись Рыбловой М.А. 1984 г. в хут. Озерки Иловлинского р-на Волгоградской обл. Инф. Антонова Т.И., 1918 г.р. // Личный архив М.А. Рыбловой.

Полевая запись Рыбловой М.А. 2001 г. в хут. Плотникове Даниловского района Волгоградской обл. // Личный архив М.А. Рыбловой.

Полевая запись Шапкиной Р.В. 1997 г. в ст-це Тепикинской Урюпинского р-на Волгоградской обл. Информант Летягина Зинаида Ивановна, 1935 г.р. // Личный архив М.А. Рыбловой. – (Материалы этнографической практики студентов-регионоведов ВолГУ 1997 г. / научн. рук. М.А. Рыблова. Тетр. № 5).

Поляков. Старинная донская свадьба // Дон. обл. вед. – 1875. – № 22.

Попов Е. Из быта донецкого станичника. Народная свадьба в станице Гундоровской. Этнографический очерк // Дон. газета. – 1876. – № 100.

Проценко Б.Н. Свадебный обряд донских казаков во времени и пространстве // Традиционная культура: научн. альманах. – 2004. – № 4 (16). – С. 26–34.

Рудиченко Т.С. Особенности свадебного ритуала казачьих поселений юга Донецкого округа (по экспедиционным материалам) // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани за 1999 год : матлы регион. науч.-практич. конф. Дикаревские чтения (6), ст-ца Крепосная Краснодарского края, 14–16 мая 1999 г. / ред.-сост. О.В. Матвеев, М.В. Семенцов. – Краснодар: Кубанькино, 2000. – С. 91–95.

Словарь русских донских говоров: в 3 т. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1975. – Т. I. – 200 с.

Толкачева С.В. Символика ритуального перехода невесты в русском свадебном песенном фольклоре Удмуртии // Вестн. Удмурт. гос. ун-та. История и филология. – 2013. – Вып. 4. – С. 135–141.

Толстая С.М. Мотив расставания с волей/красотой в северно-русской свадебной причети: поэтика и мифология // «Уведи меня, дорога»: сб. памяти Т.А. Бернштам. – СПб.: МАЭ РАН, 2010. – С. 151–160.

Тумилевич Ф.В. Свадебный обряд у казаков-некрасовцев // Казаки-некрасовцы: язык, история, культура: сборник научных статей / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012а. – С. 36–72.

Тумилевич Ф.В. К вопросу о поэтике песен казаков-некрасовцев // Казаки-некрасовцы: язык, история, культура: сборник научных статей / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. — Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012б. – С. 141–187.

Материал поступил в редколлегию 03.09.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.122-129
УДК 394.2

А.М. Маликов
Университет Палацкого в Оломоуце, Чешская Республика
Univerzita Palackého
Křižkovského, 511/8, Olomouc, 77147, Česká Republika
E-mail: azimmal2018@gmail.com

Празднование Навруза в Бухаре и Самарканде в ритуальной практике и общественных дискурсах (вторая половина XIX – начало XX века)

Празднование Навруза на обширной территории от Османской империи до Восточного Туркестана имело как общие черты, так и определенные различия. В статье рассматривается вопрос о его вариативности в двух крупных городах долины Зерафшана – Бухаре и Самарканде – во второй половине XIX – начале XX в., когда после присоединения региона к Российской империи происходила трансформация празднования Навруза, его ритуальной практики и возникали критические дискурсы о нем среди теологов и просветителей. На основании неопубликованных архивных материалов, мемуаров, публикаций исследователей Российской империи проведен сравнительный анализ двух типов Навруза: официального и народного. В Бухарском эмирате официальную форму праздник приобрел при эмире Музаффаре, стремившемся укрепить имидж династии мангытов в условиях кризиса политической легитимности. Это породило дискуссии среди мусульманских интеллектуалов о необходимости широкого и долгого празднования Навруза, что, по их мнению, выходило за рамки исламской традиции. В Самарканде более тесное взаимодействие оседлого таджикского, узбекского населения с полукочевым тюркским способствовало синтезу земледельческих и скотоводческих элементов в ритуальной практике Навруза. Праздник был легитимизирован через молитвы в мечети, посещение мазаров мусульманских святых и священных речек. В Самарканде, вошедшем в состав Российской империи, на официальном уровне Навруз не отмечался, а масштабы народного празднования сократились.

Ключевые слова: *ислам, долина Зерафшана, ритуальная практика, дискурсы, легитимация.*

A.M. Malikov
Palacký University Olomouc,
Křižkovského 511/8, Olomouc, 77147, Czech Republic
E-mail: azimmal2018@gmail.com

Celebration of Nowruz in Bukhara and Samarkand in Ritual Practice and Social Discourses (the Second Half of the 19th to Early 20th Centuries)

Celebration of Nowruz across a vast territory from the Ottoman Empire to Xinjiang had both common features and differences. This study focuses on distinctions between the festive traditions of two major cities of the Zerafshan Valley (Bukhara and Samarkand) in the late 1800s and early 1900s, when, after Russia's annexation of the region, the Nowruz ritual practices were transformed and subjected to critical discourses among theologians and enlighteners. On the basis of unpublished archival sources, memoirs, and studies of Imperial Russian history, I analyze two types of Nowruz: official and folk. In the Emirate of Bukhara, a broad official celebration of Nowruz was started by Emir Muzaffar, who sought to strengthen the image of the Manghit dynasty during the crisis of political legitimacy. This gave rise to disputes among Islamic intellectuals about the need for a large-scale and prolonged celebration of Nowruz, which they felt went beyond the borders of Islamic tradition. In Samarkand, closer contacts between the settled Tajiks and Uzbeks, on the one hand, and the semi-nomadic Turkic-speaking population, on the other, enhanced the synthesis of agricultural and pastoral elements in the ritual practice of Nowruz. The festival was legitimized by prayers at mosques, and visits to the mazars of Muslim saints and to sacred streams. In Samarkand, following its annexation by the Russian Empire, there was no official celebration of Nowruz, and the scale of popular celebration decreased.

Keywords: *Islam, Zerafshan Valley, ritual practice, discourses, legitimation.*

© Маликов А.М., 2020

Введение

Празднование Навруза является древней традицией многих народов Центральной Азии и Ближнего Востока. В древности с этим праздником связывали мифы об умирающей и воскресающей природе, которые усложнялись другими культурными компонентами в зависимости от региона и эпохи. Его сложная сущность проявлялась в совмещении различных поверий и ритуальной практики.

Целью нашего исследования является изучение празднования Навруза в Бухаре и Самарканде – крупных городах центральной для Среднеазиатского междуречья долины Зерафшана – во второй половине XIX – начале XX в. Выбор периода не случаен. Это позволяет проследить трансформацию празднования Навруза, его ритуальной практики и существовавших дискурсов о нем среди теологов, просветителей после присоединения региона к Российской империи. Феномен Навруза интересен тем, что, несмотря на господство ислама, он сохранял определенные неисламские черты на протяжении многих столетий. На уровне политической власти организация официального празднования Навруза преследовала цель пропаганды положительного образа царствующей династии.

В прошлом существовали две традиции празднования Навруза: согласно одной, его отмечали в середине лета, а по другой он был приурочен ко дню весеннего равноденствия. Официальный, государственный Навруз не всегда совпадал с народным. Легенды связывали введение праздника с именами мифических иранских царей – Каюмарса или Джамшида [Брагинский, 1977, с. 116]. На официальном уровне Навруз отмечался в Сасанидской империи, а также в столице Согда Самарканде в VII–VIII вв. [Grenet, 2006].

Празднование Навруза на официальном уровне в Бухаре описали в своих произведениях известный просветитель XIX в. Ахмад Дониш (1827–1897) [Трактат…, 1967, с. 90–92] и выдающийся таджикский писатель С. Айни (1878–1954) [1960, с. 831–832]. Свои впечатления об этом празднике опубликовал британский подданый Дж. Локе [Locke, 1906].

Первые научные работы о праздновании Навруза в долине Зерафшана были изданы в конце XIX – начале XX в. В публикациях исследователей эпохи Российской империи превалировало убеждение, что Навруз является неисламским праздником с элементами верований арийских народов. Из авторов, описывавших обычаи жителей Самарканда, можно выделить чиновников и ученых, хорошо знавших регион (Г. Арендаренко, А. Гребенкин, А. Хорошхин, Н. Веселовский, В. Вяткин).

О Наврузе и весенних праздниках писали советские востоковеды и этнографы [Снесарев, 1969, с. 205–215; Брагинский 1977; Устаев, 1985; Сухарева, 1986; Лобачева, 1986 и др.]. Проанализировав значение различных общественных, религиозных и семейно-обрядовых празднеств в культурной жизни народа, они внесли значительный вклад в изучение праздничных обрядов. Ценные сведения об организации официального празднования Навруза в эпоху эмиров Музаффара и Абдулахада содержатся в материалах этнографической экспедиции 1940 г. в Бухару под руководством М.С. Андреева, в работе которой участвовали сотрудники Среднеазиатского государственного университета и музеев М.С. Юсупов, Н.В. Русинова, О.Д. Чехович и Л.И. Ремпель [Андреев, Чехович, 1972, с. 9–10]. Некоторые записи были опубликованы, а остальные хранятся в личном фонде О. Чехович в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан и других архивах Узбекистана и Таджикистана. Следует подчернуть, что сведения собирались от разных информаторов и они отличаются описанием деталей празднования. В настоящем исследовании большей частью использованы материалы О. Чехович.

В советский период Навруз изучался как часть народных обрядов неисламского характера, а влияние ислама на его ритуальную практику игнорировалось. Одни исследователи считали праздник нерелигиозным, мирским [Брагинский, 1977, с. 118], а другие признавали его исламизированность [Ремпель, 1981, с. 63]. В постсоветский период Навруз рассматривался не только как древний иранский праздник весеннего равноденствия, но и как проявление специфики центрально-азиатского ислама [Рахимов, 2012, с. 151]. Наиболее известные публикации вместе с новыми статьями по истории Навруза были переизданы в сборнике «Магия Навруза» [2007].

На наш взгляд, Навруз является комплексом, сочетающим в себе представления разнородного в культурных традициях мусульманского населения Центральной Азии. До сих пор не было проведено специальных исследований его официального празднования в среднеазиатских ханствах, отличий от народного, а также существовавших дискуссий по этому поводу.

В Бухарском эмирате к XIX в. календарный праздник Навруз сформировался как многомерное празднество, отражавшее комплекс различных верований не только оседлого земедельческого, но и кочевого скотоводческого населения. Немаловажно, что в определенные периоды истории он использовался как средство пропаганды позитивного образа царствующей династии.

Понимание особенностей празднования Навруза, который не являлся исламским праздником, возможно через изучение ритуалов, их трансформации в исламской традиции и в контексте политической, социальной ситуации в Бухарском эмирате. Существуют

различные определения ритуала. Согласно В. Тэрнеру, «это стереотипная последовательность действий, которые охватывают жесты, слова и объекты, исполняются на специально подготовленном месте и предназначаются для воздействия на сверхъестественные силы...» [1983, с. 32]. Он выделяет сезонные ритуалы, посвященные моменту перемен климатического цикла или началу посева, жатвы; гадания; «церемонии, исполняемые политическими властями для обеспечения здоровья, плодородия людей и злаков на их территории»; ритуалы, сопровождающие приношения духам предков, и др. [Там же]. Ритуалы включали интегративный механизм для объединения социальных групп. Объединяющий эффект праздников зависел от взаимоотношений между группами, эти взаимоотношения могли меняться во время празднеств. Если ритуалы повторяются на протяжении многих лет, то они являются частью традиции [Etzioni, 2004, p. 7, 16]. Традиция концептуализируется как вариации протяженных во времени дискурсов, а не как набор неизменных доктрин или повторение прежних верований и практик [Haj, 2009, p. 4, 6].

Празднества и общепринятые ритуалы, связанные с Наврузом

В Средней Азии Навруз традиционно был праздником весны, нового года, начала земледельческих работ. О его праздновании в древний период сохранилось мало сведений. Можно отметить, что до проникновения ислама в регион идеологическое содержание Навруза было связано с местными вариантами зороастризма. В условиях политеизма получили распространение различные культы, поклонение огню, молитвы в храмах. Совершались жертвоприношения, проводились спортивные состязания, в городах организовывались ярмарки [Ан-Наршахи, 2011, с. 222, 226]. С распространением ислама идеологическая ситуация изменилась. Некоторые видные мусульманские теологи выступали с осуждением пышных празднований Навруза. По мнению Абу Хамида Мухаммада ал-Газали (1058–1111), «...Новый год и *сада** должны исчезнуть и никто не должен произносить их названия...» [2018, с. 296]. Тем не менее празднование Навруза сохранилось и даже проникло в среду полукочевой части тюркского населения Центральной Азии, где в результате многовековой дискуссии теологов о допустимости его празднования мусульманами был узаконен и отмечался наряду с двумя исламскими праздниками – Ураза-байрамом (*Ид аль-фитр* – праздник окончания мусульманского поста) и Курбан-байрамом (*Ид аль-адха* – праздник жертвоприношения) [Веселовский, 1888, с. 141]. С принятием ислама Навруз обрел некоторые мусульманские черты [Лобачева, 1995, с. 25].

В Средние века существовали различные традиции празднования Навруза. Однако в обрядовой практике населения Центральной Азии и Ирана при проведении этого весеннего праздника обнаруживается много общих элементов: приготовление ритуальных кушаний *гуджи, сумаляка*, имевших целью обеспечить богатый урожай текущего года и благополучие участниц обряда [Снесарев, 1969, с. 211, 215]; обрызгивание друг друга водой [Брагинский, 1977, с.118], крашение куриных яиц, ритуал поминовения предков, что отмечено и у уйгуров Восточного Туркестана [Доржиева, 2016, с. 62–79].

Навруз входил в цикл весенних праздников, длившихся на протяжении месяца, являясь их кульминацией [Сухарева, 1986, с. 34]. Одним из них был праздник красного цветка (тюльпан или мак, *сайли гули сурх, кизил гул сайли*), отмечавшийся во многих областях Среднеазиатского междуречья [Там же, с. 34–38] и уйгурами Восточного Туркестана. *Сайли* (народные гуляния) проводились в апреле – начале мая, когда распускались маки и тюльпаны. Накануне и в период празднования Навруза отмечались праздники других цветов, например подснежника (*бойчечак*).

В общих чертах ритуальная практика Навруза аналогична на обширной территории центральной и восточной части мусульманского мира. Вместе с тем в оазисах Средней Азии, в частности в городах долины Зерафшана, его празднование имело свои особенности.

Официальное празднование Навруза в Бухаре и дискурсы интеллектуалов

Исследователи отмечали, что монархи и духовенство пытались внести в Навруз новые религиозные и монархические элементы [Брагинский, 1977, с. 120]. В Бухаре в эпоху эмира Насруллы (1827–1860) государь имел право на продление празднования Навруза. По данным П.И. Демезона, праздник, как правило, продолжался шесть дней. Однажды эмир продлил народные празднества до 15 дней и больше обычного старался принимать участие в веселье своих подданных [Записки…, 1983, с. 70].

Во второй половине XIX – начале XX в. в Бухаре Навруз имел не только народный, но и официальный характер. Бухарский мыслитель и писатель С. Айни отмечал, что народные гуляния начинались задолго до этого весеннего праздника и, в отличие от организованных эмирской властью, проходили каждую пятницу с 22 февраля по 22 марта у святилища в Файзабаде, к северо-востоку от Бухары. Они сопро-

*Древний зороастрийский праздник огня.

вождались различными состязаниями (бег, борьба) между жителями разных сел [Айни, 1960, с. 235–246]. С. Айни констатировал, что Курбан или Рамазан народ праздновал по одному дню, а Навруз неделями. Хотя праздник был связан с появлением всходов пшеницы и ячменя, а также с началом сева других культур, духовенство придало ему религиозную окраску [Там же, с. 826–827].

Навруз приобрел официальную форму при эмире Музаффаре (1860–1885) после поражения в войне с Российской империей в 1868 г. По мнению информаторов С. Айни, Музаффар, утративший свой престиж в народе, во время праздника устраивал народные гулянья, «стремясь отвести людям глаза от собственных неблаговидных поступков». Приглашались борцы и зрители из бухарских районов Карши, Шахрисябза, Хатырчи, Кермине и Нур-Ата. Гуляния проводились в загородном эмирском саду Ширбадан (Ширбудун) и длились до двух месяцев, а иногда до 70 дней [Там же]. Если организация религиозных празднеств Рамазана и Курбан-хаита была в руках бухарского духовенства, то официальное празднование Навруза оказалось в руках эмирской власти, которая использовала эту возможность в своих политических, идеологических, социальных и экономических интересах. У С. Айни мы находим ответ на вопрос, как же эмир сумел придать неисламскому празднику пышный и широкий характер при существовании в Бухаре влиятельного консервативного религиозного сословия *улемов*, к которым относили ученых-теологов, законоведов, преподавателей медресе, знатоков шариата – казиев и муфтиев [Сухарева, 1966, с. 297]: Музаффару после подписания мирного договора с Российской империей удалось полностью подчинить их себе, превратив в «свое орудие» [Айни, 1975, с. 294].

По словам Л.И. Ремпеля, при организации Навруза, имевшего «религиозную и коммерческую окраску», *чадыры* (палатки) чиновников, баев, купцов, ремесленников находились под наблюдением *удайчи* и *саркарда* (военные начальники). Празднества сопровождались выступлениями бродячих артистов, силачей и др. *Сайль* продолжался до 40 дней [Ремпель, 1981, с. 63–64]. Этнический состав приглашенных купцов, ремесленников был разным (таджики, узбеки, евреи, иранцы, афганцы и др.).

При эмире Абдулахаде (1885–1910) в Ширбадане для гуляния были устроены две огороженные площади. Одна называлась «сорокатанобной» (в 10 га). Здесь находились пятничная мечеть, площадки для гуляний и различные постройки для зрелищ, остальные места были заняты продавцами. На другой площади, которую называли «семидесятитанобной» (в 18 га) раскидывались шатры военачальников и крупных торговцев [Айни, 1960, с. 827–829]. В ритуалы праздника включались и представители суфийских общин – ишаны, устраивавшие свои радения. Распорядителем гуляния был верховный судья или *раис* Бухары [Там же], что служит дополнительным подтверждением государственной и религиозной легитимации Навруза.

Согласно данным О. Чехович, «ежегодно 18 марта организовывались празднества в Ширбаданском саду бухарского эмира. На площади, где проходили празднества, распределялись места для гостей праздника. Был установлен порядок установки навесов в зависимости от социального происхождения приглашенных. Лучшие места выделялись узбекам-военачальникам, меньшее число мест отводилось торговцам. Наиболее привилегированным был военачальник – *тупчи баши* или *амир лашкар*, ему отводили самый большой навес. Затем по очереди шли навесы военачальников сарбазов, военачальников войска – эль-нукеров и торговцев» (ЦГА РУз. Р-2678. Оп. 1. Ед. хр. 448. Л. 14). При подготовке к празднику палатки украшали тканями *адраса* и *шохи*, также размещали разнообразные ковры, одеяла, подушки. Для ночного освещения устанавливали 300 фонарей (Там же). Число мелких торговцев доходило до 70. От каждого ремесла участвовало от 4 до 10 чел. При эмире Музаффаре *сайли*, включая Навруз, длились 70–80 дней, во время которых чиновники награждались подарками от имени эмира. На *сайль* приезжали гости, торговцы из разных районов Бухарского эмирата, Афганистана, Ферганы, Самарканда, Хорезма, Кашгара, Мешхеда. Ставить лавки в саду Ширбадан разрешалось только избранным купцам из Самарканда, Кабула, Ургенча, Мешхеда, Пешавара (Там же, л. 39). Видимо, стремясь подчеркнуть свое величие, эмир организовывал празднества у себя в саду, где позже был построен один из его дворцов. Здесь отсутствовали какие-либо святилища, поэтому ритуалы ограничивались коллективной молитвой в мечети, после которой следовали спортивные состязания, развлечения, раздача подарков победителям и приближенным.

После завершения официальных мероприятий происходил трехдневный *сайли мазор* – посещение женщинами бухарских священных мазаров Исмаила Самани и Чашма-и Аюб, а мужчинами кладбища Ходжа Исмат [Ремпель, 1981, с. 63–64]. Отметим, что последующие весенние празднества бухарцев проходили у святилища лидера накшбандизма Бахауддина Накшбанда (1318–1389) и других наиболее популярных мазаров Бухары.

После установления протектората Российской империи над Бухарским эмиратом 21 марта генерал-губернатор Туркестана направлял делегацию в Бухару для поздравления эмира с Наврузом [Абдирашидов, 2011, с. 138, 146]. Очевидно, она принимала участие в официальных празднествах в Ширбаданском саду.

С. Айни отмечает, что в начале XX в. на празднике выступали русские артисты цирка [1960, с. 829–833]. Инициатором их приглашения был эмир Абдулахад, который, видимо, с одной стороны, стремился разнообразить увеселения для гостей, а с другой – подражал властям Туркестанского генерал-губернаторства, приглашавшим цирковых артистов из европейской части Российской империи. Таким образом, в мусульманском обществе Бухары к празднованию были допущены лица немусульманского вероисповедания, и это нововведение было толерантно воспринято населением.

Празднование Навруза в Бухаре описал британский подданый Дж. Локе, который в марте 1904 г. присутствовал на официальных мероприятиях во дворце эмира и как почетный гость получил возможность наблюдать за празднеством из эмирской ложи. Он даже сделал несколько фотографий музыкантов, борцов и собравшихся на праздник жителей. Дж. Локе наблюдал, как 5 000 гостей совершали коллективный намаз перед началом празднества [Locke, 1906].

Данных, которые позволили бы проследить какую-то динамику в праздновании Навруза во второй половине XIX – начале XX в., недостаточно. Имеются лишь сведения об изменении продолжительности празднеств и мест их проведения. По данным С. Айни, при эмире Абдулахаде период гуляний сократился до полутора месяцев. Они начинались в Ширбаданском саду, продолжались в загородном дворце Ситораи Мохи-Хоса и в городке Кермине, где эмир проводил большую часть времени [Айни, 1960, с. 826–828]. При эмире Алим-хане (1910–1920) празднества были еще более сокращены и проходили в бухарском саду Ситораи Мохи-Хоса (ЦГА РУз. Р-2678. Оп. 1. Ед. хр. 448. Л. 20).

Критически к широкому и пышному празднованю Навруза относились некоторые бухарские интелектуалы, в т.ч. мыслитель Ахмад Дониш. Он подчеркивал, что «из числа новых обычаев, которые во время этого эмира (Музаффара. – **А. М.**) получили распространение, было празднование нового года» [Трактат…, 1967, с. 90–91]. Дониш признавал исламизированность праздника: «Удивительно, что шейхов города вместе с мюридами также приглашали на эти празднества. Собравшись в круг, они читали маснави Мавлави. В другом месте устраивали зикр, а еще где-нибудь читали молитвы Корана...» [Там же]. Вместе с тем он довольно критически оценивал организацию праздника: «...тут в полном разгаре был базар разврата, азартных игр...» [Там же, с. 91–92]. По мнению автора трактата, «в исламе во время эмира Музаффара проявился всеобщий упадок и полное расстройство. Шариат был принижен властью...» [Там же, с. 94–95]. Взгляды Дониша относительно ограничения расточительства нашли поддержку у бухарских реформистов в начале XX в. [Самойлович, 1922, с. 98]. Вероятно, критика пышных празднеств со стороны влиятельных представителей исламских интеллектуалов была одной из причин сокращения масштабов и продолжительности официального празднования Навруза в Бухаре при преемниках эмира Музаффара.

Следуя авторитетному мнению С. Айни, мы считаем, что с эпохи Музаффара в Бухаре существовало два типа празднования Навруза: официальный и народный. На официальные мероприятия власти приглашали гостей из разных городов и других государств, а в народном праздновании в основном участвовали жители Бухарского оазиса. Празднества привлекали бухарцев как семейное торжество, почитание предков, одновременно они дополнялись исламской культовой обрядностью [Ремпель, 1981, с. 63].

Бухарские эмиры использовали официальное празднование Навруза в своих политических, идеологических, социальных и экономических интересах. Централизованная организация праздника, с одной стороны, преследовала цель сплочения политической и экономической элиты Бухары, которая оказалась расколотой в результате поражения эмирата в войне с Российской империей, с другой – демонстрировала простому народу образ власти, следующей давним традициям, освященным мусульманским духовенством. Расширение масштаба празднования, организация торговли, привлечение различных местных и иностранных купцов в условиях экономического кризиса могли иметь определенный положительный экономический эффект для Бухары.

Празднование Навруза в Самарканде

Самарканд, располагавшийся в долине среднего Зерафшана, являлся мусульманским городом, известным своими исламскими святилищами, мечетями, и вместе с тем имел свои специфичные черты, локальную идентичность, недостостаточно изученную исследователями. Для него издревле была характерна полиэтничность, а в рассматриваемый период здесь жили таджики, узбеки, иранцы, евреи, туркмены, татары и др. Если столичная Бухара находилась в окружении преимущественно оседлого земледельческого населения, то Самарканд окружали поселения осевших или полукочевых тюркоязычных скотоводов.

Одним из элементов городской культуры Самарканда была конноспортивная игра, характерная для скотоводческого населения, – *купкари (улак, кок-бору)*. Она проводилась обычно в марте и октябре, по случаю свадеб, обрезания малолетних [Арендаренко, 1877], а также во время празднования Навруза. Видимо, эта игра вошла в городскую культуру Самарканда в позднем Средневековье, когда происходил процесс массо-

вого оседания полукочевых групп населения в Самаркандском оазисе [Маликов, 2018, с. 120–122]. Кроме того, во время празднования Навруза на территории района Ходжа-Ахрар устраивали кулачные бои, в которых отличались волжские татары и узбеки [Гребенкин, 1872, с. 39].

Сакральные места, где в Самарканде отмечался Навруз, в XIX в. были сосредоточены в районе площади Регистан, культового комплекса Шахи-Зинда и древнего городища Афрасиаб. В мечети Намазга, расположенной на юго-восточной окраине Самарканда, совершался коллективный намаз, а в прилегающем к ней обширном саду с прудами проходили последующие народные гуляния (*сайль*) [Россия…, 1913, с. 677]. В день Навруза жители посещали протекавший вблизи Шахи-Зинда арык Оби-Машхад. По мнению исследователей, образ самаркандского святого Шахи-Зинды, видимо, был связан с Наврузом и культом Сиявуша (герой священной книги зороастрийцев «Авесты» и персидского эпоса «Шах-намэ») [Ремпель, 1972, с. 45]. Таким образом, произошел синтез исламской идеи жертвенности во имя религии и неисламских представлений о культах святых, включая Сиявуша.

По данным А. Хорошхина, в первое десятилетие после вхождения Самарканда в состав Российской империи массовость в праздновании Навруза сильно сократилась. Основные мероприятия (*сайль* с купанием) проходили на ключе Оби-Машхад за воротами Шахи-Зинда [Хорошхин, 1876, с. 207]. В. Вяткин интерпретирует Навруз как мусульманский Новый год, но с целым рядом общих для всех арийских народов обрядов и обычаев, которые он противопоставляет традициям ислама [1897]. По его сведениям, общая схема новогодних празднеств в том виде, в каком они сохранились в Самарканде до конца XIX в., была такова: 1) зажигание огней и хождение с огнем на арыке Оби-Рахмат; 2) купание в этом арыке; 3) предсказания; 4) питье заговоренной воды; 5) *казан тулды**; 6) употребление в пищу преимущественно птичьего мяса; 7) взаимное дарение крашеных вареных яиц; 8) восхождение на высокие места; 9) хождение с визитами; 10) гуляния за городом, скачки с козлом, борьба и пр. [Там же].

Перед Наврузом в Самарканде предварительно заготовлялись специальные факелы – *аташ байдаки* (*машалы*). Их зажигали, и самаркандцы, собиравшиеся в группы в зависимости от местожительства (квартал, пригородное село), направлялись к каналу Оби-Рахмат, где мужчины купались, чтобы смыть грехи [Там же]. Название канала носило сакральный характер. Аналогии находим на юге Узбекистана у дербентцев, по поверьям которых перед Наврузом наступали четыре дня благодатной воды – «оби рахмат» (с 14 по 17 марта). В случае дождливых дней собирали дождевую воду и купались в ней [Устаев, 1985, с. 99–100]. Широкое распространение этого обычая подтверждается записанным нами рассказом о святой воде «оби рахмат» в Шафирканском р-не Бухарской обл. (Полевые материалы автора. Шафирканский туман Бухарской обл. Республики Узбекистан, 2001 г.).

Перед Наврузом в Самарканде распространялись предсказания мунаджимов (астрологов), которые за вознаграждение составляли т.н. *сал-нама* (в пер. с перс. «годовая грамота») и рассылали представителям знати, богачам, знакомым [Вяткин, 1897]. Существовали списки «Сал-намэ» на тюркском языке. До нас дошел список, переписанный в Бухаре в начале XIX в., в котором повествуется о годах 12-летнего «животного» цикла, связанных с ними приметах, а также сообщается, каким будет новый год в зависимости от того, на какой день недели выпадет Навруз [Щербак, 1974, с. 171–179]. Перед самым праздником в продаже появлялись лоскутки бумаги с аятами из Корана с пожеланиями благополучия, а также крашеные вареные яйца. В каждом доме варили пищу в доверху наполненных котлах (*казан тулды*), чтобы наступающий год был урожайным. Для гуляний выбирались преимущественно возвышенности с целью получить должность, разбогатеть [Вяткин, 1897]. Следующий за Наврузом *сайли гули сурх* проходил у мазара Чупан-аты [Сухарева, 1986, с. 33].

В начале XX в. реформисты Самарканда неоднозначно относились к празднованию Навруза. Так, в статье в журнале «Ойина» рекомендовалось сократить 40-дневные гуляния в Навруз до трех дней [Абдирашидов, 2011, с. 217]. Вместе с тем реформаторы признавали, что этот праздник является частью религии мусульман края [Сиддикий Ажзий, 2005, 142-б].

С включением в состав Российской империи в Самарканде сложились две части города – мусульманская и европейская, – для которых были присущи свои особенности и представления о городской идентичности. Российские власти стремились упорядочить празднование Навруза и других мусульманских праздников в Самарканде на основе российского законодательства. 29 марта 1908 г. исполняющий дела Самаркандского уездного начальника подполковник Мартинсон издал постановление о плате за места, отводимые под качели, карусели, балаганы во время местного праздника *сайль**, устраиваемого на Афра-

*Букв. «котел наполнился» (пер. с тюрк.) – обычай приготовления пищи в доверху наполненных котлах.

*В некоторых документах российской администрации в Самарканде вместо слова «Навруз» использовался народный термин *сайль*.

сиабе (городище древнего Самарканда), и Святой Пасхи в русской части города, которое было утверждено военным губернатором области 29 апреля того же года (ЦГА РУз. ф. И-18. Оп. 1. Д. 8854. Л. 2). Анализ документа показывает, что в российских период, по крайней мере к началу XX в., сформировалось несколько сакральных мест города в зависимости от религиозно-конфессиональной принадлежности его жителей. Празднества европейцев проходили в европейской части города, а мусульман – на Афрасиабе, святых мазарах и в мечетях.

Заключение

Древний праздник Навруз традиционно отмечался в мусульманском обществе Центральной Азии, несмотря на господство исламской идеологии. В Бухарском эмирате его широкое официальное празднование началось при эмире Музаффаре, что было связано со стремлением последнего укрепить имидж узбекской династии мангытов в условиях кризиса политической легитимности в результате поражения в войне с Российской империей и консолидировать коммерческую, военную и политическую элиты страны. В начале XX в. по инициативе бухарского эмира Абдулахада к участию в празднике были допущены российские артисты цирка, т.е. лица немусульманского вероисповедания.

В праздновании Навруза слились неисламские верования и исламская интерпретация праздника, который был легитимизирован через молитвы в мечети, посещение мазаров мусульманских святых. Давние дискуссии среди *улемов* о необходимости отмечать Навруз в XIX в. обрели другие формы: осуждались определенные принципы и широкие масштабы празднования. Эта критика, по-видимому, оказала влияние на сокращение его продолжительности при последующих эмирах. Народное празднование Навруза отличалось от официального тем, что включало в себя ритуалы почитания предков с посещением святых мазаров.

В Самарканде, для которого была характерна полиэтничность, более тесное взаимодействие оседлого таджикского, узбекского населения с полукочевым тюркским способствовало синтезу земледельческих и скотоводческих элементов в ритуальной практике Навруза. Внутригородское административное разделение на мусульманскую и европейскую части отражалось на принципе организации празднующих. С включением Самарканда в состав Российской империи масштабы народного празднования сократились.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой и научной поддержке Европейского фонда регионального развития, проект CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791.

Список литературы

Абдирашидов З. Аннотированная библиография туркестанских материалов в газете «Таржумāн» (1883–1917). – Tokyo: Department of Islamic Area Studies, Center for Evolving Humanities, Graduate School of Humanities and Sociology, The University of Tokyo, 2011. – 232 с. – (Central Eurasian Research Series; N 5).

Айни С. Воспоминания. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 1087 с.

Айни С. История мангытских эмиров // Собр. соч. – М.: Худож. лит., 1975. – Т. 6. – С. 266–312.

Ал-Газали Мухаммад Абу Хамид. Кимийа-йи саʻадат (Эликсир счастья). – СПб.; Казань: Петербург. Востоковедение, 2018. – Т. 2. – Рукн 2: Обычаи / пер. с перс. и вступ. ст. А.А. Хисматулина. – 328 с.

Андреев М.С., Чехович О.Д. Арк (кремль) Бухары в конце XIX – начале XX вв. – Душанбе: Дониш, 1972. – 163 с.

Ан-Наршахи Абу Бакр Мухаммад ибн Джа'фар. Та'рӣх-и Бухāрā: История Бухары / пер., коммент. и примеч. Ш.С. Камолиддина; археол.-топогр. коммент. Е.Г. Некрасовой. – Ташкент: SMI-ASIA, 2011. – 600 с.

Арендаренко Г. Из Самарканда // Туркестанские ведомости. – 1877. – № 19.

Брагинский И.С. Праздник весны – Ноуруз и отражение в нем древнейших общих культурных традиций народов советского Востока // Брагинский И.С. Исследования по таджикской культуре. – М.: Наука, 1977. – С. 113–120.

Веселовский Н.И. Рамазан в Самарканде и Курбан-байрам в Бухаре // Истор. вестн. – 1888. – № 33. – С. 141–147.

В.В. [Вяткин]. Науруз в Самарканде // Туркестанские ведомости. – 1897. – № 14.

Гребенкин А.Д. Таджики // Русский Туркестан: Сборник, изданный по поводу политехнической выставки / под ред. В.Н. Троцкого. – М.: [Университет. тип.], 1872. – Вып. 2. – С. 1–50.

Записки о Бухарском ханстве: (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича). – М.: Наука, 1983. – 149 с.

Доржиева Д.Д. Календарные праздники и обычаи уйгуров в контексте обрядовой культуры народов Центральной Азии. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2016. – 196 с.

Лобачева Н.П. К истории календарных обрядов у земледельцев Средней Азии // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии: ист.-этногр. очерки. – М.: Наука, 1986. – С. 6–31.

Лобачева Н.П. Огни сафара в Хорезме (о забытых праздниках) // Этногр. обозрение. – 1995. – № 5. – С. 24–36.

Магия Навруза / сост. С. Абдулло. – Алматы: Атамура, 2007. – 320 с.

Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана (XVIII – начало XX в.). – Ташкент: Muharrir nashriyoti, 2018. – 216 с.

Рахимов Р.Р. *Нихоли ‘умр*: дерево в мифоритуальной символике таджиков // Центральная Азия: традиция в условиях перемен. – СПб.: МАЭ РАН, 2012. – Вып. III. – С. 106–159.

Ремпель Л.И. Об отражении образов согдийского искусства в исламе // Из истории искусства великого города: (К 2500-летию Самарканда). – Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1972. – С. 36–52.

Ремпель Л.И. Далекое и близкое: Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары. Бухарские записи. – Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1981. – 302 с.

Россия: Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей / под ред. В.П. Семенова Тянь-Шанского и общ. руководством П.П. Семенова Тянь-Шанского, В.И. Ламанского. – СПб.: А.Ф. Девриен, 1913. – Т. 19: Туркестанский край / сост. В.И. Масальский. – 861 с.

Самойлович А. Первое тайное общество младобухарцев // Восток. – Петербург: Всемир. лит., 1922. – Кн. 1. – С. 97–99.

Сиддиқий Ажзий. Ташаккур ва рижо // Исмоилбек Гаспринский ва Туркистон / масъул муҳаррир Н. Каримов. – Тошкент: Шарқ, 2005. – С. 140–143.

Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с.

Сухарева О.А. Бухара в XIX – начале XX в. (позднефеодальный город и его население). – М.: Наука, 1966. – 328 с.

Сухарева О.А. Празднества цветов у равнинных таджиков (конец XIX – начало XX в.) // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – С. 31–46.

Трактат Ахмада Дониша «История мангытской династии» / пер., предисл. и примеч. И.А. Наджафовой. – Душанбе: Дониш, 1967. – 141 с.

Тэрнер В. Символ и ритуал: пер. с англ. / вступ. ст. В.А. Бейлиса. – М.: Наука, 1983. – 277 с.

Устаев Ш.У. Новый год (Навруз) в мифологических воззрениях таджиков и узбеков // СЭ. – 1985. – № 6. – С. 97–104.

Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – СПб.: [Тип. и хромолит. А. Траншеля], 1876. – [6], 583 с.

Щербак А.М. Сал-наме (по рукописи В 721, хранящейся в Рукописном отделе ЛО ИВ АН СССР) // Письменные памятники Востока: Историко-филологические исследования: Ежегодник. 1971. – М.: Наука, 1974. – С. 171–189.

Etzioni A. Holidays and Rituals: Neglected Seedbeds of Virtue // We are what we celebrate: understanding holidays and rituals / eds. Amitai Etzioni, Jared Bloom. – N. Y.: New York Univ. Press, 2004. – P. 1–40.

Grenet F. What was the Afrasiab painting about? // Royal Nauruz in Samarkand: Proceedings of the conference held in Venice on the pre-Islamic paintings at Afrasiab / a cura di M. Compareti, E. de la Vaissiere. – Pisa; Roma: Academia editoriale, 2006. – P. 43–50.

Haj S. Reconfiguring Islamic tradition: reform, rationality, and modernity. – Stanford: Stanford Univ. Press, 2009. – 304 p.

Locke J. New Year’s festival at Bokhara / Outing. – 1906. – Vol. 47, N 4. – P. 387–398.

Материал поступил в редколлегию 03.11.19 г.,
в окончательном варианте – 20.11.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.130-139
УДК 904:72

И.В. Балюнов
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
Красная пл., 1, стр. 4, Тобольск, 626152, Россия
E-mail: balyunoff@mail.ru

Архитектурно-археологические исследования на территории Тобольского кремля в 1950-х годах (по фотодокументам Тобольского музея-заповедника)

В 1950-х гг. в связи с реставрацией ансамбля Тобольского кремля на его территории проводились масштабные раскопки с целью изучения памятников каменного зодчества. Информация о результатах этой работы в научной литературе представлена достаточно скудно. Ценным источником являются фонды Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, где находятся материалы фотофиксации раскопок, фотокопии чертежей и планов. Благодаря этим и некоторым другим источникам, установлено, где и как проводились исследования, какие объекты были выявлены и как полученные результаты использовались при реставрации ансамбля Тобольского кремля. Десятки шурфов дали возможность изучить состояние фундаментов, их конструкции и глубину заложения построек. Важнейшим результатом работ, проведенных под руководством Ф.Г. Дубровина, является исследование военно-оборонительных сооружений Тобольского кремля конца XVII в. – единственных каменных крепостных сооружений в Сибири этого времени. Из-за многочисленных перестроек они сохранились до наших дней во фрагментарном виде. Исследовались внушительные участки северной, южной и восточной ограды. Были выявлены остатки стен и башен, расчищены их фундаменты, установлены точное расположение и общая планировка.

Ключевые слова: *Тобольск, кремль, XVII в., Ф.Г. Дубровин, стены, башни, подпружные арки.*

I.V. Balyunov
Tobolsk Historical and Architectural Museum-Reserve,
Krasnaya pl. 1, bldg. 4, Tobolsk, 626152, Russia
E-mail: balyunoff@mail.ru

Architectural and Archaeological Studies in the Tobolsk Kremlin During the 1950s (Based on Photographic Documents at the Tobolsk Museum-Reserve)

In the 1950s, under the Tobolsk Kremlin restoration project, large-scale excavations were carried out to examine the monuments of stone architecture. Published accounts of the findings are scarce. Valuable sources of information are photographic archives of the Tobolsk Historical and Architectural Museum-Reserve. Materials include photographs of excavations and photocopies of drafts and plans. Owing to these and certain other sources, it has become possible to say exactly where and how the excavations were conducted, which monuments were detected, and how the findings were used during the restoration of the kremlin. Several dozens of test pits provided a possibility to evaluate the condition of the foundations, their layout, and depth. The most important result of the work carried out under F.G. Dubrovin's guidance, is the study of late 17th century fortifications. Owing to numerous reconstructions, they have survived to this day in a rather fragmented state. Large areas of the northern, southern, and eastern fortifications were revealed, including remains of walls and towers. Their foundations were cleared; their exact location and general layout were assessed.

Keywords: *Tobolsk, kremlin, 17th century, F.G. Dubrovin, walls, towers, supporting arches.*

© Балюнов И.В., 2020

Введение

В многочисленных публикациях, посвященных архитектурному наследию Тобольского кремля, неоднократно встречаются упоминания о раскопках, проведенных на его территории в 50-х гг. XX в. Например, в книге В.И. Кочедамова указано: «Серьезная и систематическая работа по археологическому изучению и реставрации кремлевских объектов началась в 1956 году и ведется по настоящее время опытным инженером Ф.Г. Дубровиным» [1963, с. 144]. Однако следует констатировать, что опубликованные материалы дают достаточно смутное представление об объемах и результатах этой работы. Полноценных отчетов Ф.Г. Дубровина к настоящему времени не выявлено. Остается только надеяться, что они существуют и когда-нибудь будут введены в научный оборот. Вместе с тем в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника сохранились значительные по объему фотодокументы, позволяющие частично ликвидировать существующий пробел. Наибольшую ценность, на наш взгляд, представляет авторский альбом (номер хранения ТМ-15849), посвященный реставрации Тобольского кремля. В нем есть раздел «Фотофиксация исследований памятника в натуре путем зондажей, шурфов и раскопок». Эти и некоторые другие источники позволяют установить, где и как осуществлялись изыскания, какие объекты были выявлены и как результаты работ использовались при реставрации.

Цель настоящей публикации – ввести в научный оборот фотоматериалы, на основании которых можно охарактеризовать археологические исследования, проведенные Ф.Г. Дубровиным в 1950-х гг. на территории Тобольского кремля. Привлеченную источниковую базу можно условно разделить на три группы. Первая – опубликованные данные, прежде всего представленные в работах В.И. Кочедамова [1963], С.Н. Баландина [1981], В.В. Кириллова [1984] и Л.П. Барабановой [1986]. Вторую группу можно назвать основной, ее образуют хранящиеся в фондах музея-заповедника фотографии и фотокопии чертежей объектов Тобольского кремля 50–60-х гг. XX в., выполненные Ф.Г. Дубровиным (номера хранения ТМ-15849, НВ-2211, НВ-4282). Совокупный объем этих материалов составляет несколько сотен фотографий. Основная их часть посвящена реставрационной деятельности. Например, они демонстрируют состояние объектов до и после проведенных работ. Фотоматериалы, как правило, сгруппированы в фондах по территориальному признаку, т.е. дают представление о работах на конкретных участках кремля. При этом фотографии сделаны с разных ракурсов в разное время. Можно сказать, что «археологические» источники в данном случае надежно подтверждаются «архитектурными». Реставрация осуществлялась с непосредственным участием Тобольского музея-заповедника. Этот факт является дополнительным свидетельством оригинальности фотоматериалов, хранящихся в его фондах. Стоит отметить, что в настоящей публикации представлена лишь та часть изображений, которая позволяет рассказать именно об архитектурно-археологических исследованиях Тобольского кремля. Вспомогательную роль в изучении темы играют данные, полученные в ходе археологических исследований и наблюдений 2000-х гг. Они частично опубликованы [Адамов, 2000, 2001; Балюнов, 2006, 2007; Данилов, 2007; Адамов, Балюнов, Данилов, 2008; Балюнов, Данилов, 2017; Загваздин, 2018]. Названные группы источников хорошо дополняют и верифицируют друг друга.

Основные результаты раскопок

История Тобольского кремля начинается в 1587 г., когда отряд служилых людей во главе с письменным головой Данилой Чулковым заложил на Троицком мысу близ впадения р. Тобол в р. Иртыш деревянный острог. Через несколько лет Тобольск получил статус административного центра Сибири, в связи с чем существовавшая крепость приобрела право именоваться кремлем. Создание Сибирской и Тобольской епархии в 20-х гг. XVII в. закрепило за городом его высокий статус и определило новый этап строительства. С этого времени установилось деление крепости на две части – воеводскую и архиерейскую. В конце XVII столетия на территории последней были возведены первая в Сибири каменная постройка – Софийско-Успенский кафедральный собор – и оборонительные сооружения – стены и башни. В начале XVIII в. по проекту С.У. Ремезова были построены Приказные палаты, Гостиный двор, Рентерея. Архитектурный ансамбль, сложившийся в это время, в дальнейшем постоянно изменялся. Например, стены и башни многократно переделывались, к началу XX в. значительная их часть была разрушена полностью.

Во второй половине XX в. остро встал вопрос о восстановлении памятников каменного зодчества города. В 1952 г. специалисты Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры СССР провели предварительное обследование архитектурных объектов Тобольского кремля. Позднее архитектором Е.П. Щукиной был разработан проект их реставрации. На протяжении нескольких лет (1953–1956) производились небольшие работы по первичной консервации разрушающихся зданий, их архитектурные обмеры и т.п. [Кочедамов, 1963, с. 144]. Как уже было сказано, по-настоящему преображение Тобольского кремля началось в 1956 г., ког-

да работы по его восстановлению возглавил московский архитектор Ф.Г. Дубровин, занимавшийся этим ок. 15 лет вплоть до своей смерти. Его деятельность предвосхитила решение правительства РСФСР о создании в 1961 г. на базе Тобольского краеведческого музея и архитектурных памятников города государственного историко-архитектурного музея-заповедника, центром которого по сей день является ансамбль Тобольского кремля (рис. 1).

Проведенным в середине XX в. реставрационным работам предшествовали серьезные исследования. Основную информацию о них можно получить, обратившись к фотоматериалам из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Особую важность в рамках нашей темы представляет «План Тобольского кремля с нанесением выполненных научно-исследовательских, ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и планировочных работ на территории Кремля по состоянию на 1 ноября 1961 г.» Ф.Г. Дубровина (рис. 2). Он позволяет заключить, что все работы производились исключительно в восточной части Троицкого мыса (т.н. Софийский или Архиерейский двор). Этому достаточно легко найти объяснение: в западной части (Воеводский двор) архитектурные памятники не требовали серьезной реставрации. Кроме того, Тобольский тюремный замок, возведенный там в середине XIX в., спустя столетие продолжал использоваться по своему прямому назначению. Это обстоятельство во многом определило то, что раскопки в 1950-х гг. были проведены по периметру Софийского двора и примыкающей к нему территории.

На чертеже показано расположение шурфов. Их было более 30 (не все, видимо, отмечены, что затрудняет точный подсчет), они имеют сквозную нумерацию, которая не обнаруживает какой-то последовательности в связи с локациями работ. Вероятно, решение о местах закладки шурфов принималось не по заранее принятому плану, а по мере производственной необходимости. Очевидно, что эти раскопки проводились, в первую очередь, с целью изучения состояния фундаментов, их конструкции и глубины заложения тех построек, которые ожидали реставрации. Например, таким образом исследовались здание Гостиного двора, Софийский собор, Архиерейские конюшни и опорные стены Прямского взвоза. Получить некоторое представление об этих работах можно по фотографиям, показывающим раскрытые участки кладки апсид Софийского собора (рис. 3). Исключением являются некоторые шурфы, заложенные вдоль

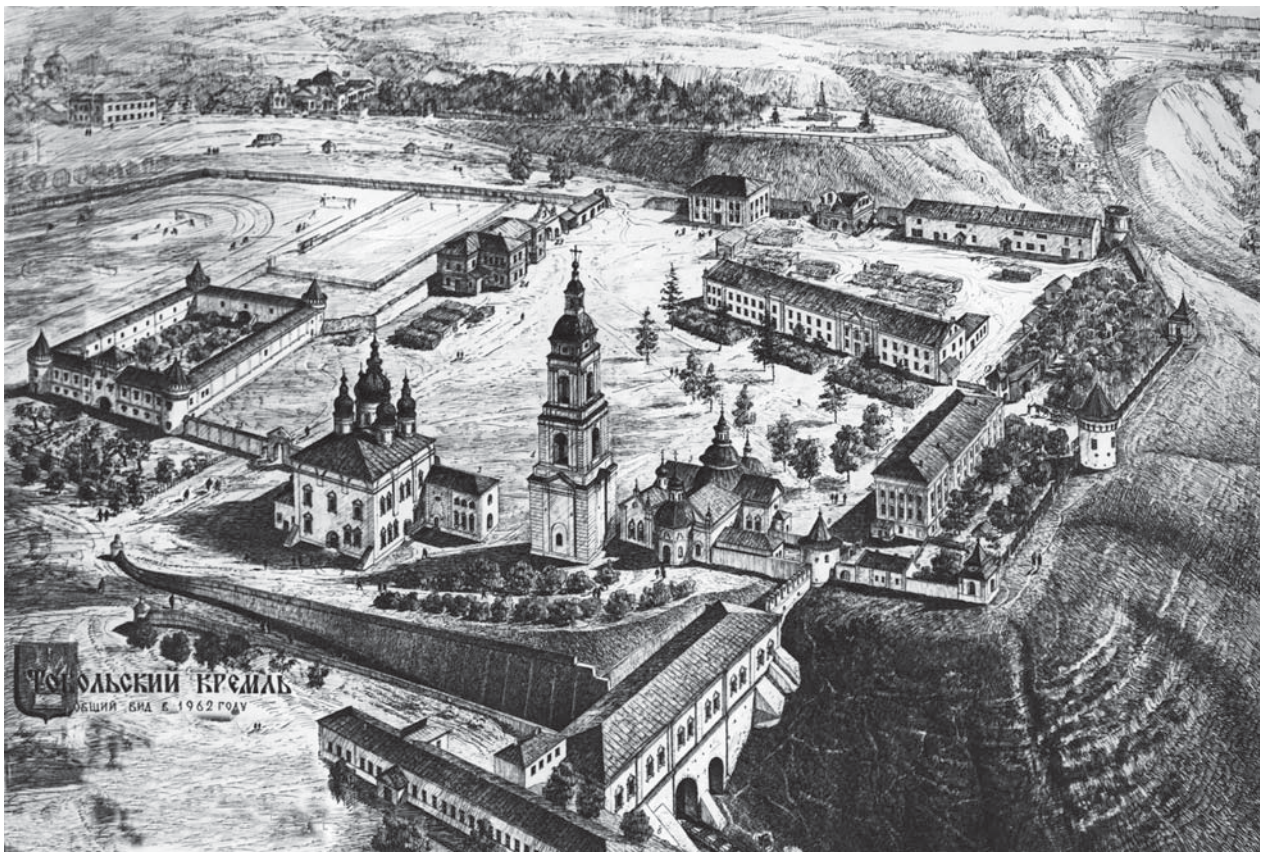

Рис. 1. Общий вид на Тобольский кремль с юго-востока. 1962 г. Рисунок из альбома Ф.Г. Дубровина (ТМ-15849 / 51).

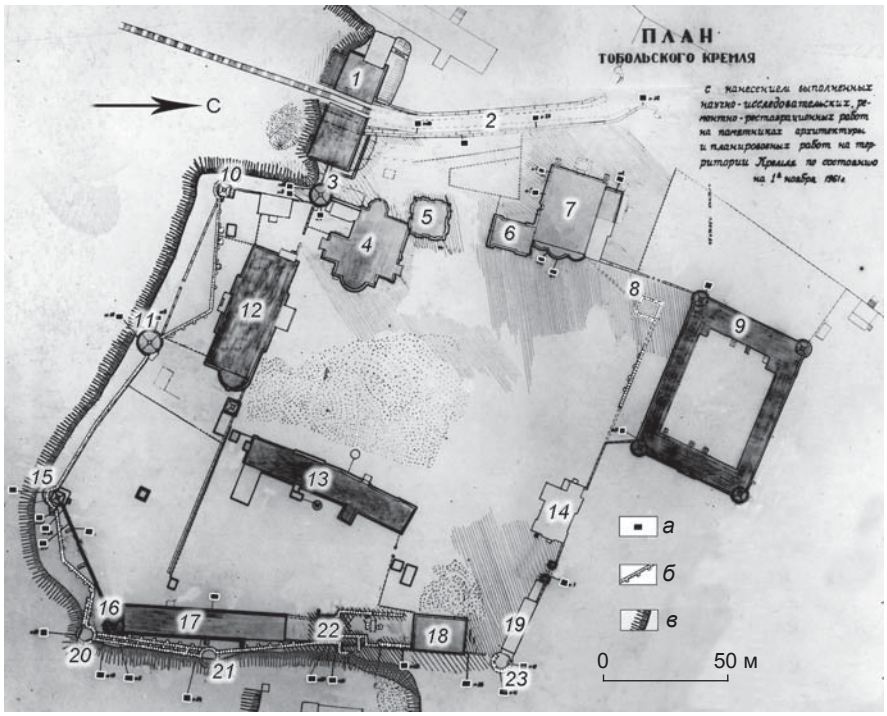

Рис. 2. План Тобольского кремля по состоянию на 1 ноября 1961 г. (ТМ-15849 / 15), дополненный условными обозначениями.
1 – Рентерея; *2* – Прямской взвоз; *3* – Павлинская башня; *4* – Покровский собор; *5* – колокольня; *6* – ризница; *7* – Софийско-Успенский собор; *8* – фундамент северо-западной квадратной башни; *9* – Гостиный двор; *10* – юго-западный павильон; *11* – южная круглая башня; *12* – Архиерейский дом; *13* – Консистория; *14* – Архиерейская гостиница; *15* – юго-восточный павильон; *16* – юго-восточная наугольная башня; *17* – Архиерейские конюшни; *18* – Монашеский корпус (Псаломщицкая школа); *19* – просфорная; *20* – фундамент юго-восточной Красной башни; *21* – фундамент восточной круглой башни; *22* – восточная квадратная башня с пристройками; *23* – северо-восточная Орловская башня.
а – шурфы; *б* – выявленные объекты; *в* – границы обрыва.

Рис. 3. Раскрытые фундаменты апсид Софийско-Успенского собора. Вид с востока (ТМ-15849 / 35).

восточного прясла крепостной стены, где была проделана огромная работа по выявлению утраченных объектов.

Особенностью реставрационных работ, проведенных Ф.Г. Дубровиным, являлось то, что он не стремился восстановить только какое-то одно здание или группу разрозненных построек. Его главной задачей было создание единого архитектурного комплекса, где каждый компонент гармонично дополняет другие. Поэтому архитектор допускал возведение «новоделов», максимально приближенных внешним видом к древним оригиналам. Однако это требовало дополнительной исследовательской работы. Особенно тревожной ситуация была с крепостными стенами, без восстановления которых Тобольский кремль не смог бы выглядеть по-настоящему как кремль. По этой причине уже в 1957 г. были предприняты внушительные по объемам исследования контуров бывших крепостных стен [Кочедамов, 1963, с. 144]. Здесь работы, которые по меркам того времени можно назвать вполне археологическими, производились с частичной выборкой грунта для того, чтобы обнаружить и расчистить фундаменты и, соответственно, установить их расположение и общую планировку. Следует уточнить, что до недавнего времени археологические памятники XVII в. часто не воспринимались как значимая часть культурно-исторического наследия, профессиональные археo-

логи сравнительно редко проявляли к ним интерес, архитектурные работы производились без правильно организованных раскопок.

Северную границу Софийского двора сегодня образуют ограда (середина XVIII в.), включающая Святые ворота, Архиерейская гостиница (начало XX в.) и южная стена Гостиного двора (начало XVIII в.). На этом участке в северо-западном углу Софийского двора были выявлены остатки квадратной башни конца XVII в. и примыкающий к ней фундамент крепостной стены (см. рис. 2, *8*) [Кириллов, 1984, с. 83]. Данный объект известен по письменным и картографическим источникам. Северная сторона башни находится на одной линии с крепостной оградой, что подтверждают и некоторые планы Троицкого мыса XVIII в. Это вызывает некоторое удивление. При традиционной планировке башня должна выступать за линию стен, чтобы защитники крепости могли вести фланговый огонь. Согласно чертежу Ф.Г. Дубровина, северная крепостная стена имеет небольшие выступы с внутренней стороны – очевидно, опоры подпружных арок, над которыми когда-то находилась галерея-стрельница. Это может служить указанием на то, что при строительстве северного участка оборонительных сооружений им была придана охранно-боевая функция. Подобные аркады известны на других участках крепостных стен, где они сохранились к середине XX в.

В 2000 г. руины северо-западной квадратной башни были исследованы А.А. Адамовым [2001, с. 7–10]. Остатки ее фундамента находились сразу под слоем дерна. Возможно, верхние напластования строительного мусора были срезаны в середине XX в. [Балюнов, Данилов, 2017, с. 9, ил. 1]. Насколько можно судить, Ф.Г. Дубровин достаточно бережно обошелся с объектом архитектурного наследия и культурным слоем, чего не скажешь о работах по строительству и благоустройству, проведенных на этой территории в последующем. К сожалению, архитектор здесь не провел консервацию выявленных объектов, и, как следует из сохранившейся документации, их восстановление не было запланировано.

Участок, где когда-то находилось западное прясло оборонительных сооружений, был достаточно плотно застроен в XVIII в. (ризница, Покровский собор, колокольня и др.), что несколько сужало поле деятельности Ф.Г. Дубровина. Здесь единственным объектом конца XVII в. является Павлинская башня (см. рис. 2, *3*), которая, как считается, сохранилась в усеченном виде (но надо сказать, что архитектор рассматривал возможность восстановить некогда разобранный верхний ярус навесного боя). Земляные работы проводились несколько в стороне от этой постройки. Участок крепостной стены между Павлинской башней и зданием Рентереи не обозначен на плане как выявленный объект. Действительно, на фотографиях, сделанных до реставрации, видны развалины этой ограды (рис. 4, *2*). Их расчистка позволила получить интересные данные. Рентерея находится в овраге Прямского взвоза, и дневная поверхность имеет сильный уклон по направлению от башни к зданию. Когда этот участок расчистили от поздних напластований, то выяснилось, что у крепостной стены здесь были двухъярусные слепые аркады, по сути дела, два ряда подпружных арок, поставленные один на другой (рис. 4, *1*) [Кириллов, 1984, с. 90–91]. Верхний ряд ко времени исследований практически не сохранился, он был восстановлен благодаря работам, проведенным Ф.Г. Дубровиным (рис. 4, *3, 4*) [Барабанова, 1986, с. 105]. Раскрытые подпружные арки нижнего яруса, очевидно, послужили образцами для восстановления некоторых несохранившихся участков крепостных стен; здесь же они были позднее законсервированы слоем новой кирпичной кладки.

В альбоме находится фотокопия чертежа «Общий вид кремля с южной стороны» (рис. 5). На нем хорошо просматриваются четыре башни, соединенные линиями ограждений. Последние на значительном протяжении представляют собой деревянный штакетник между каменных опор на каменном же фундаменте. Эта ограда, как и некоторые башни, показанные на рисунке, являлись поздними переделками XVIII–XIX вв. Такой облик не мог удовлетворить Ф.Г. Дубровина, который ставил себе задачу воссоздать торжественный кремлевский ансамбль. Поэтому архитектор предпринял раскопки для поиска и изучения первоначальных крепостных сооружений. Известно, что на юго-западном углу в конце XVII в. была построена монументальная Грановитая башня, которая существовала здесь примерно до середины XVIII в. [Козлова-Афанасьева, 2008, с. 113]. Из-за угрозы обрушения ее разобрали и перенесли северо-восточнее, где она в дальнейшем неоднократно перестраивалась [Заварихин, 1987, с. 83]. Позднее на юго-западном углу возвели квадратную башенку, которая по своей конструкции больше напоминает декоративный павильон, чем оборонительное сооружение (рис. 5, *4*). Если верить плану 1961 г., ниже этой поздней постройки был обнаружен мощный фундамент (см. рис. 2, *10*), хотя на чертеже, показывающем кремль с южной стороны, он отсутствует. Согласно одному из сохранившихся проектов реставрации, Ф.Г. Дубровин предполагал воссоздать Грановитую башню, но этот замысел так и остался на бумаге.

До середины 50-х гг. XX в. ограда из штакетника на каменных опорах стояла по прямой линии между юго-западным павильоном и южной круглой башней. Исследования Ф.Г. Дубровина на прилегающем участке выявили остатки подлинных крепостных стен, имевших в плане другую конфигурацию – в виде ло-

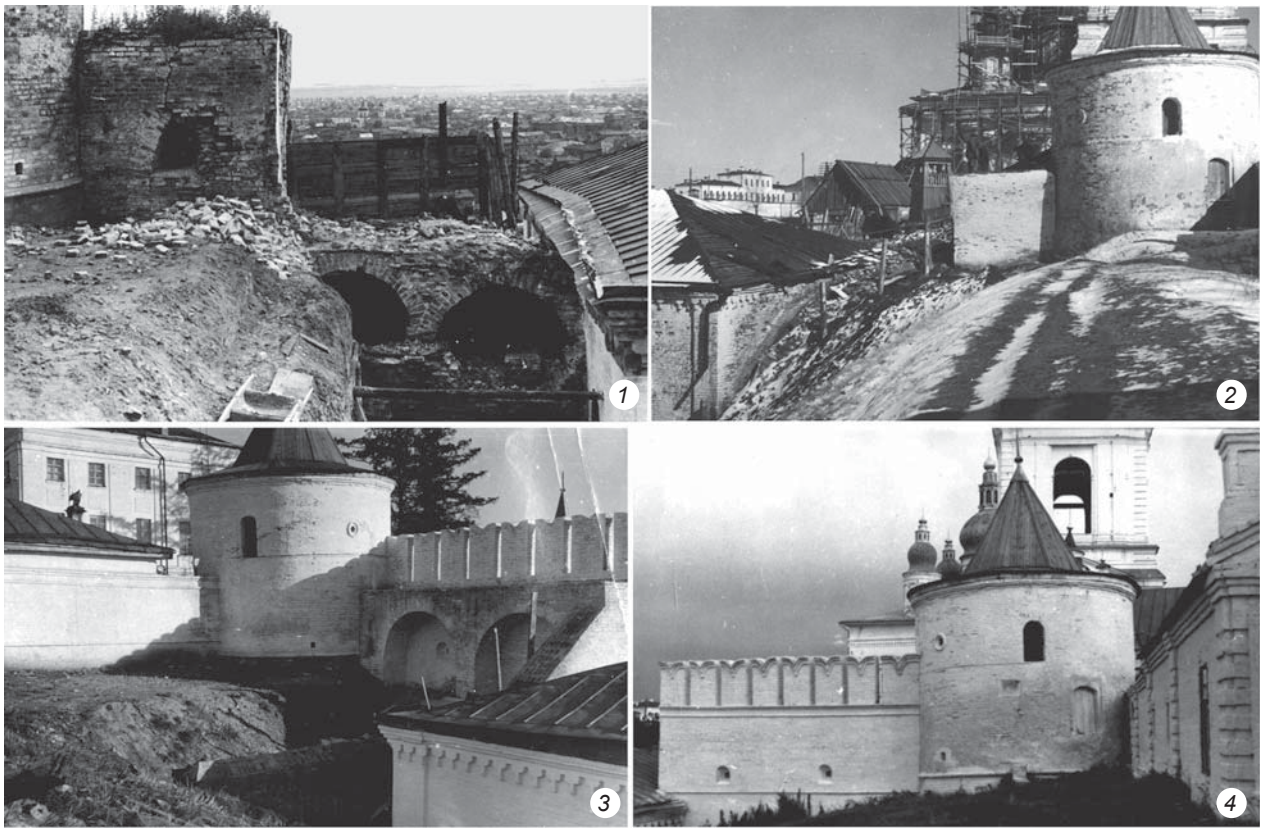

Рис. 4. Стена между Павлинской башней и Рентереей (ТМ-15849 / 60; ТМ-15849 / 76).
1 – вид на раскрытый нижний ярус подпружных арок с севера; *2*, *4* – вид с юга до (*2*) и после (*4*) реставрации; *3* – вид с северо-запада после реставрации.

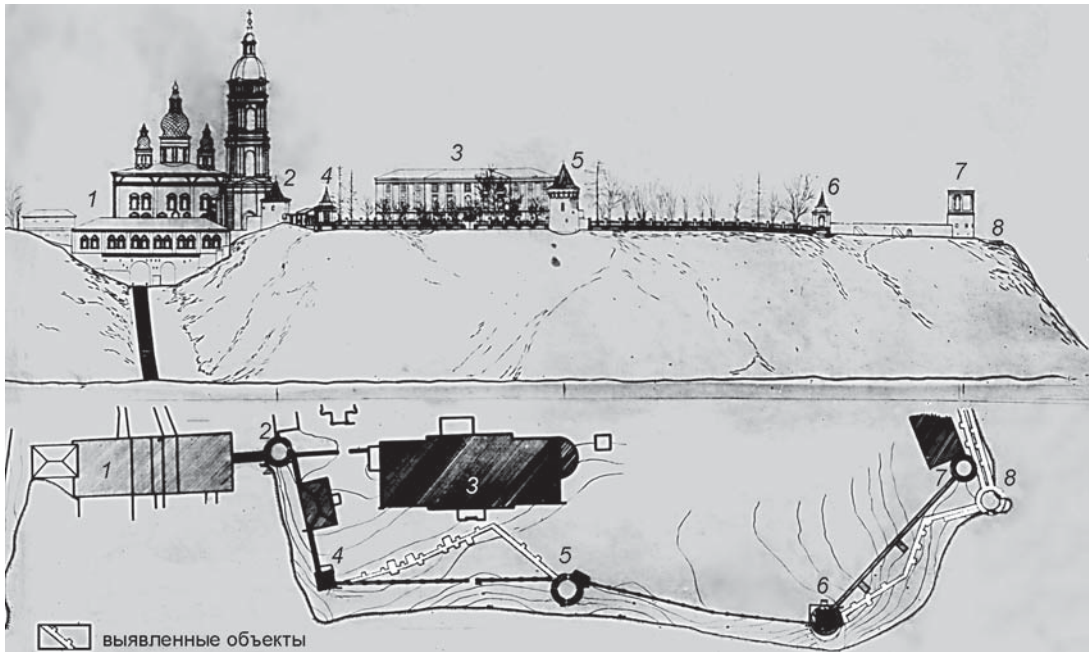

Рис. 5. Южная часть военно-оборонительных сооружений Тобольского кремля: общий вид и план (ТМ-15849 / 58).
1 – Рентерея; *2* – Павлинская башня; *3* – Архиерейский дом; *4* – юго-западный павильон; *5* – южная круглая башня; *6* – юго-восточный павильон; *7* – юго-восточная наугольная башня; *8* – фундамент южной Красной башни.

маной линии, обращенной углом на север (см. рис. 5). С внутренней стороны основания стен были обнаружены выступы, очевидно являвшиеся опорами подпружных арок. Хотя некоторые из них стоит определить как основы контрфорсов, поддерживавших крепостные стены, тем более, что на чертеже такие выступы обозначены и с внешней стороны оборонительной линии. Позднее ограда со штакетником была разобрана, однако Ф.Г. Дубровин предпринял меры по консервации ее фундамента (точнее, по некоторым данным, первоначально этот фундамент являлся основанием южной стены Архиерейского дома, строительство которого здесь в середине XVIII в. привело к уничтожению прежней крепостной стены). Можно утверждать, что на данном участке раскопками было выявлено точное месторасположение оборонительных сооружений и установлена их конструкция. Это послужило основой для реконструкции, и на старом фундаменте конца XVII в. была возведена новая стена, которая стоит и поныне.

Еще одним объектом южного прясла, претерпевшим многократные переделки, является башня, перестроенная в конце XIX в. в декоративный (квадратный в плане) юго-восточный павильон (см. рис. 2, *15*). В конце XVII в. на этом месте была возведена круглая башня [Козлова-Афанасьева, 2008, с. 114]. Сохранившиеся планы и фотографии свидетельствуют о том, что ниже павильона Ф.Г. Дубровин обнаружил как минимум два фундамента, стоящих один на другом (см. рис. 5, *6*; 6). Раскопки, проведенные в недавнем прошлом, позволяют говорить об этом достаточно уверенно, следовательно, указанный объект перестраивался дважды [Балюнов, Данилов, 2017, с. 9–10, ил. 4]. Нижний круглый фундамент сегодня можно представить благодаря тому, что он был частично законсервирован под новой кладкой. Судя по проектной документации, Ф.Г. Дубровин считал правильным восстановить здесь внушительную круглую башню, тем более, что благодаря раскопкам ее размеры были установлены достаточно точно.

На участке между южной круглой башней и юго-восточным павильоном (см. рис. 5, *5, 6*), как выяснилось в результате проделанных работ, ограда стояла на фундаменте древней крепостной стены. Поэтому здесь при переустройстве была произведена реконструкция – возведено новое сооружение с мощными подпружными арками в нижнем ярусе. Гораздо более сложная ситуация имела место на участке, прилегающем к юго-восточному углу крепостных сооружений. Здесь на самом краю террасы были изучены остатки древней башни, именуемой Красной (см. рис. 5, *8*; 7, *1*) [Кириллов, 1984, с. 79]. Известно, что она была разобрана, когда возникла угроза ее сползания в обрыв. Как считается, вместо этого сооружения в конце XVIII в. уже на новом месте, вглубь от края террасы, возвели новую юго-восточную наугольную башню, получившую «облегченный» павильонный характер форм [Козлова-Афанасьева, 2008, с. 114]. По этой причине крепостная стена южного прясла здесь перестраивалась как минимум дважды. Поздняя с двумя контрфорсами сохранилась ко времени работ Ф.Г. Дубровина и располагалась по прямой линии между двух юго-восточных башен (см. рис. 5, *6, 8*). Фундамент древней стены был выявлен раскопками. Он имеет зигзагообразную в плане форму, которая усложнена многочисленными выступами как с внешней, так и с внутренней стороны, являющимися, очевидно, остатками опор подпружных арок и контрфорсов [Кириллов, 1984, с. 79]. Ввиду аварийно опасной близости к краю террасы заново возвести древние постройки не представлялось возможным. Поэтому в 1950–1960 гг. реставрационные работы здесь были проведены на существующих поздних объектах – участке стены и юго-восточной наугольной башне.

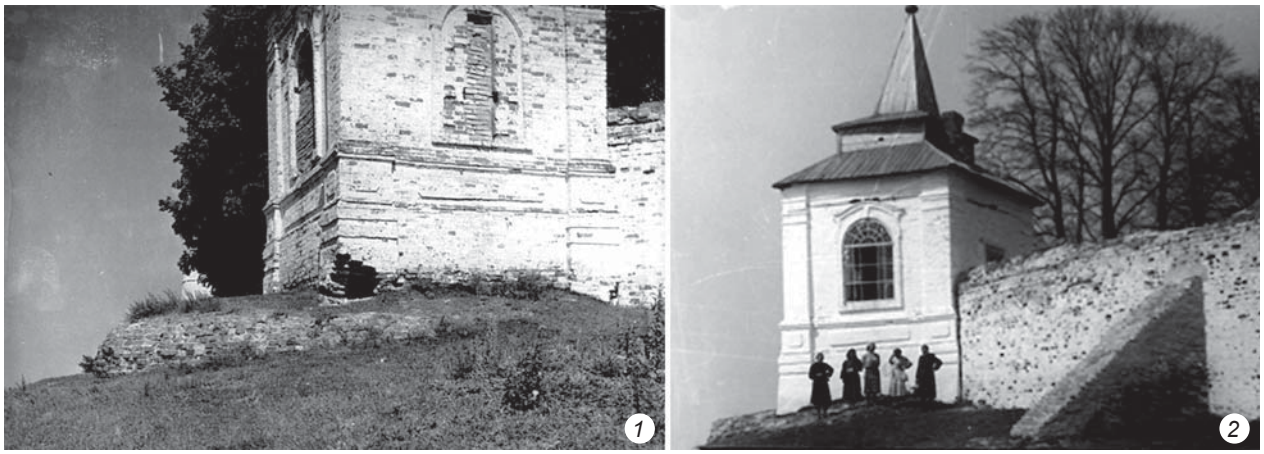

Рис. 6. Юго-восточный павильон на фундаменте круглой башни (вид с юго-востока) до (*1*) и после (*2*) реставрации (НВ-2211 / 11, НВ-2211 / 39).

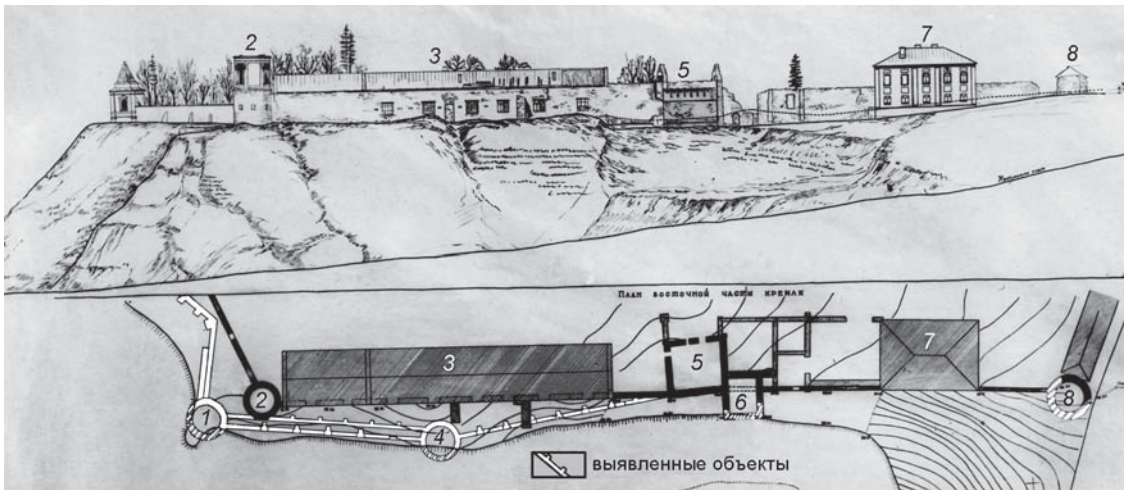

Рис. 7. Восточная часть военно-оборонительных сооружений Тобольского кремля: общий вид и план (1958 г.) (ТМ-15849 / 55).

1 – фундамент юго-восточной Красной башни; *2* – юго-восточная наугольная башня; *3* – Архиерейские конюшни; *4* – фундамент восточной круглой башни; *5* – восточная квадратная башня XVIII в.; *6* – восточная квадратная башня конца XVII в.; *7* – Монашеский корпус; *8* – развалины северо-восточной Орловской башни.

Восточное прясло первоначальных крепостных сооружений сохранилось достаточно фрагментарно. Сегодня по этой линии стоят два здания конца XVIII в. – Архиерейские конюшни, Монашеский корпус – и заново отстроенные башни – квадратная и круглая Орловская (см. рис. 7). Ф.Г. Дубровин напротив здания Архиерейских конюшен на краю террасы обнаружил фундамент еще одной круглой башни, не известной ныне (см. рис. 7, *4*). Интересной находкой являются остатки крепостных стен между этой башней и юго-восточной Красной (см. рис. 7, *1, 4*). Здесь выявлены две практически параллельные линии фундаментов, и у каждого с внутренней стороны есть выступы – основания опор подпружных арок [Там же]. Это может иметь несколько объяснений. Первое – на данном участке крепостная стена изначально была более сложной конструкции, чем на других: имелись внутренние помещения нижней галереи. Второе – оборонительные сооружения здесь как минимум дважды перестраивались. В этом случае к крепостной стене могла быть сделана пристройка для создания нижних помещений (например, монашеских келий) или же из-за возникшей угрозы обрушения стену могли полностью разобрать и возвести заново с небольшими изменениями. Изучение известных картографических материалов показывает, что последний вариант является более вероятным.

Достаточно объемные работы были проделаны к северу от Архиерейских конюшен для определения первоначального месторасположения и конструктивных особенностей восточной квадратной башни (см. рис. 2, *22*; 8, *1*). Раскопками было установлено, что данный объект, возведенный в конце XVII в., позднее из-за угрозы обрушения в обрыв был разобран и отстроен в бóльших размерах со смещением на юго-запад, при этом участок крепостной стены стал его фасадом [Кириллов, 1984, с. 82]. Значительной переделке квадратная башня подверглась в последней четверти XVIII в., когда ее сохранившиеся части были объединены со зданием Архиерейских конюшен [Козлова-Афанасьева, 2008, с. 114]. Именно здесь Ф.Г. Дубровин обнаружил единственный участок крепостной стены, где сохранились зубцы верхнего боя (см. рис. 7, *5*). В.И. Кочедамов приводит такое описание: «К нашему времени сохранился только небольшой ее кусок, встроенный в квадратную башню восточной стены. Эта стена имела внизу ширину ок. 1,8 м и высоту (с зубцами) ок. 9 м. Теперь уровень земли у стены повысился, но во время раскопок обнаружены на глубине 3,5 м поддерживавшие ее три мощные арки. Однако это частный случай. Основная стена имела более скромные размеры» [1963, с. 34] (рис. 9). Необходимо подчеркнуть, что именно эта находка послужила образцом для восстановления верхних зубцов крепостной стены вокруг Софийского двора, где они отсутствовали [Барабанова, 1986, с. 103].

С внешней стороны стены находился мощный контрфорс, исследование которого позволило установить первоначальную планировку квадратной башни конца XVII в. (см. рис. 8, *2*). Раскопки обнажили у основания этого сооружения кирпичный валик, расположенный на уровне нижнего боя [Там же, с. 104] (см. рис. 8, *3*). Дальнейшие работы показали, что контрфорс принадлежал южной стене первоначальной башни. Таким образом, достаточно точно было установлено местонахождение ее фундаментов. Восста-

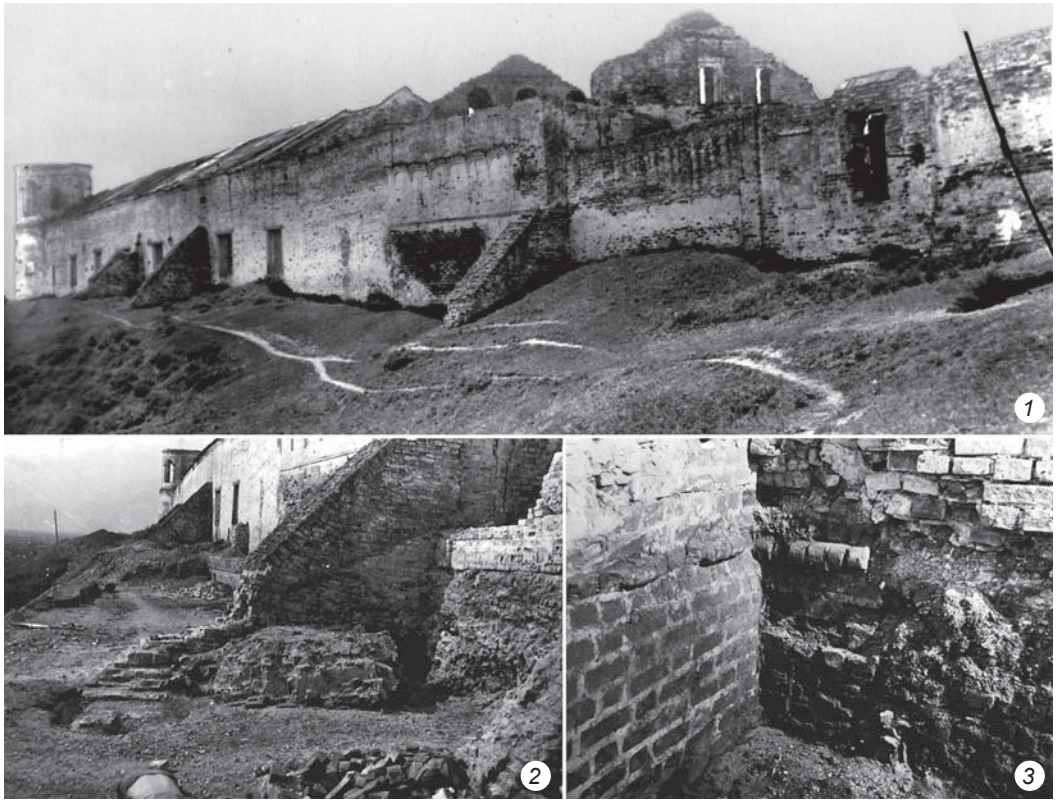

Рис. 8. Восточная квадратная башня.
1 – общий вид с северо-востока, 1952 г. (ТМ-15849 / 2); *2* – раскопки фундамента (вид с северо-востока), 1959 г. (ТМ-15849 / 3); *3* – раскрытый фундамент (вид с юго-востока?), 1958 г. (ТМ-15849 / 3).

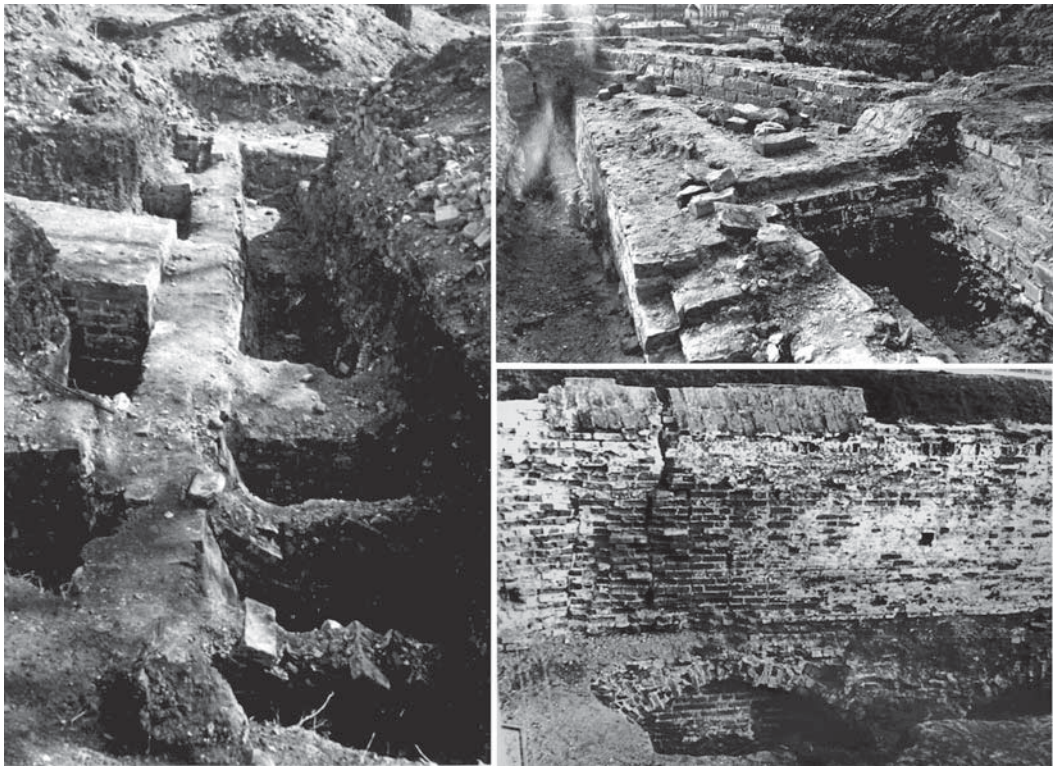

Рис. 9. Раскрытые фундаменты крепостных стен (ТМ-15849 / 44; НВ-4282 / 13).

новить этот объект в первоначальном виде не представлялось возможным, «стены башни были взяты в стальные связи, что сохранило их от начавшегося интенсивного разрушения» [Кочедамов, 1986, с. 144]. Под руководством Ф.Г. Дубровина была воссоздана поздняя квадратная башня со встроенным в нее фрагментом крепостной стены. Тогда же в северо-восточном углу Софийского двора были изучены развалины круглой Орловской башни (см. рис. 7, *8*), которая впоследствии была отстроена заново.

Заключение

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать, что важнейшим результатом работ, проведенных под руководством Ф.Г. Дубровина, является изучение военно-оборонительных сооружений. Как отмечает В.И. Кочедамов, «раскопками было определено их прежнее положение и конструкции, что позволяет сделать точную реконструкцию стен и башен Кремля в части Софийского двора» [1963, с. 144]. Необходимо подчеркнуть: это единственные в Сибири каменные крепостные сооружения, возведенные в конце XVII в. Они сохранились во фрагментарном виде. Сегодня получить детализированную информацию об их конструкциях, перестройках и местах расположения можно только с привлечением археологических источников, которые в данном случае представлены материалами фотофиксации раскопок Ф.Г. Дубровина в 50-х гг. XX в. Это наследие отражает часть всесоюзных процессов, происходивших в нашей стране в первые послевоенные десятилетия. Например, именно в 1950–1960 гг. начались широкие восстановительные работы на памятниках Псковского, Ростовского, Нижегородского, Астраханского, Тульского, Рязанского кремлей и пр. Многие из них, так же как и в Тобольске, осуществлялись по проектам Центральных научно-реставрационных мастерских.

Список литературы

Адамов А.А. Археологические исследования в Тобольском кремле // Русские старожилы: мат-лы III Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск; Омск: Ом. гос. пед. ун-т, 2000. – С. 450–453.

Адамов А.А. Отчет о работах на территории Тобольского кремля в 2001 г. // Научный архив ТИАМЗ. № 1731.

Адамов А.А. Археологические исследования у стен и башен Тобольского Кремля в 2005 г. // Научный архив ТИАМЗ. № 1738.

Адамов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г. Город Тобольск: Археологический очерк. – Тобольск: ИАЭТ СО РАН: Тобольск. гос. пед. ин-т: ТГИАМЗ, 2008. – 114 с.

Баландин С.Н. Начало русского каменного строительства в Сибири // Сибирские города XVII – начала XX века. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 174–196.

Балюнов И.В. Начало каменного строительства в г. Тобольске (по материалам археологических исследований) // Ежегодник Тобольского музея-заповедника. – Тюмень: Вектор-Бук, 2006. – № 3/4. – С. 184.

Балюнов И.В. Отчет о проведении археологических исследований на объектах культурного наследия «Софийский Двор и Красная Площадь» в г. Тобольске в 2007 г. // Научный архив ТИАМЗ. № 1745.

Балюнов И.В., Данилов П.Г. Оборонительные сооружения Тобольского Кремля: По материалам археологических исследований // Баландинские чтения. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 8–13.

Барабанова Л.П. Этюды о заповедном городе: [400-летию Тобольска посвящается]. – Свердловск: Ср.-Урал. кн. изд-во, 1986. – 190 с.

Данилов П.Г. К вопросу об оборонительных укреплениях города Тобольска в XVII веке (по данным археологии) // XVII Уральское археологическое совещание: мат-лы науч. конф. (Екатеринбург, 19–22 нояб. 2007 г.) – Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2007. – С. 237–238.

Заварихин С.П. В древнем центре Сибири. – М.: Искусство, 1987. – 192 с.

Загваздин Е.П. Новые данные об устройстве фортификаций Тобольского кремля (по материалам исследований 2006 года) // Баландинские чтения. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 153–159.

Кириллов В.В. Тобольск. – М.: Искусство, 1984. – 240 с.

Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области: [иллюстрированный науч.-практ. каталог]. – Тюмень: Искусство, 2008. – 488 с.

Кочедамов В.И. Тобольск (как рос и строился город). – Тюмень: Кн. изд-во, 1963. – 154 с.

Материал поступил в редколлегию 16.12.19 г.,
в окончательном варианте – 16.01.20 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.140-148
УДК 572+393

Е.В. Перерва[1], Н.Я. Березина[2], М.В. Кривошеев[3]
[1]Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
ул. Гагарина, 8, Волгоград, 400066, Россия
E-mail: pererva fox@mail.ru
[2]Научно-исследовательский институт и Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова
ул. Моховая, 11, Москва, 125009, Россия
E-mail: berezina.natalia@gmail.com
[3]Волгоградский государственный университет
Университетский пр., 100, Волгоград, 400062, Россия
E-mail: tyaf@mail.ru

Трепанации савромато-сарматского времени по материалам с территории Нижнего Поволжья

В статье представлены результаты изучения дефектов, выявленных на черепах кочевников раннего железного века Нижнего Поволжья из краниологической коллекции Научно-исследовательского института и Музея антропологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. На двух мужских черепах савромато-сарматского времени из могильников Быково (погр. 4 кург. 13) и Барановка (погр. 2 кург. 21) были обнаружены отверстия искусственного происхождения. Предпринята попытка определить способ и причины проведения операций, зафиксированных на костных останках. Для изучения выявленных дефектов использовались макроскопический и рентгенологический методы исследования. Удалось установить, что на своде черепа мужчины из могильника Быково была выполнена трепанация терапевтического характера методом выскабливания и прорезания. Человек после операции выжил, на что указывают признаки новообразованной костной ткани. На черепной коробке мужчины из могильника Барановка была проведена посмертная или предсмертная трепанация методом сверления и прорезания, осуществленная, вероятно, в ритуальных целях. В результате анализа способов и причин проведения манипуляций на черепах кочевников савромато-сарматского времени, сопоставления их с другими случаями трепанаций, известными по материалам раннего железного века Нижнего Поволжья и сопредельных территорий, изучения письменных и археологических данных удалось установить, что наиболее близкие аналогии находятся в Центральной Азии, Южной и Западной Сибири. Именно в этих регионах фиксируется широкое распространение посмертных ритуальных трепанаций. Что же касается навыков проведения терапевтических манипуляций на черепной коробке у савроматского населения Нижнего Поволжья, то, вероятнее всего, они связаны с проникновением античных традиций в области врачевания в середине I тыс. до н.э.

Ключевые слова: *савроматы, сарматы, кочевники, ранний железный век, Нижнее Поволжье, трепанация*.

E.V. Pererva[1], N.Y. Berezina[2], and M.V. Krivosheev[3]
[1]Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA,
Gagarina 8, Volgograd, 400066, Russia
E-mail: pererva fox@mail.ru
[2]Research Institute and Museum of Anthropology,
Lomonosov Moscow State University,
Mokhovaya 11, Moscow, 125009, Russia
E-mail: berezina.natalia@gmail.com
[3]Volgograd State University,
Universitetsky pr. 100, Volgograd, 400062, Russia
E-mail: tyaf@mail.ru

© Перерва Е.В., Березина Н.Я., Кривошеев М.В., 2020

Trepanations in Sauromato-Sarmatian Crania from the Lower Volga

We describe artificial openings in crania of the Early Iron Age nomads of the Lower Volga region, owned by the Moscow State University Institute and Museum of Anthropology. Such openings were found on two male specimens of the Sauromato-Sarmatian age from Bykovo kurgan 13, burial 4, and Baranovka kurgan 21, burial 2. Using macroscopic and x-ray examination, we attempt to identify the surgical techniques and the reasons behind the operations. The cranial vault of the Bykovo individual was trepanned by scraping and cutting, for medical purposes. The man survived the surgery, as evidenced by healing. In the case of Baranovka, the operation was performed postmortem or perimortem by drilling and cutting, possibly for ritual purposes. Collating these cases with others relating to the Early Iron Age nomadic (Sauromato-Sarmatian) culture of the Lower Volga region and adjacent territories and with written and archaeological sources suggests that the closest parallels come from Central Asia, Southern and Western Siberia, where the custom of postmortem ritual trepanations was very common. The surgical techniques practiced in the Lower Volga region were likely due to the penetration of Greek and Roman medical traditions in the mid-first millennium BC.

Keywords: *Sauromatians, Sarmatians, nomads, Early Iron Age, Lower Volga region, trepanation*.

Введение

В процессе работы с краниологической коллекцией Научно-исследовательского института и Музея антропологии Московского государственного университета, относящейся к савромато-сарматскому времени, были исследованы серии из курганных могильников в Волгоградской и Астраханской областях. В результате на двух черепах из могильников Быково и Барановка обнаружены следы искусственных манипуляций в виде перфораций свода. Целью данной работы является изучение выявленных дефектов, определение способа осуществления операций, выяснение характера и причин их проведения.

Материалы и методы исследования

Первый череп (инв. № КА–451) происходит из погр. 4 кург. 13 могильника Быково в Волгоградской обл. Раскопки проводились Волгоградской экспедицией ИИМК АН СССР под руководством К.Ф. Смирнова в 1955 г. Второй череп (инв. № КО–286/12) получен из погр. 2 (скелет 1) кург. 21 могильника Барановка в Черноярском р-не Астраханской обл. Раскопки осуществлялись Поволжской археологической экспедицией исторического факультета МГУ, возглавляемой Г.А. Федоровым-Давыдовым, в 1972 г.

Половозрастные определения проводились по стандартным методикам по костям черепа в связи с неполной сохранностью скелетов [Алексеев, Дебец, 1964; Балабанова, 1998; Brothwell, 1981; Meindl, Lovejoy, 1985]. Для дифференциальной диагностики применялись описательный макроскопический и рентгенодиагностический методы исследования. Рентгеновское изучение проводилось в НИИ и Музее антропологии МГУ на микрофокусном рентгеновском аппарате ПРДУ-02. Режим съемки: анодное напряжение трубки 50 кВ, анодный ток трубки 120 мкА, время экспозиции 3 с, увеличение ×2. При определении характера выявленных дефектов свода черепа и обсуждении их в контексте прижизненных и посмертных изменений использовалась методика судебно-медицинской экспертизы механических повреждений на костях скелета [Смольянинов, 1959; Пиголкин и др., 2002]. Подробное описание дефектов осуществлялось согласно рекомендациям, изложенным в работах М.Б. Медниковой [1997; 2001].

Местоположение и характеристика археологических комплексов

Могильник Быково расположен близ одноименного поселка Быковского р-на Волгоградской обл., на левом берегу Волги (рис. 1). В кург. 13, сооруженном

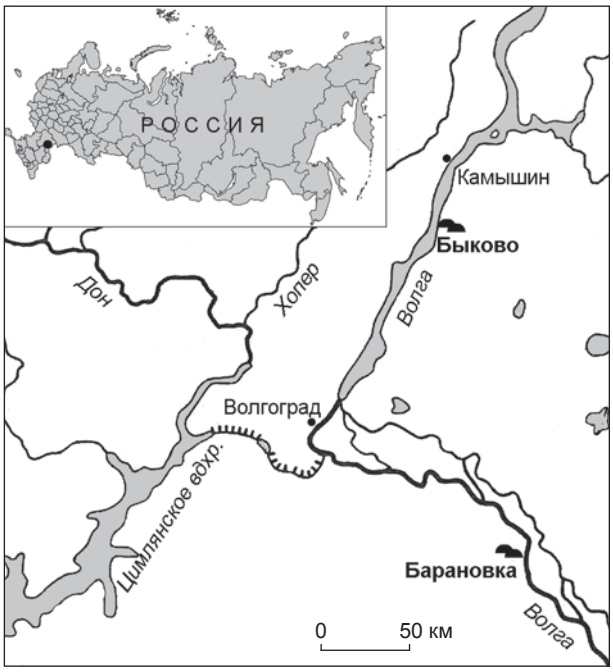

Рис. 1. Расположение курганных могильников, в которых зафиксированы случаи трепанации черепа у носителей савромато-сарматских культур.

в срубное время, было обнаружено впускное погр. 4 савроматского времени (VI–IV вв. до н.э.) [Смирнов, 1960, с. 206]. В нем находились останки молодого мужчины, погребенного в вытянутом положении на правом боку, головой на запад.

Курганный могильник Барановка расположен на южной окраине одноименного села Черноярского р-на Астраханской обл. (рис. 1). В юго-восточном секторе кург. 21 было обнаружено впускное погр. 2, представлявшее собой захоронение в двойном подбое [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1989, с. 48]. Костяк 1 располагался вдоль западной стенки могилы на глубине 158 см в небольшом углублении. Череп лежал на правой височной кости. Погребенный был уложен на подстилке в вытянутом положении на спине, головой на юго-юго-запад. В ногах стоял шаровидный лощеный сероглиняный лепной сосуд с обломанной ручкой. У правой бедренной кости находился короткий (45 см) меч с кольцевым навершием и прямым перекрестием, вдоль левой – наконечник втульчатого двухперого копья длиной 33 см, оселок длиной 9,5 см, железное кресало в обломках и кремень. Возле правой берцовой кости обнаружены костные останки барана и обломок железного ножа. Судя по «воинской» бронзовой фибуле, найденной у костяка 2, данное захоронение относится к первой половине I в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 59–62].

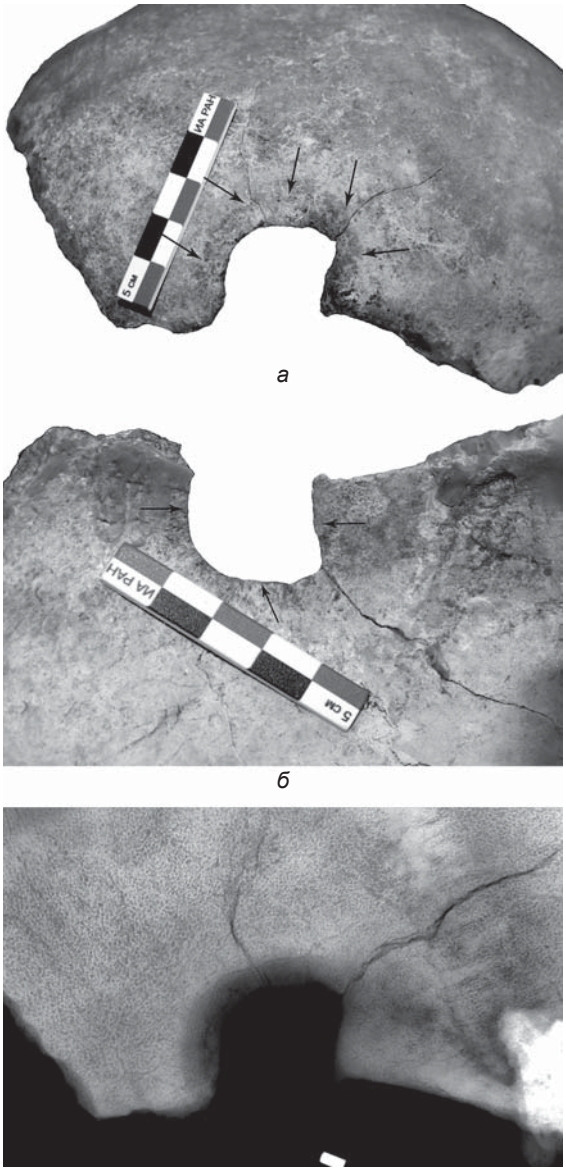

Рис. 2. Правая теменная кость мужчины 30–35 лет из погр. 4 кург. 13 могильника Быково.
а – трепанационное отверстие; *б* – область трепанации со стороны эндокрана; *в* – рентгенограмма области перфорации.

Описание находок

Череп из могильника Быково. Изучались фрагменты лобной, теменных и затылочной костей, а также нижней челюсти мужчины 30–35 лет. В центральной части правой теменной кости, несколько выше чешуйчатого края, в области нижней височной линии, зафиксирована перфорация. Сама кость представлена лобным и сагиттальным краями; затылочный и чешуйчатый обломаны. Нижняя часть перфорации отсутствует в связи с тем, что чешуйчатый край теменной кости не сохранился.

Дефект имеет подпрямоугольную форму с закругленным левым верхним краем. Размер на внешней поверхности кости (входное отверстие) в сагиттальной плоскости 38,5 мм, в поперечной – 32,5 мм; на внутренней поверхности (выходное отверстие) – 22 × 18 мм (рис. 2, *а*, *б*). Внешние края и стенки дефекта гладкие, ровные, слегка закругленные. Внутренняя структура теменной кости не прослеживается. Стенки шириной до 7 мм покрыты новообразованной надкостницей, скошены в полость черепа. На внутренней поверхности теменной кости следов воспалительного процесса не обнаружено. Края ровные, оформленные. Стенка лобного края дефекта практически вертикальная, сагиттального и затылочного – скошены. Судя по внешнему виду, дефект первоначально имел ромбовидную форму с закругленными углами, длинной осью был ориентирован по сагиттальному шву. На верхнем крае дефекта имеются две трещины, направленные к стреловидному шву, еще одна отходит от верхнего правого угла («лобного угла») в сторону лобной кости. Скорее всего, они появились посмертно в результате воздействия внешних факторов.

Операция осуществлялась прижизненно. Наличие следов заживления на стенках и краях дефекта указы-

вает на ее благоприятный исход. Человек длительное время прожил после манипуляции. Трепанация, вероятно, выполнялась праворуким человеком, который, комбинируя методы проведения операции – выскабливание и прорезание острым предметом сверху вниз, – осуществлял удаление костной ткани. В результате этого стенки, края и углы дефекта с сагиттального и затылочного края теменной кости имеют более пологую и округлую форму.

Череп из могильника Барановка. Он принадлежал мужчине 25–35 лет. Сохранился не полностью: отсутствует лицевой отдел и большая часть основания. Изучался свод черепа. В чешуйчатой части височной кости обнаружен сквозной дефект неправильной подтрапециевидной формы, длинной осью ориентированный в сагиттальном направлении. Основание «трапеции» расположено ближе к теменному краю, а ее вершина – к клиновидному (рис. 3, *а*). Длина дефекта 29,5 мм, наибольшая ширина 22 мм. Толщина кости в месте повреждения 3 мм. Наружные и внутренние края дефекта острые.

Верхний край перфорации представляет собой дугу со скошенными внутрь стенками, образованными в результате просверливания восьми различных по размеру отверстий, между которыми имеются перегородки до 2 мм толщиной (рис. 3, *б*). Первое расположено в 17 мм от верхнего края чешуи и в 24 мм от теменного края височной кости. Оно полукруглое, сквозное, со скошенными в полость черепа стенками. Наружный диаметр 4 мм, внутренний – 2 мм. Второе сквозное отверстие находится в 1,5 мм от первого. Его наружный диаметр 2 мм, внутренний – 1,5 мм. Третий дефект расположен в 2 мм от предыдущего. Представляет собой разрушенное отверстие, от которого сохранилась стенка с правой стороны. Его предполагаемый диаметр 2,5 мм. Четвертый дефект, расположенный в 2 мм от третьего, имеет сходную структуру. Предполагаемый диаметр 3 мм. Пятый дефект представляет собой полукруглую ямку диаметром 4 мм. От шестого сохранился лишь фрагмент стенки размером 2 × 2 мм. Седьмой дефект расположен в 6 мм от предыдущего, его диаметр 4 мм. Восьмое отверстие сквозное, диаметром 3 мм. Оно прилегает к седьмому дефекту, частично затрагивая его левую стенку, и находится в 10 мм от основания скулового отростка. Еще одно несквозное отверстие обнаружено в 4 мм от первого дефекта. Оно находится в 14 мм от верхнего края чешуи височной кости и на таком же расстоянии от клиновидного края. Дефект представляет собой ямку с округлым дном глубиной 1,5 мм, диаметром 3,5 мм.

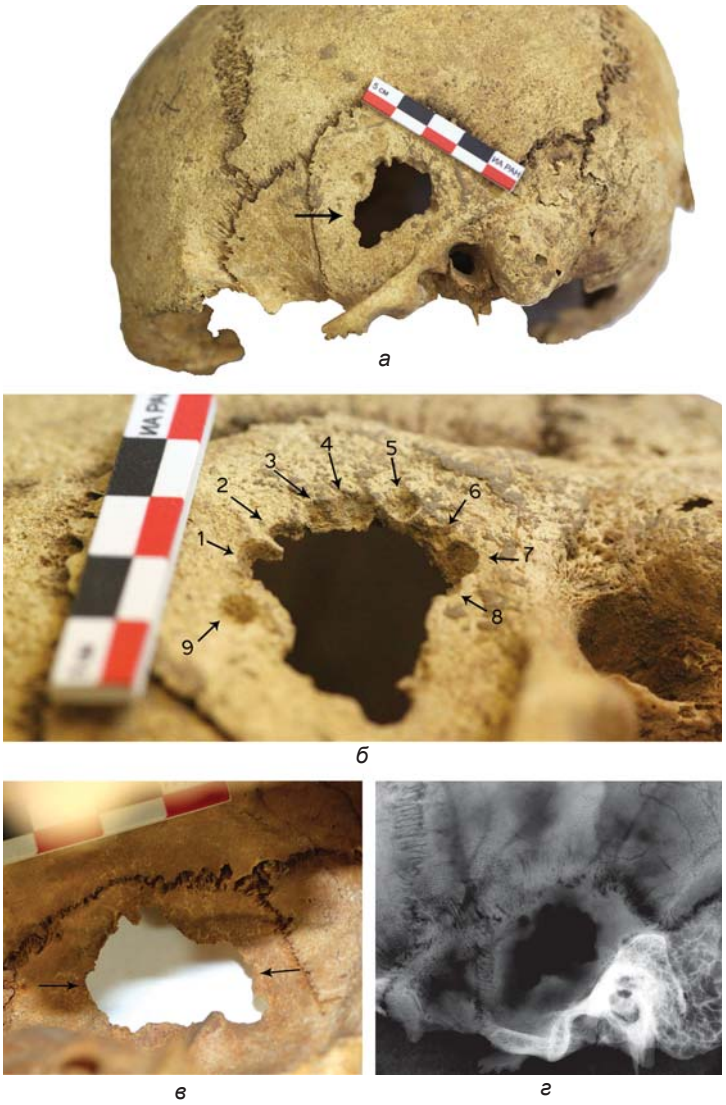

Рис. 3. Трепанированный череп мужчины из погр. 2 кург. 21 могильника Барановка.
а – трепанация в области левой височной кости (вид с фронтальной стороны); *б* – трепанационное отверстие со следами множественных перфораций; *в* – область трепанации со стороны эндокрана; *г* – рентгенограмма области перфорации.

Следов воспалительного процесса на внутренней и наружной поверхностях височной кости не обнаружено. Признаков новообразованной костной ткани не выявлено. Предположительно после просверливания ряда отверстий в дистальной части височной кости стенки между ними были пропилены или прорезаны, затем кость на месте дефекта была приподнята и выломана. Техника выполнения трепанации

черепа – сверление и прорезание [Медникова, 2001, с. 31]. Операция была проведена посмертно, вероятнее всего, в ритуальных целях.

Результаты рентгенологического исследования

На рентгенограмме черепа мужчины из погр. 4 кург. 13 могильника Быково наблюдаются округлое сквозное отверстие и два отходящих от него радиальных линейных перелома. Характер растрескивания и отсутствие костной реакции на всем их протяжении свидетельствуют скорее о позднем возникновении переломов вследствие тафономических процессов. Наличие более плотной недифференцированной костной ткани вокруг отверстия и замыкающей пластинки в краеобразующей зоне теменной кости указывает на длительный и успешный процесс заживления (см. рис. 2, *в*).

На рентгенограмме черепа мужчины из погр. 2 кург. 21 могильника Барановка наблюдается отверстие в чешуе правой височной кости. Его края неровные, образованы округлыми выемками небольшого размера (в среднем 3–4 мм в диаметре). Также фиксируется несколько вдавлений на наружной компактной пластинке (незавершенные перфорации) по краю основного дефекта и одно сквозное отверстие в 4 мм от него. Реакции кости, перестройки костной ткани, формирования замыкающей пластинки на рентгенограмме не прослеживается, что указывает на выполнение трепанации незадолго до смерти индивида или посмертно (см. рис. 3, *г*).

Обсуждение

По материалам сарматского времени с территории Нижнего Поволжья известно сравнительно немного случаев проведения операций на голове. Впервые трепанацию у сарматов описал Д.Г. Рохлин. Он опубликовал рентгенограмму черепа, происходящего из Донской обл. (современная территория Волгоградской обл., Республики Калмыкия и Ростовской обл.), и предположил, что операция имела терапевтический характер [Рохлин, 1965, с. 174, 195].

Судебно-медицинский эксперт В.В. Сидоров изучил черепную коробку мужчины позднесарматского времени (III–IV вв. н.э.) из кург. 4 могильника близ станицы Глазуновской в Кумылженском р-не Волгоградской обл. (раскопки Л.В. Гуренко в 1996 г.) и установил, что в заднем отделе теменной кости справа в 32 мм от стреловидного шва и в 23 мм от правой ветви лямбдовидного шва расположено трепанационное отверстие овальной формы размерами 7 × 6 мм [Гуренко, 1996].

Е.В. Перервой была изучена трепанация черепа из могильника Перегрузное I. Захоронение датировано I в. н.э. На черепе женщины выявлены перфорация и повреждение в виде незаконченной трепанации. Способ выполнения операции – сверление. Манипуляции были проведены посмертно, вероятно, в ритуально-символических целях [Перерва, 2012, с. 131].

В.И. Мамонтовым с соавторами описаны три трепанационных отверстия, выполненные путем сверления на черепе женщины 35–45 лет из могильника Вербовский I, датируемого I – первой половиной II в. н.э. Первое отверстие располагалось на левой теменной кости, второе в стреловидном шве, третье – в затылочном [Мамонтов, Обраменко, Перерва, 2018]. Отсутствие следов заживления указывает на предсмертный и/или посмертный характер трепанации, а наличие богатого погребального инвентаря в захоронении, множественность отверстий, как и локализация дефектов, свидетельствуют о ритуально-символическом значении проведенной операции [Там же, с. 100].

О трепанациях у сарматов имеются сведения и в исследованиях П.С. Рыкова и С.В. Киселева [Рыков, 1926, с. 105; Киселев, 1951, с. 403]. Д.А. Кириченко в обзоре, посвященном анализу таких операций у сарматских племен, приводит ряд случаев, описанных на материалах эпохи раннего железного века из Венгрии и Румынии [2016, с. 114].

В настоящий момент у носителей савромато-сарматских культур на территории Нижнего Поволжья зафиксированы две прижизненные трепанации терапевтического характера: описанная Д.Г. Рохлиным и выявленная в данном исследовании. Аналогичные операции, проведенные методом скобления и завершившиеся удачно, описаны в отечественной научной литературе по материалам раннего железного века из Южной Сибири и Западного Казахстана. Так, Э. Мерфи зафиксировала случай трепанации черепа женщины из могильника Аймырлыг (Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва). Перфорация располагалась в левой части лобной кости. Операция, по мнению Э. Мэрфи, была выполнена в лечебных целях [Murphy, 2003]. Т.А. Чикишевой с соавторами исследованы три случая прижизненной трепанации на черепах носителей пазырыкской культуры IV–III вв. до н.э. из рядовых погребений могильников Бике III, Казыл-Джар IV и V в Горном Алтае. Установлено, что операции проводились разными хирургами методом выскабливания в два этапа [Чикишева и др., 2014; Кривошапкин и др., 2014]. Е.П. Китов и А.З. Бейсенов описали прижизненную трепанацию в затылочной части черепа женщины 35–45 лет из кург. 25 могильника Бирлик (Баянаульский р-н Павлодарской обл. Республики Казахстан). Погребение относится к тасмолинской археологической культуре VII–V вв. до н.э. [Китов, Бейсенов, 2015].

Все указанные трепанации выполнены техникой скобления, проводились в лечебных целях. Люди после операции выжили, что доказывают следы успешного заживления и формирования новообразованной кости в месте хирургического вмешательства. Скобление как способ проведения терапевтической трепанации черепа, по мнению ряда исследователей [Ortner, Putschar, 1981; Erdal Y.S., Erdal O.D., 2011], является наиболее безопасным. А.Л. Кривошапкин с соавторами, подробно изучив технику осуществления прижизненных операций у кочевников Горного Алтая, предположили, что такой метод в древности давал самый высокий процент выживаемости при проведении операций на черепе [Кривошапкин и др., 2014, с. 67].

В настоящее время о медицинской культуре и практике савроматов, сарматов и скифов известно немного. Сегодня в арсенале историков медицины имеются лишь три основных источника: письменные свидетельства античных авторов, археологические находки и антропологические материалы погребальных памятников степной Евразии. Сведения античных авторов о развитии медицинских знаний у кочевников раннего железного века очень отрывочны. Так, у Геродота есть упоминания о конопляной бане и использовании растирки из растений в качестве примитивного мыла у скифов (История, IV, 75). У Плиния Старшего есть упоминания о скифском корне, который сарматы используют для лечения многих болезней и о змеиных ядах, применяемых также для врачевания (Естественная история, XXV, 82, 83; XXIX, 69, 70). К сожалению, на этом сведения античных авторов заканчиваются. Из археологических источников следует выделить вазу IV в. до н.э. из кургана Куль-Оба в Крыму, на которой изображены операция по вправлению челюсти травмированному воину или удалению зуба и перевязка голени раненому скифу [Белова, Гуляева, Чернышева, 2016, с. 205].

Что же касается антропологических свидетельств, доказывающих высокий уровень медицинских знаний у номадов степной зоны Евразии в раннем железном веке, то следует упомянуть большой процент залеченных ранений черепа и костей посткраниального скелета, случаи удачно проведенных ампутаций конечностей у сарматов и кочевников [Перерва, Березина, 2015; Перерва, Клепиков, 2018; Murphy, 2003]. Однако все эти свидетельства не позволяют однозначно ответить на вопрос, откуда скифы, савроматы и сарматы получили навыки и знания, дающие возможность осуществлять сложные хирургические операции.

Для изучения данного вопроса необходимо вновь обратиться к письменным источникам. В работах античных авторов есть сведения о скифских асклепиадах. Так, знаменитый сатирик Лукиан Самосатский (II в. н.э.) писал о скифских врачах Анахарсисе и Токсарисе. Последний умер в Афинах и даже был признан героем и потомком Асклепия [Латышев, 1948]. М.Б. Мирский, ссылаясь на Геродота и Плутарха, указывает, что у скифов имелись «профессиональные» врачи, которые, правда, одновременно были колдунами и жрецами. Исследователь поддерживает мнение Н.С. Думки [1956, с. 58] о том, что на территории Скифии существовали собственные школы для обучения медицине, доказывая это наличием в некоторых греко-скифских поселениях асклепейонов [Мирский, 2005, с. 12]. Афиняне считали скифских врачей знатоками своего дела. Л.Ф. Змеев предполагал, что врачебные знания у скифов и других кочевых народов, обитавших в степях до нашей эры, были прерогативой полуспециального сословия целителей (волхвы, младшие жрецы), а их источником могли быть персы, арабы, греки и египтяне [1896, с. 101].

На наш взгляд, вероятнее всего, медицинский опыт скифы и сарматы переняли у своих античных соседей. Именно на скифо-сарматское время приходится деятельность знаменитого греческого врача Гиппократа, который побывал в Скифии и оставил описания жителей этой страны, болезней скифов и легенд о савроматах в книге «О воздухе, водах и местностях» [Гиппократ, 1936, с. 275–306]. В другой его книге – «О ранах головы» – в гл. 9 описаны показания к трепанациям. Подробно указаны причины и способы проведения операций на голове. Даны рекомендации по наблюдению за больным после проведения трепанации [Там же, с. 581–601]. Сходной точки зрения придерживаются и Т.А. Чикишева с соавторами, которые провели междисциплинарное исследование трех прижизненных трепанаций у кочевников Горного Алтая. По их мнению, появление медицинских знаний и инструментов, необходимых для успешного выполнения таких операций, в Южной Сибири могло быть связано с проникновением на эту территорию греческих военных хирургов [Чикишева и др., 2014, с. 139].

Что же касается посмертных трепанаций, осуществленных способом сверления, то такие случаи также описаны на материалах Южной Сибири, Казахстана и Монголии. Рядом авторов изучены трепанированные черепа из погребений таштыкской культуры II в. до н.э. – V в. н.э. С.В. Киселев, исследуя памятники этого времени на Енисее, зафиксировал случаи посмертной трепанации в затылочной части. По его мнению, операции проводились для извлечения мозга и подготовки к мумификации трупов [Киселев, 1951, с. 403]. И.И. Гохман отметил, что в некоторых могильниках таштыкской культуры частота встречаемости трепанированных черепов достигает 80–90 %. Дефекты локализуются в затылочной области. Варианты трепанаций в каждом могильнике разные, что указывает на распространение специфических традиций [Гохман, 1989]. Посмертная трепанация зафиксирована С.И. Руденко во втором Пазырыкском кургане

V в. до н.э. и в Шибинском кургане II–I вв. до н.э. [1953, с. 342–360].

П. Боевым и О. Исмагуловым описан трепанированный череп мужчины из кургана могильника Карабие в Карагандинской обл. Казахстана. Погребение датировано V–III вв. до н.э. На задней части левой височной кости и на затылочной кости с левой стороны обнаружены шесть отверстий диаметром 7,0–7,5 мм, расположенных косо по направлению от верхнемедиальной к нижнемедиальной стороне черепной капсулы [Боев, Исмагулов, 1962].

А.Д. Грач выявил трепанацию на антропологических материалах саглынской культуры (V в. до н.э. – III в. до н.э.) из могильников Саглы-Бажи II и Мажалык-Ховузу I, II в Туве. Исследователь предположил, что операции проводились для извлечения мозга при бальзамировании трупов [Грач, 1980, с. 73–74].

Б. Наран и Д. Тумэн приводят описание черепа 47-4 (АТ-129) из Чандманьского (Улангом) могильника VII–III вв. до н.э. в Монголии. На своде обнаружено семь трепанационных отверстий. Несколько из них было высверлено. Больной умер во время операции, или трепанация была выполнена после его смерти [Наран, Тумэн, 1997, с. 126–127]. М.Б. Медникова исследовала краниологические серии позднетагарского времени из могильников Самохвал, Тагарский Остров и Казыл-Куль в Хакасии. На обширном антропологическом материале ею описаны посмертные трепанации, выполненные разными способами. Дефекты сильно различаются по форме [Медникова, 1997, с. 138]. Группой исследователей, изучавшей население Центрального Азии раннего железного века, описаны трепанации на 10 черепах, выполненные способом сверления. Во всех случаях дефекты локализованы на затылочной кости или задней части теменных. Количество перфораций на черепах варьирует от 1 до 15 [Китов, Китова, Орабай, 2016, с. 369–378].

Особый интерес по характеру проведения и технике исполнения трепанации на черепе представляют для нас две находки: череп мужчины 45–55 лет из могильника Каракемер в Центральном Казахстане [Китов, Бейсенов, 2015, с. 39] и череп женщины из кург. 1 сакского времени в урочище Каспан Жетысу (Алматинская обл., Республика Казахстан) [Бейсенов и др., 2018, с. 143]. В обоих случаях на месте операций отсутствуют следы репарационных процессов и воспалений. Эти два случая имеют сходство с обсуждаемой нами трепанацией черепа мужчины среднесарматского времени из могильника Барановка по таким критериям, как множественность отверстий, их размер, расположение по кругу, метод проведения манипуляции – сверление, характер дефектов, расположенных под различными углами, и последующее их соединение в общий трепанационный вход.

Большая часть исследователей, описавших посмертные трепанации на центрально-азиатских материалах, придерживаются мнения о том, что данная операция является подготовительной процедурой при мумификации или бальзамировании трупа [Руденко, 1953, с. 332; Грач, 1980, с. 73–74; Киселев, 1951, с. 403; Кызласов, 1960, с. 101; Китов, Китова, Орабай, 2016, с. 377]. Эта точка зрения имеет право на существование, в особенности в связи с широким распространением обрядов бальзамирования и мумифицирования покойников на территории Центральной и Средней Азии в раннем железном веке. В случае с антропологическими материалами из Нижнего Поволжья, среди которых выявлены черепа с признаками посмертных трепанаций, выполненных способом сверления, подобные объяснения неприемлемы. В погребениях раннего железного века на этой территории не обнаружено доказательств мумификации и бальзамирования трупов. Истоки обычая посмертных манипуляций с черепной коробкой у степных кочевников юга Восточно-Европейской равнины в I в. н.э., вероятнее всего, следует искать в культурах Центральной Азии эпохи раннего железа, общность которых с сарматскими подтверждается археологическими материалами [Скрипкин, 1992, с. 19–40; Яценко, 2006, с. 123–125]. Возможно, наряду с погребальными особенностями и инновациями южно-сибирского и центрально-азиатского происхождения в материальной культуре, зафиксированными в комплексах I–II и II–IV вв. н.э. в Нижнем Поволжье, мигрантами с востока были принесены и традиции, связанные с посмертной ритуальной трепанацией черепа.

Еще одним аргументом в пользу высказанного предположения является то, что все погребения среднесарматского времени, где были обнаружены черепа с перфорациями, можно охарактеризовать как элитные или неординарные. В двух случаях (могильники Перегрузное и Вербовский) это женские захоронения с богатым погребальным инвентарем, включающим золотые украшения, вооружение и предметы ритуально-магического назначения. Рассматриваемое погребение могильника Барановка, которое уже только по своей конструкции является далеко не рядовым, можно отнести к захоронениям воинов среднесарматского общества, о чем свидетельствуют размер кургана, глубина могильной ямы, наличие короткого меча и наконечника копья. В связи с этим укажем на результаты анализа погребений, где обнаружены костные останки людей с посмертными трепанациями в Центральной Азии. Так, по мнению С.И. Руденко, у носителей пазырыкской культуры трепанация черепа практиковалась исключительно в отношении влиятельных лиц, т.к. в рядовых захоронениях она не зафиксирована [1949]. А.З. Бейсенов и Е.П. Китов также указывают на высокий социальный статус индивидов с по-

смертной трепанацией черепа из погребений сакской эпохи в Центральном Казахстане. Авторы считают, что эти захоронения принадлежат элите тасмолинской общности [Бейсенов, Китов, 2014, с. 31].

Заключение

Впервые на краниологических материалах савроматского времени зафиксирован случай прижизненной хирургической операции с удачным исходом, а на среднесарматских описана посмертная трепанация черепа, выполненная методом сверления и прорезания. На черепной коробке молодого мужчины из могильника Быково осуществлена операция, назначением которой, вероятнее всего, было оказание медицинской помощи при травме. Оперативное вмешательство прошло удачно, и человек после проведенного лечения прожил достаточно долго.

На черепной коробке мужчины из могильника Барановка посмертно или предсмертно в ритуальных целях был выполнен целый комплекс манипуляций (сверление девяти отверстий, прорезание перемычек, выламывание костной пластины), значение которых в настоящий момент определить затруднительно. Наличие не до конца просверленных отверстий, их разный диаметр и наклон, специфическая форма перфорации в виде незаконченной сферы – все это, с одной стороны, может говорить о неопытности человека, проводившего данные манипуляции, с другой – о том, что они осуществлялись торопливо либо были выполнены в процессе тренировки навыков. Обращает на себя внимание и нехарактерная локализация трепанационного отверстия. Ближайшие аналогии трепанации височной области описаны М.Б. Медниковой на материалах из могильника Кызыл-Куль позднетагарского времени. Перфорации выполнены совершенно иными способом и техникой, но тоже посмертно и, вероятно, в ритуальных целях [Медникова, 2001, с. 212–217].

Попытка интерпретации трепанаций черепа у савромата и сармата из нижневолжских могильников заставляет нас обращаться к аналогиям, описанным на материалах Центральной Азии, Южной и Западной Сибири. Не вызывают сомнений восточные корни традиции посмертных ритуальных трепанаций у среднесарматского населения Нижнего Поволжья. Прямые аналоги известны в Центральном и Западном Казахстане. Что касается терапевтических операций савромато-сарматского времени, то, скорее всего, истоки данных навыков и знаний имеют юго-западное, античное происхождение. Они могли проникать на территорию Юго-Восточной Сибири и Центральной Азии в результате контактов античного и варварского (кочевого) миров.

Благодарности

Работа выполнена за счет грантов РФФИ (проект № 19-09-00471) и МГУ им. М.В. Ломоносова для поддержки ведущих научных школ МГУ «Депозитарий живых систем Московского университета» в рамках Программы развития МГУ. Выражаем благодарность доктору исторических наук, академику РАН, директору Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ А.П. Бужиловой за научное консультирование и возможность работы в фондах института и с оборудованием, приобретенным по Программе развития МГУ.

.

Список литературы

Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

Балабанова М.А. Методика палеоантропологических исследований: учеб.-метод. пособие. – Волгоград: Волгогр. гос. ун-т, 1998. – 84 с.

Бейсенов А.З., Китов Е.П. Посмертная трепанация черепов в элитных захоронениях сакской эпохи Центрального Казахстана // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2014. – № 4/2 (84). – С. 31–41.

Бейсенов А.З., Дуйсенбай Д.Б., Китов Е.П., Кулькова М.А. Исследования сакских курганов в урочище Каспан в Жетысу // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. – № 3. – С. 138–162.

Белова Л.И., Гуляева Е.Ш., Чернышева И.В. Исторические свидетельства о медицинской культуре народов Нижнего Поволжья с раннего железного века до распада Золотой Орды // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. – 2016. – № 3. – С. 204–209.

Боев П., Исмагулов О. Трепанированный череп из Казахской ССР // СЭ. – 1962. – № 2. – С. 131–132.

Гиппократ. Избранные книги. – М.: Гос. изд-во биол. и мед. лит., 1936. – 736 с.

Гохман И.И. Палеоантропология и доисторическая медицина // Антропология – медицине. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1989. – С. 5–16.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

Гуренко Л.В. Отчет о проведении археологических исследований в Кумылженском районе Волгоградской области (у станицы Глазуновской) в 1996 г. // Архив ВОКМ. № 205. – Из содерж.: Сидоров В.В. Акт судебно-медицинского исследования № 8. – С. 21–30.

Дворниченко В.В., Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки курганов в зоне строительства Калмыцко-Астраханской и Никольской рисовых оросительных систем // Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья. – М.: Наука, 1989. – С. 14–132.

Думка Н.С. О скифской медицине // Сов. здравоохранение. – 1956. – № 6. – С. 58–59.

Змеев Л.Ф. Чтения по врачебной истории России. – СПб.: [Тип. В. Демакова], 1896. – [4], 252 с.

Кириченко Д.А. О случаях трепанации у сарматских племен Евразии // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 2. – С. 112–119.

Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М.: Наука, 1951. – 644 с.

Китов Е.П., Бейсенов А.З. Черепа с трепанациями из курганов раннего железного века Сарыарки // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII: Антропология. – 2015. – № 1. – С. 37–48.

Китов Е.П., Китова А.О., Орабай Е. Посмертные манипуляции с костями человека (данные о мумификации) у населения Центральной Азии в раннем железном веке // Stratum plus: Археология и культурная антропология. – 2016. – № 3. – С. 369–380.

Кривошапкин А.Л., Чикишева Т.А., Зубова А.В., Курбатов В.П. Трепанации у населения Горного Алтая V–III века до н.э. // Вопр. нейрохирургии. – 2014. – Т. 78, № 3. – С. 62–71.

Кропотов В.В. Фибулы сарматской эпохи. – Киев: АДЕФ-Украина, 2010. – 384 с.

Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины (I в. до н.э. – V в. н.э.). – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1960. – 198 с.

Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. – 1948. – № 1. – С. 221–315.

Мамонтов В.И., Обраменко И.Е., Перерва Е.В. Трепанация черепа из захоронения среднесарматского времени с территории Волгоградской области // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII: Антропология. – 2018. – № 1. – С. 86–100.

Медникова М.Б. К вопросу о распространении посмертной трепанации черепов в Центральной Азии // РА. – 1997. – № 4. – С. 130–188.

Медникова М.Б. Трепанации у древних народов Евразии. – М.: Науч. мир, 2001. – 304 с.

Мирский М.Б. Медицина России X–XX веков: очерки истории. – М.: РОССПЭН, 2005. – 632 с.

Наран Б., Тумэн Д. Травматические повреждения на черепах Чандманьского могильника // РА. – 1997. – № 4. – С. 122–130.

Перерва Е.В. Случай трепанации у сарматов (по антропологическим материалам из могильника Перегрузное I) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII: Антропология. – 2012. – № 2. – С. 123–133.

Перерва Е.В., Березина Н.Я. Боевые столкновения: наконечники стрел в скелетах кочевников (по материалам сарматских погребений IV в. до н.э. – IV в. н.э.) // Палеоантропологические и биоархеологические исследования: традиции и новые методики. – СПб.: Лема, 2015. – С. 20–22.

Перерва Е.В., Клепиков В.М. Случай прижизненной ампутации предплечья у воина среднесарматского времени // КСИА. – 2018. – № 253. – С. 417–431.

Пиголкин Ю.И., Баринов Е.Х., Богомолов Д.В., Богомолова И.Н. Судебная медицина: учеб. – М.: ГЭОТАР-Мед, 2002. – 360 с.

Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. – М.; Л.: Наука, 1965. – 302 с.

Руденко С.И. Культура Алтая времени сооружения пазырыкских курганов // КСИИМК. – 1949. – Вып. XXVI. – С. 97–109.

Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

Рыков П.С. Археологические раскопки и разведки в Нижнем Поволжье и Уральском крае летом 1925 г. (предварительный отчет) // Изв. Краевед. ин-та изучения Южно-Волжской обл. при Саратов. гос. ун-те. – 1926. – Т. 1. – С. 89–134.

Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия: Проблемы хронологии, периодизации и этнополитической истории: науч. докл., представленный в качестве дис. … д-ра ист. наук. – М., 1992. – 46 с.

Смирнов К.Ф. Быковские курганы // Древности Нижнего Поволжья. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. II: Итоги работы Сталинградской археологической экспедиции. – С. 169–268. – (МИА; № 78).

Смольянинов В.М. Судебная медицина: учеб. для студентов мед. ин-тов. – М.: Медгиз, 1959. – 368 с.

Чикишева Т.А., Зубова А.В., Кривошапкин А.Л., Курбатов В.П., Волков П.В., Титов А.Т. Комплексное исследование трепанаций у ранних кочевников Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 1. – С. 130–141.

Яценко С.А. Костюм древней Евразии (ираноязычные народы). – М.: Вост. лит., 2006. – 664 с.

Brothwell D.R. Digging up Bones. – Third Ed. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1981. – 71 p.

Erdal Y.S., Erdal O.D. A Review of Trepanations in Anatolia with New Cases // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 2011. – Vol. 21. – P. 505–534.

Meindl R.S., Lovejoy C.O. Ectocranial Sature Closure: A revised Method for the Determination of Skeletal Age at Death Based on the Lateral-Anterior Sutures // Am. J. of Phys. Anthropol. – 1985. – Vol. 68. – P. 57–66.

Murphy E.M. Trepanations and Perforated Crania from Iron Age South Siberia: An Exercise in Differential Diagnosis // Trepanation: History, discovery, theory. – Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers, 2003. – P. 209–221.

Ortner D.J., Putschar W.G. Identification of pathological conditions in human skeletal remains // Smithonian contributions anthropological. – Wash.: Smithonian Institution Press, 1981. – N 28. – P. 57–59.

Материал поступил в редколлегию 02.07.19 г.,
в окончательном варианте – 20.08.19 г.

DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.149-156
УДК 572

А.В. Зубова[1], О.Л. Пихур[2, 3], А.В. Ободовский[4], А.А. Малютина[5], Л.М. Дмитренко[1], К.С. Чугунова[6], Д.В. Поздняков[7], В.Б. Бессонов[4]

[1]Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Университетская наб., 3, Санкт-Петербург, 199034, Россия
E-mail: zubova_al@mail.ru; jakovlevaljuba@mail.ru
[2]Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
пр. Динамо, 3, Санкт-Петербург, 197110, Россия
E-mail: pol0012@mail.ru
[3]Курский государственный медицинский университет
ул. К. Маркса, 3, Курск, 305041, Россия
[4]Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
ул. Профессора Попова, 5, Санкт-Петербург, 197022, Россия
E-mail: obodovsky@yandex.ru; vbbessonov@yandex.ru
[5]Институт истории материальной культуры РАН
Дворцовая наб., 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия
E-mail: kostylanya@yandex.ru
[6]Государственный Эрмитаж
Дворцовая наб., 34, Санкт-Петербург, 191181, Россия
E-mail: askachu@yandex.ru
[7]Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: dimolka@gmail.com

Случай хирургического удаления нижних третьих моляров в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина)

Статья посвящена анализу первого случая хирургического удаления нижних третьих моляров, зафиксированного в краниологической серии (XV–XVI вв. н.э.) из крепости Пукара-де-Тилкара в Северо-Западной Аргентине. Раскопки памятника проводились в 1908–1910 гг. В 1910 г. коллекция была передана по обмену в Кунсткамеру. Следы операции отмечены на нижней челюсти мужчины в возрасте ок. 40 лет, у которого были удалены оба третьих моляра. Хирургическое вмешательство включало в себя надрезание мягких тканей и нижнечелюстной кости и последующее извлечение зубов путем выбирания тканей и выскабливания стенок альвеолы полукольцевыми движениями. Результаты сканирующей электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеноспектрального микроанализа позволяют предполагать использование при операции каменного инструмента. Стоматологическое обследование челюсти с помощью компьютерной томографии показало, что причиной операции явилось обострение хронического периодонтита на фоне хронического генерализованного пародонтита и вероятного кариозного процесса. Левый моляр был удален без осложнений за два-три месяца до смерти индивида. С правой стороны продолжалось развитие патологического процесса в виде остеомиелита и его осложнений. Несмотря на высокую квалификацию хирурга, выполнявшего операцию, удаление правого моляра не привело к излечению пациента, заболевание закончилось летальным исходом. Причиной смерти стала деструктивная форма острого остеомиелита с осложнением в виде флегмоны челюстно-лицевой области. Результаты изучения данного случая позволяют предполагать опережающее развитие методов хирургических манипуляций в империи инков по сравнению с диагностическими.

Ключевые слова: *палеопатология, компьютерная томография, древняя хирургия, нижние третьи моляры, периодонтит, остеомиелит.*

© Зубова А.В., Пихур О.Л., Ободовский А.В., Малютина А.А., Дмитренко Л.М., Чугунова К.С., Поздняков Д.В., Бессонов В.Б., 2020

A.V. Zubova[1], O.L. Pikhur[2, 3], A.V. Obodovskiy[4], A.A. Malyutina[5], L.M. Dmitrenko[1], K.S. Chugunova[6], D.V. Pozdnyakov[7], and V.B. Bessonov[4]

[1]Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), Russian Academy of Sciences, Universitetskaya nab. 3, St. Petersburg, 199034, Russia
E-mail: zubova_al@mail.ru; jakovlevaljuba@mail.ru
[2]St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, Pr. Dinamo 3, St. Petersburg, 197110, Russia
E-mail: pol0012@mail.ru
[3]Kursk State Medical University, K. Marksa 3, Kursk, 305041, Russia
[4]St. Petersburg Electrotechnical University "LETI", Professora Popova 5, St. Petersburg, 197022, Russia
E-mail: obodovsky@yandex.ru; vbbessonov@yandex.ru
[5]Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, Dvortsovaya nab. 18, St. Petersburg, 191186, Russia
E-mail: kostylanya@yandex.ru
[6]State Hermitage Museum, Dvortsovaya nab. 34, St. Petersburg, 191181, Russia
E-mail: askachu@yandex.ru
[7]Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Pr. Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090, Russia
E-mail: dimolka@gmail.com

A Case of Surgical Extraction of the Lower Third Molars in a Cranial Series from the Pucará de Tilcara Fortress (Jujuy Province, Argentina)

This study analyzes the earliest known case of surgical extraction of the lower third molars observed in a cranial series from Pucará de Tilcara fortress (15th–16th centuries AD), northwestern Argentina, excavated in 1908–1910 and representing the Omaguaca Indians. Crania were shipped to the Kunstkamera in 1910 under an exchange project. Traces of dental surgery were registered in a mandible of a male aged ~40. Both third molars had been extracted after the removal of soft tissues and part of the alveoli. Teeth were extracted by scraping alveolar walls with semicircular movements. The results of scanning electron microscopy, X-ray fluorescence, and X-ray microanalysis suggest that a stone tool was used. The results of macroscopic and CT analysis suggest that the surgery was motivated by the aggravation of chronic generalized periodontitis and probably by caries. The left third molar was extracted without complications 2–3 months before the individual's death. On the right side, the pathological process continued, culminating in osteomyelitis and its complications. The surgeon's skill notwithstanding, the extraction of the right third molar did not cure the patient, who died, apparently following the destructive stage of acute osteomyelitis complicated by orofacial phlegmon. Our findings suggest that the level of dental surgery practiced in the Inca Empire was ahead of the diagnostic expertise.

Keywords: *Paleopathology, computed tomography, ancient surgery, lower third molars, periodontitis, osteomyelitis.*

Введение

Удаление зубов в терапевтических целях является одной из наиболее распространенных хирургических операций. В современных условиях для такого вмешательства существует множество медицинских показаний: перикорнит, периостит, пародонтит, хронический периодонтит и его обострения, аномальное положение третьих моляров в зубной дуге, опухоли и др. [Иорданишвили и др., 2016; Steed, 2014].

Первые известные случаи преднамеренного удаления зубов предположительно были выявлены уже в Древнем Египте [Forshaw, 2009, p. 482], но данных о распространенности подобных операций у доиспанского населения Нового Света ранее не было. Хотя известно, что древние цивилизации Южной Америки обладали достаточно глубокими для того времени медицинскими знаниями, позволявшими успешно выполнять сложные хирургические манипуляции [Marino, Gonzales-Portillo, 2000; Ortiz, Torres Pino, Orellana González, 2016], в палеопатологических работах, в которых описываются стоматологические практики инков, не представлено ни одного свидетельства удаления моляров в лечебных целях. У них были широко распространены прижизненные модификации зубов [Romero, 1970; Ubelaker, 1977, 1987], но преимущественно ритуальные. Случаев, когда реконструируемые манипуляции выполнялись с терапевтическими намерениями, достоверно описано только два. Оба происходят с территории Куско

(древняя столица инков в Перу) и представляют собой следы высверливания на верхних клыках, вероятно, для лечения кариеса [Ortiz, Torres Pino, Orellana González, 2016].

Нами были обнаружены явные следы преднамеренного хирургического удаления третьих моляров при обследовании краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара в Северо-Западной Аргентине. Этот памятник представляет собой укрепленное поселение индейцев омагуака и находится в центральной части долины Кебрада-де-Умауака, недалеко от места впадения р. Гуасамайо в р. Рио-Гранде. Оно образовалось в VIII в. н.э. при слиянии нескольких маленьких поселков в одну агломерацию [Handbook…, 2008, p. 587]. Постепенно поселение превратилось в укрепленный город, занимавший площадь 17,5 га, со средней численностью населения чуть более 1 600 чел. [Zaburlín, 2010, p. 197]. Он достиг своего расцвета в XI–XVI вв., когда крепость являлась одним из главных центров империи инков [Greco, Otero, 2015]. В 1536 г. город был захвачен испанскими конкистадорами и прекратил свое существование.

В начале XX в. руины Пукара-де-Тилкара были обнаружены аргентинским археологом Х.Б. Амбросетти [Zaburlín, Otero, 2014]. По современным данным, они включали в себя 588 жилых строений, от которых остались основания стен, выложенные из камня. В некоторых случаях к жилищам примыкали открытые пространства, служившие, видимо, внутренними дворами [Otero, 2013, fig. 1]. С южной, восточной и западной стороны к крепости примыкало три некрополя. Нередко также погребения находились на территории внутренних двориков, вынесенные в угловые или пристенные части и отделенные полукруглыми каменными оградками [Debenedetti, 1930, p. 47, 52, 53]. Захоронения были как одиночные, так и коллективные (до восьми погребенных) со скорченным на боку или на спине трупоположением. Для них характерны полукруглая или круглая каменная кладка, наличие в могилах большого количества керамических сосудов различной формы, предметов из дерева, кости, рога и меди.

Первые раскопки на памятнике начались в 1908 г. и продолжались на протяжении трех сезонов. В 1908–1910 гг. Х.Б. Амбросетти и его учеником С. Дебендетти был раскопан небольшой участок в северо-западной части памятника, функционировавшей в поздний период его существования, после завоевания инками (конец XV – XVI в.) [Zaburlín, Otero, 2014, p. 212]. В 1910 г. 147 археологических артефактов и антропологическая коллекция из этих захоронений, состоящая из 20 черепов с искусственной деформацией, были приобретены Кунсткамерой в результате обмена экспонатами с Этнографическим музеем Буэнос-Айреса [Дмитренко, 2016].

В 2018 г. началось палеопатологическое изучение этой коллекции, в процессе которого и были выявлены следы хирургической операции на нижней челюсти. В данной статье обсуждаются медицинский диагноз, послуживший причиной удаления нижних третьих моляров у одного из жителей Пукара-де-Тилкара, технология выполнения операции и ее последствия.

Материалы и методы

Повреждения, свидетельствующие о выполнении операции по удалению нижних третьих моляров, были отмечены на нижней челюсти индивида № 5148-9, мужчины в возрасте ок. 40 лет (рис. 1). Возраст погребенного определялся на основании степени облитерации швов эндокрана и экзокрана с учетом возможных нарушений порядка и скорости их зарастания, вызванных преднамеренной деформацией черепной коробки [Gerszten, 1993]. Также учитывалась степень стертости эмали зубов и изношенности височно-нижнечелюстного сустава. Пол определялся на основании особенностей строения затылочной области, надбровья, надпереносья, сосцевидных отростков и нижней челюсти [Алексеев, Дебец, 1964, с. 29–40; Standards…, 1994, p. 16–21].

Череп хорошей сохранности имеет незначительные посмертные утраты: отсутствует правая скуловая дуга и обломаны края носовых косточек (рис. 1). Нижняя челюсть распалась на два фрагмента, реставрирована. В процессе археологизации на ней были утеряны все резцы, оба клыка и первые премоляры, а на верхней – оба центральных резца и левый второй.

На нижней челюсти зафиксированы порезы и другие повреждения, нанесенные при удалении третьих моляров. Для реконструкции последовательности действий хирурга при проведении операции эти повреждения были изучены в экспериментально-трасологической лаборатории Института истории материальной культуры РАН при помощи бинокулярного микроскопа МБС-9 (косое освещение, увеличение до ×98). Для их мультифокусной фотофиксации использовалась программа CANON EOS Utility, для получения результирующего изображения – Helicon Focus 5.2.

С целью определения материала, из которого был изготовлен инструмент, использовавшийся при удалении моляров, в отделе научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа были проведены оптико-микроскопическое обследование поверхности альвеолярных ячеек, сканирующая электронная микроскопия, рентгенофлюоресцентный анализ и рентгеноспектральный микроанализ. Для оптико-микроскопического обследования использовались микроскопы Leica M60, Zeiss Stemi 508. Электронная микроскопия выполнялась при помощи растро-

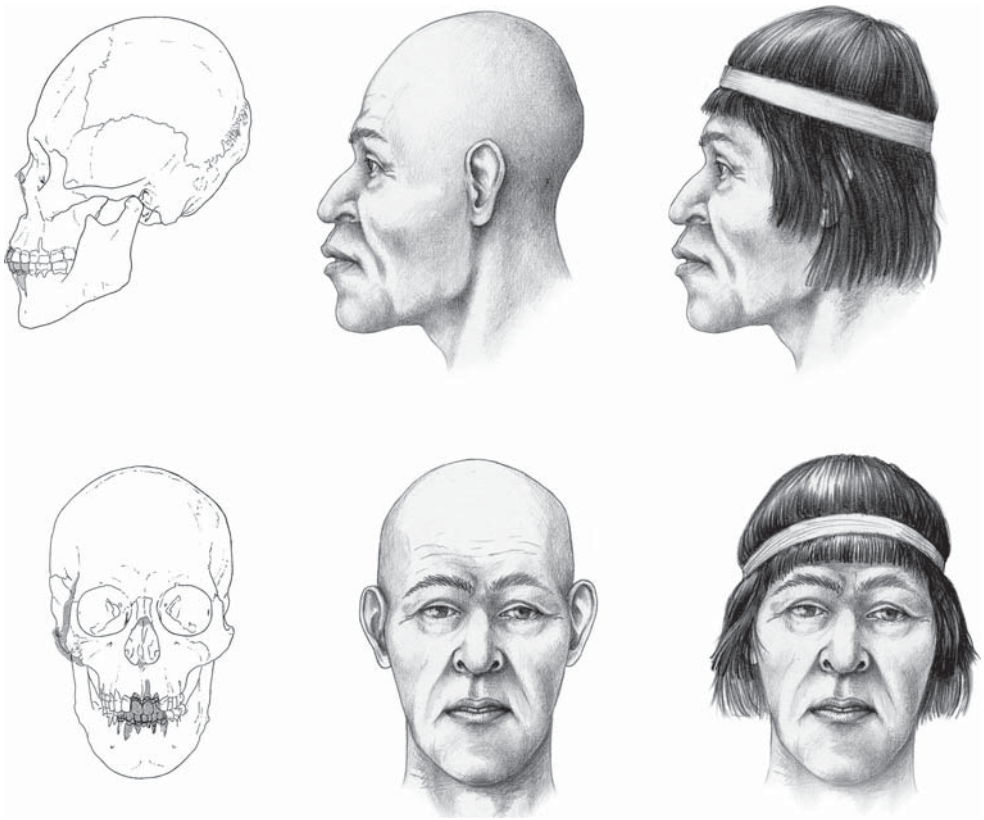

Рис. 1. Череп (серым цветом обозначены утраты) и реконструкция внешности индивида.

вого сканирующего электронного микроскопа Zeiss EVO-MA-25 при следующих условиях: U = 20 кВ, WD = 30÷401 мм, режим низкого вакуума для непроводящих образцов. Для рентгенофлуоресцентного анализа использовался μXRF-спектрометр ArtTAX (RÖNTEC, Bruker). Условия его проведения: U = 50 кВ, I = 700 мкА, время накопления спектра 40 с; материал анода рентгеновской трубки – молибден. Рентгеноспектральный микроанализ выполнялся на SEM-EDX-анализаторе Oxford Instruments X-MaxN 80.

Для диагностики патологии, послужившей показанием к операции, была обследована зубочелюстная система индивида. Визуальное обследование проводилось с учетом опубликованных протоколов [Aufderheide, Rodríguez-Martín, Langsjoen, 1998; Orthner, Putschar, 1985]. На экспериментальном томографе МРСТ-04, разработанном в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете им. В.И. Ульянова (ЛЭТИ), была выполнена компьютерная томография нижней челюсти. Режим сканирования: напряжение на трубке 140 кВ, сила тока 50 мА, без фильтра, толщина среза 0,1 мм. Изображения обрабатывались при помощи экспериментального программного обеспечения, разработанного в ЛЭТИ, с применением мультипланарной (MPR) и объемной (VR) реконструкции.

Результаты и обсуждение

Реконструкция процесса операции. Свидетельства преднамеренного удаления зубов зафиксированы в области обоих нижних третьих моляров. На верхнем краю левой альвеолы с вестибулярной стороны наблюдается повреждение в виде прямого среза, с помощью которого была удалена часть кости (рис. 2). Облитерация края разреза в процессе заживления не позволяет полностью реконструировать его форму и протяженность. Глубина, на которую удалялась кость, не превышала 1,5 мм. С лингвальной стороны зафиксировано отсутствие стенки альвеолы до глубины 5–7 мм от края, но следы заживления не позволяют определить наличие или отсутствие свидетельств ее надрезания или непреднамеренного повреждения в процессе экстракции моляра. По краям альвеолы наблюдается интенсивное образование новой кости, ячейка заполнена губчатой тканью. Это свидетельствует о том, что зуб был удален минимум за два-три месяца до смерти индивида.

В альвеоле правого третьего моляра следы заживления отсутствуют. Это позволило детально реконструировать процесс выполнения операции. Следы предварительной разметки контура раны не зафиксированы. Первоначальное проникновение орудия в кость осуществлялось рядом с дистально-вести-

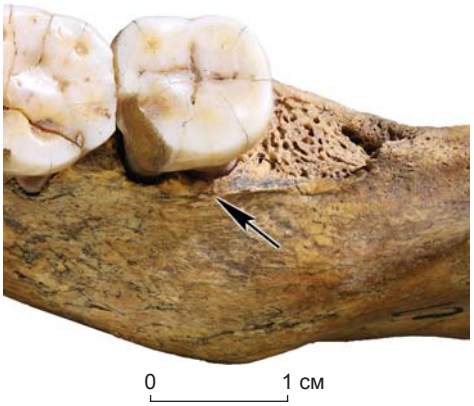

Рис. 2. Следы разреза и внешний вид альвеолы нижнего левого третьего моляра.

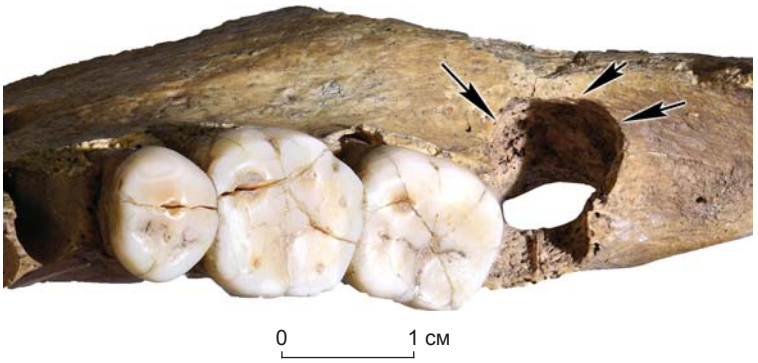

Рис. 3. Следы разрезов на стенках альвеолы нижнего правого третьего моляра.

булярным углом второго моляра, где присутствует вмятина от касания кончиком прямо или чуть под наклоном расположенного острия. Альвеола была хирургически расширена в вестибулярном направлении примерно на 4 мм в мезиальной части и на 5 мм в дистальной путем удаления части нижнечелюстной кости. Макро- и микроскопический анализ поверхности кости показал присутствие разреза с острыми краями, выполненного от мезиально-вестибулярного угла альвеолы в вестибулярном направлении, затем по направлению к ветви челюсти, далее в лингвальном направлении до центра дистальной стенки альвеолы (рис. 3). После прорезания контура производилось выбирание или выскабливание кости и мягких тканей полукольцевыми надрезами, оставившими на внутренней поверхности вестибулярной стенки альвеолы короткие борозды (рис. 4). Оптимальное положение пациента, при котором возможно выполнение разрезов в такой последовательности, – лежа на левом боку, спиной к хирургу. После углубления в нижнечелюстную кость до 1 см зуб был удален из ячейки.

Операционный инструмент. В период, к которому относятся черепа из коллекции МАЭ РАН, обитатели долины Кебрада-де-Умауака уже переняли у инков навыки проведения достаточно сложных медицинских операций, таких как трепанация черепа, вскрытие нагноений, выполнение надрезов для удаления змеиного яда из ран и др. [Handbook…, 1946, p. 55–56, 637–638]. Использовавшийся ими хирургический инструментарий в целом соответствовал тому, который встречается в других инкских комплексах. На археологических памятниках того времени в Северо-Западной Аргентине (омагуака, кальчаки) найдены металлические ножи туми, применявшиеся для снятия кожи с головы в ритуальных либо медицинских целях, и обсидиановые ножи («escapelos» или «pedernales»), которыми делали разрезы на коже и кости [Marino, Gonzales-Portillo, 2000, p. 947–948].

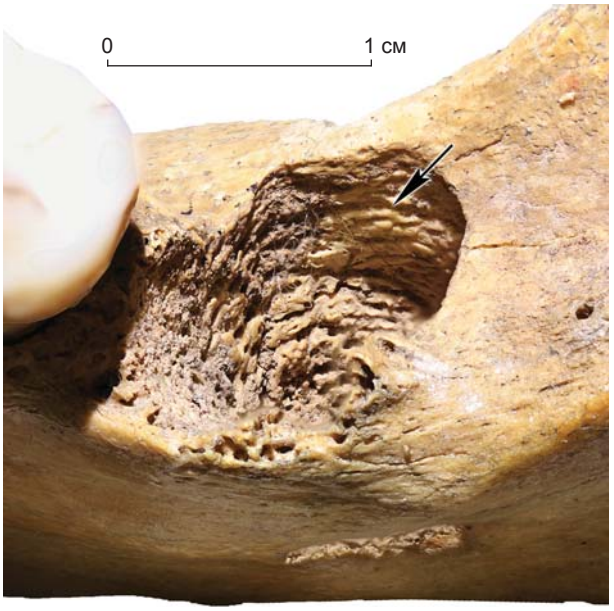

Рис. 4. Следы выскабливания на вестибулярной стенке альвеолы правого третьего моляра.

Размеры операционного отверстия и длина срезов позволяют предполагать, что все действия в процессе операции могли быть выполнены тонким режущим орудием с шириной рабочей части лезвия не более 4–5 мм. В археологических коллекциях из Тилькары, хранящихся в МАЭ РАН, представлено только два вида предметов, которые потенциально соответствуют этим характеристикам: медные пластинки и орудия из обсидиана (рис. 5), по форме и размерам схожие с некоторыми инструментами, использовавшимися инкскими хирургами [Ibid., fig. 17].

Более вероятным представляется проведение операции обсидиановыми орудиями, поскольку по результатам оптической и электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеноспектрального

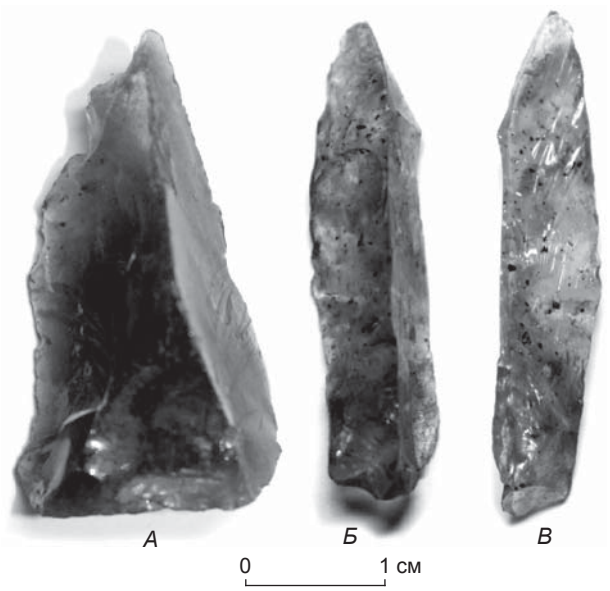

Рис. 5. Орудия из обсидиана, обнаруженные при раскопках крепости Пукара-де-Тилкара.
А – МАЭ, № 1800-129 (16); *Б* – МАЭ, № 1800-129 (27); *В* – МАЭ, № 1800-129 (28).

микроанализа следы древнего металла на поверхностях, доступных для обзора, не зафиксированы. Нужно отметить, что сложная геометрия челюсти и глубина альвеолярной ячейки затруднили доступ к области с предполагаемыми следами хирургического инструмента без нарушения целостности предмета: полезный сигнал частично перекрывался и/или рассеивался. Соответственно, он мог быть искажен, и интерпретировать отсутствие следов металла нужно с осторожностью. Тем не менее гипотеза о выполнении операции каменным инструментом выглядит, на наш взгляд, оправданной, поскольку следы современных медицинских инструментов, использованных при очистке и зондировании травматического дефекта, на краях и внутренней поверхности альвеолы фиксируются отчетливо. Они представляют собой частички никелированной стали, которые на изображении в отраженных электронах контрастно выделяются белым цветом.

Показания к операции. Для диагностики патологии, послужившей показанием к операции, и определения причины смерти индивида была выполнена оценка общего состояния его зубочелюстной системы. Зубная дуга верхней челюсти имела вытянутую форму с сужением в передней части, нижней – U-образную. Несмотря на имеющиеся посмертные утраты зубов, реконструкция характера смыкания зубных рядов позволила установить открытый прикус: верхние резцы и клыки при жизни индивида сильно выступали вперед и не смыкались с нижними. Моляры и премоляры нижней и верхней челюсти имели фиссурно-бугорковый контакт. Верхние третьи моляры нормально сформировались и порезались в зубном ряду. Положение альвеол одноименных зубов нижней челюсти и контактных фасеток на дистальных интерпроксимальных поверхностях коронок соседних моляров свидетельствует о том, что нижние третьи моляры также нормально сформировались, прорезались в зубной дуге в срок и имели функциональную ценность на протяжении жизни индивида. Это исключает из числа вероятных показаний к операции аномалии их прорезывания.

Ни на одном из сохранившихся у индивида зубов не наблюдается признаков образования крупных кариозных полостей и развития осложнений в виде пульпита и периодонтита. На верхних третьих молярах в центральных ямках жевательной поверхности присутствует начальный кариес. Нижние одноименные зубы утрачены, но теоретически на них могли быть средние или глубокие кариозные поражения. Высокоуглеводная диета индивида, отсутствие должного гигиенического ухода за полостью рта и анатомические особенности расположения нижних третьих моляров являются предрасполагающими факторами развития кариеса на этих зубах, так же как и на их антагонистах.

На большинстве зубов обеих челюстей отмечены незначительные отложения зубного камня, локализованные преимущественно в межзубном пространстве. Тем не менее можно предполагать, что у индивида был нарушен нормальный баланс микрофлоры полости рта, т.к. у него наблюдаются признаки хронического генерализованного пародонтита I–II степени. Корни всех зубов выступают из альвеолярных ячеек на 1,5–2,5 мм, наблюдается выраженная порозность небных костей. На альвеолярных перегородках между верхними первыми и вторыми молярами и вокруг нижних вторых моляров отмечены следы воспалительной реакции. Это позволяет предполагать, что воздействие на организм индивида неблагоприятных условий окружающей среды (переохлаждение, инфекция, травма, психологический стресс и др.) могло приводить к снижению иммунитета и обострению хронического пародонтита.

Томография нижней челюсти показала расширение альвеолы левого третьего моляра и следы воспаления в его корневой части. В апикальной области наблюдается резорбция дна альвеолы, свидетельствующая о развитии периодонтита. Он мог являться осложнением кариеса, перешедшего в хронический пульпит, и сопровождаться проникновением инфекции в нижнечелюстную кость в области корня зуба при обострении. Процесс развивался на фоне хронического пародонтита. Большое значение в развитии патологии играет состояние общих защитных сил организма, а они, вероятно, были снижены. На томограмме нижнечелюстной кости фиксируются следы свищевого канала, уходящего от дна альвеолы в тело челюсти (рис. 6). Процесс мог протекать долгое время хронически, а затем иметь обо-

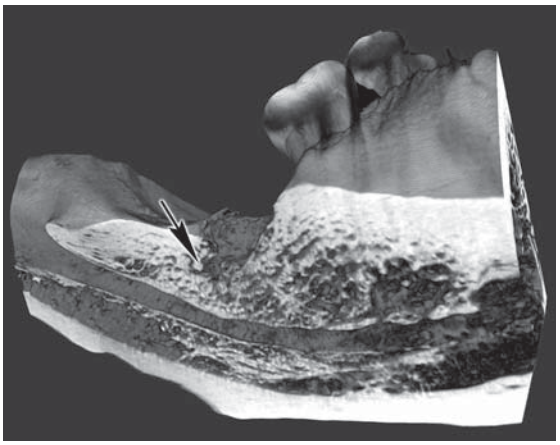

Рис. 6. Резорбция дна альвеолы левого третьего моляра.

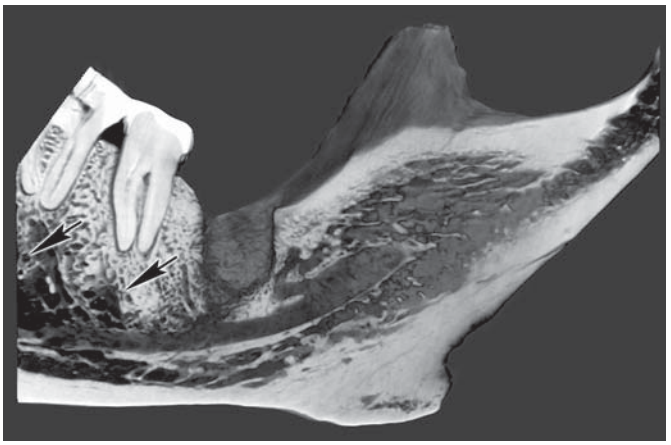

Рис. 7. Секвестры в области корней правых нижних моляров.

стрение и сопровождаться сильной болью, отеком мягких тканей. Это послужило причиной хирургического вмешательства, и зуб был удален до того, как инфекция распространилась дальше на нижнечелюстной канал и тело нижней челюсти. Операция прошла успешно, следы воспаления, которые могли бы свидетельствовать об инфицировании раны или постоперационных осложнениях, отсутствуют.

На правой стороне нижней челюсти ситуация выглядит не столь благополучно. На всех внутренних поверхностях альвеолы третьего моляра, не подвергшихся выскабливанию, наблюдается порозность, свидетельствующая о воспалении. По-видимому, развитие хронического периодонтита на третьих молярах на фоне хронического генерализованного пародонтита началось одновременно с обеих сторон. Слева явления воспаления (боль и отек) были сильнее, и левый моляр удалили раньше. С правой же стороны на протяжении месяцев продолжалось развитие патологического процесса, вследствие чего произошли более значительные изменения. Судя по томограмме челюсти, обострение хронического периодонтита правого третьего моляра привело к сильным воспалительным явлениям. Стенки альвеолы не несут следов резорбции. Воспаление регистрируется только в области апекса, где сформировался его очаг в виде кистогранулемы. Это привело к резорбции костной ткани дна альвеолы и развитию одонтогенного остеомиелита нижней челюсти в деструктивной форме, о чем свидетельствуют регистрируемые на томограмме секвестры в районе корней правых нижних моляров, доходящие до нижнечелюстного канала (рис. 7).

На внутренней поверхности тела челюсти в области, соответствующей положению верхушки корня правого третьего моляра, расположено выходное отверстие свищевого канала диаметром 7,75 мм, окруженное следами воспалительной реакции. Это наряду с наличием секвестра между альвеолой и нижнечелюстным каналом свидетельствует о распространении инфекции далеко за пределы первоначального очага. Она проникла в кровеносную систему и мягкие ткани челюстно-лицевой области, что, скорее всего, привело к формированию флегмоны или абсцесса. Вероятные клинические проявления развития заболевания – высокая температура тела, озноб, общая слабость, боль, отек и покраснение мягких тканей правой стороны лица, формирование свищей с гнойным экссудатом, контрактура жевательных мышц (затрудненное открывание рта). Для избавления от этих симптомов моляр удалили. Но поскольку операция была выполнена спустя слишком длительное время после начала патологического процесса, что привело к непоправимым травматическим изменениям, она не оказала должного терапевтического воздействия, и клинический случай закончился летальным исходом. Об этом свидетельствует отсутствие следов заживления на операционном поле и выходном отверстии свищевого канала.

Заключение

Проведенный анализ следов хирургических манипуляций, связанных с необходимостью удаления нижних третьих моляров во избежание вероятных осложнений кариозного процесса в виде хронического периодонтита, еще раз подтвердил высокий уровень развития медицинских знаний у хирургов империи инков. Хотя индивид скончался сразу после второй операции, можно отметить хорошее качество выполнения хирургических вмешательств. Несмотря на сложность доступа к нижним третьим молярам и частичное перекрывание их ветвью челюсти, хирургу удалось избежать таких осложнений, как переломы стенки альвеолы и тела нижней челюсти или травмы височно-нижнечелюстного

сустава, риск которых довольно высок даже в современных условиях [Deliverska, Petkova, 2016].

Показанием к операции послужило обострение хронического периодонтита, что часто является причиной хирургического вмешательства и в наши дни. Удаление зубов выполнялось в два этапа, очевидно, врачом учитывалась необходимость восстановления организма после первого вмешательства для благополучного исхода второй операции. Один из двух зубов был удален без осложнений. Однако, несмотря на наличие у древних врачей Южной Америки высокоразвитой по меркам того времени системы медицинских знаний, методы хирургических манипуляций, видимо, развивались быстрее диагностики. Причиной смерти индивида стал слишком длительный промежуток времени между удалением левого и правого нижних моляров, недооценка степени тяжести патологического процесса, осложнившегося остеомиелитом, и, по всей видимости, отсутствие действенных фармакологических средств для борьбы с инфекцией. Предполагается, что как минимум в древнем Перу инкские врачи понимали природу некоторых инфекционных заболеваний и широко использовали в медицинских целях лекарственные растения [Marino, Gonzales-Portillo, 2000]. Но либо действенность известных на тот момент средств была недостаточной для лечения запущенных гнойных одонтогенных воспалений, либо врачи из Тилкары их не знали и не смогли оказать пациенту своевременную помощь.

Благодарность

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 18-00-00360 КОМФИ, 18-00-00511 КОМФИ, 18-00-00350 КОМФИ.

Список литературы

Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

Дмитренко Л.М. Коллекция керамики индейцев кальчаки в собрании МАЭ РАН // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2015 г. – СПб.: МАЭ РАН, 2016. – С. 99–108.

Иорданишвили А.К., Пономарев А.А., Коровин Н.В., Гайворонская М.Г. Частота и структура осложнений после удаления зубов мудрости нижней челюсти // Мед. вестн. Башкортостана. – 2016. – Т. 11, № 2. – С. 71–73.

Aufderheide A.C., Rodríguez-Martín C., Langsjoen O. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. – 498 p.

Debenedetti S. Las Ruinas de Pucará de Tilcara. Archivos del Museo Etnográfico II, Primera Parte. – Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1930. – 142 p.

Deliverska E.G., Petkova M. Complications after extraction of impacted third molars – literature review // J. of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers). – 2016. – Vol. 22, iss. 3. – P. 1202–1211.

Forshaw R.J. The practice of dentistry in ancient Egypt // British Dental J. – 2009. – Vol. 206, iss. 9. – P. 479–484.

Gerszten P. An Investigation into the Practice of Cranial Deformation among the Pre-Columbian Peoples of Northern Chile // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 1993. – Vol. 3. – P. 87–98.

Greco C., Otero C. The chronology of settlements with pre-inca and inca occupations superimposed: the case of Pucará de Tilcara (Humahuaca Gorge, Argentina) // Archaeometry. – 2015. – Vol. 58, iss. 5. – P. 848–862.

Handbook of South American Indians. – Wash.: Government printing office, 1946. – Vol. 2: The Andean civilizations. – 1935 p. – (Smithsonian institution bureau of American ethnology; bull. 143).

Handbook of South American Archaeology. – Wash.: Springer, 2008. – 1191 p.

Marino R., Gonzales-Portillo M. Pre-conquest Peruvian neurosurgeons: a study of Inca and pre-Columbian trephination and the art of medicine in ancient Peru // Neurosurgery. – 2000. – Iss. 47. – P. 940–950.

Ortiz A., Torres Pino E.C., Orellana González E. First evidence of pre-Hispanic dentistry in South America – Insights from Cusco, Peru // Homo. – 2016. – Vol. 67, N 2. – P. 100–109.

Ortner D.J., Putschar W.G.H. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. – Wash.: Smithsonian Institution Press, 1985. – 645 p.

Otero C. La arqueología en el relato oficial delestado nacional. El caso del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana. – 2013. – Vol. 6, N 1/2. – P. 87–111.

Romero J. Dental mutilation, trephination and cranial deformation // Handbook of Middle American Indians. – Austin: University of Texas Press, 1970. – Vol. 9: Physical Anthropology / ed. T.D. Stewart. – P. 50–67.

Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains / eds. J.E. Buikstra, D.H. Ubelaker. – Fayetteville: Arkansas Archaeological Survey, 1994. – 272 p. – (Arkansas Archaeological Survey Research Ser.; N 44).

Steed M.B. The indications for third-molar extractions // J. of Am. Dental Association. – 2014. – Vol. 145, iss. 6. – P. 570–573.

Ubelaker D.H. Drilled human teeth from the coast of Ecuador // J. of the Washington Academy of Scienses. – 1977. – Vol. 67. – P. 83–85.

Ubelaker D.H. Drilled alteration in prehistoric Ecuador: a new example from Jama-Coaque // J. of the Washington Academy of Scienses. – 1987. – Vol. 77. – P. 76–80.

Zaburlín M.A. Arquitectura y organización urbana en el sitio del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // El hábitat prehispánico: Arqueología de la Arquitectura y de la construcción del espacio organizado. – San Salvador de Jujuy: Universidad National de Jujuy, 2010. – P. 187–207.

Zaburlín M.A., Otero C. Un manuscrito olvidado de J.B. Ambrosetti: “Exploraciones arqueológicas en la Antigua ciudad del Pukará de Tilcara” // Investigaciones del Instituto Interdisciplinario Tilcara. – Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2014. – P. 161–220.

Материал поступил в редколлегию 23.10.19 г.

АО – Археологические открытия

АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа

БНЦ СО РАН – Бурятский научный центр Сибирского отделения РАН

ВДИ – Вестник древней истории

ВСОИРГО – Восточно-Сибирское отделение Императорского Русского географического общества

ДВО РАН – Дальневосточное отделение РАН

ВОКМ – Волгоградский областной краеведческий музей

ИА НАН – Институт археологии Национальной академии наук Украины

ИА РАН – Институт археологии РАН

ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

ИИМК – Институт истории материальной культуры РАН (АН СССР)

ИИФФ СО АН СССР – Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР

КСИА – Краткие сообщения Института археологии РАН

КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР

МАЭ – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (АН СССР)

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР

НАНА – Национальная академия наук Азербайджана

РА – Российская археология

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы

СА – Советская археология

САИ – Свод археологических источников

СЭ – Советская этнография

ТИАМЗ – Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

ЦВРК ИМБТ СО РАН – Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН

ЦГА РУз – Центральный государственный архив Республики Узбекистан

ЮНЦ РАН – Южный научный центр РАН

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ

CNRS – Centre national de la recherche scientifique

Астафьев А.Е. – сотрудник Мангистауского историко-культурного заповедника, Казахстан. Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы, 3-ші шағынаудан, 66, Ақтау, 130001, Қазақстан Республикасы. E-mail: aasta@list.ru

Бадмаев А.А. – доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: badmaevaa@ngs.ru; https://orcid.org/0000-0002-9525-4366

Балюнов И.В. – кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, Красная пл., 1, стр. 4, Тобольск, 626152, Россия. E-mail: balyunoff@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-7733-7504

Батченко В.С. – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института российской истории РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия. E-mail: vik-batchenko@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0001-9658-0596

Бауло А.В. – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: bau194@yandex.ru; http://orcid.org/0000-0001-8379-3760

Беляев Л.А. – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, заведующий отделом Института археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия; ведущий научный сотрудник Томского государственного университета, пр. Ленина, 34, Томск, 634050, Россия. E-mail: labeliaev@bk.ru; https://orcid.org/0000-0001-6825-4988

Березина Н.Я. – кандидат биологических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского института и Музея антропологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ул. Моховая, 11, Москва, 125009, Россия. E-mail: berezina.natalia@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-5704-9153

Бессонов В.Б. – кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, ул. Профессора Попова, 5, Санкт-Петербург, 197022, Россия. E-mail: vbbessonov@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0001-9009-1011

Богданов Е.С. – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: bogdanov@archaeology.nsc.ru; https://orcid.org/0000-0001-7073-8914

Гасымов П.П. – заведующий отделом Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu, pr. H. Cavid, 115, Baki, AZ1143, Azərbaycan. E-mail: parviz.pashaoglu@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-0193-086X

Гнездилова И.С. – младший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: gnezdilova06@mail.ru; https://orcid.org/0000-0003-3318-0848

Дмитренко Л.М. – младший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Университетская наб., 3, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: jakovlevaljuba@mail.ru; https://orcid.org/0000-0003-1748-0138

Зубова А.В. – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Университетская наб., 3, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: zubova_al@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-7981-161X

Кореневский С.Н. – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия. E-mail: Skorenevskiy@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0003-4550-1143

Кривошеев М.В. – кандидат исторических наук, начальник лаборатории Волгоградского государственного университета, Университетский пр., 100, Волгоград, 400062, Россия. E-mail: tyaf@mail.ru; https://orcid.org/0000-0003-4847-8209

Маликов А.М. – кандидат исторических наук, старший исследователь Университета Палацкого в Оломоуце, Чешская Республика. Univerzita Palackého, Křižkovského, 511/8, Olomouc, 77147, Česká Republika. E-mail: azimmal2018@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-0173-2014

Малышев А.А. – кандидат исторических наук, заведующий отделом Института археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия. E-mail: maa64@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-3607-1674

Малютина А.А. – младший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, Дворцовая наб., 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия. E-mail: kostylanya@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-0964-2611

Медведев В.Е. – доктор исторических наук, заведующий сектором Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: medvedev@archaeology.nsc.ru; https://orcid.org/0000-0002-4087-0364

Моргунова Н.Л. – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Оренбургского государственного педагогического университета, ул. Советская, 19, Оренбург, 460014, Россия. E-mail: nina-morgunova@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-8091-7411

Наглер А.О. – доктор наук, научный сотрудник Германского археологического института, Германия. Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung, Im Dol 2–6, Haus 2, 14195, Berlin, Deutschland. E-mail: anatoli.nagler@dainst.de

Нестеркина А.Л. – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: a.l.subbotina@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-3703-1527

Ободовский А.В. – кандидат технических наук, ассистент кафедры Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, ул. Профессора Попова, 5, Санкт-Петербург, 197022, Россия. E-mail: obodovsky@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0003-0786-5683

Овсянников А.А. – независимый исследователь, Казахстан. Шығыс-1 шағын ауданы, 10, пәтер 135, Қарағанды қаласы, 100029, Қазақстан Республикасы. E-mail: ovsbigi@mail.ru

Перерва Е.В. – кандидат исторических наук, начальник отдела Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ул. Гагарина, 8, Волгоград, 400066, Россия. E-mail: perervafox@mail.ru; https://orcid.org/0000-0001-8285-4461

Пихур О.Л. – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, пр. Динамо, 3, Санкт-Петербург, 197110, Россия; доцент Курского государственного медицинского университета, ул. К. Маркса, 3, Курск, 305041, Россия. E-mail: pol0012@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-4046-1915

Поздняков Д.В. – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: dimolka@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-7984-0912

Руденко К.А. – доктор исторических наук, профессор Казанского государственного института культуры, Оренбургский тракт, 3, Казань, 420059, Россия. E-mail: murziha@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-4067-9287

Рыблова М.А. – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Южный научный центр РАН», пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону, 400131, Россия. E-mail: ryblova@mail.ru.; https://orcid.org/0000-0003-1451-2579

Соловьев А.И. – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: easolovievy@mail.ru; https://orcid.org/0000-0003-3891-8944

Соловьева Е.А. – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: easolovievy@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-3481-7292

Усманова Э.Р. – научный сотрудник Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова, Казахстан. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Университет көшесі, 28, Қарағанды қаласы, 100028, Қазақстан Республикасы. E-mail: emmadervish2004@mail.ru; https://orcid.org/0000-0003-1625-5086

Филатова И.В. – кандидат исторических наук, доцент Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, ул. Кирова, 17, корп. 2, Комсомольск-на-Амуре, 681000, Россия. E-mail: inga-ph@mail.ru; https://orcid.org/0000-0001-6945-9096

Хохлова О.С. – доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН», ул. Институтская, 2, Пущино, 142290, Россия. E-mail: olga_004@rambler.ru; https://orcid.org/0000-0002-8989-9395

Чехановец Я. – доктор философии, старший научный сотрудник Управления древностей Израиля, Израиль. Israel Antiquities Authority, P.O.B. 586, Jerusalem, 91004, Israel. E-mail: yanatchk@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-8427-0742

Чечушков И.В. – доктор философии, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, ул. Софьи Ковалевской, 16, Екатеринбург, 620990, Россия. E-mail: chivpost@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-5096-2978

Чугунова К.С. – старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, Дворцовая наб., 34, Санкт-Петербург, 191181, Россия. E-mail: askachu@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0003-0868-4630

Юдин А.И. – доктор исторических наук, заместитель директора Научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия, ул. Глебучев Овраг, 492, Саратов, 410003, Россия. E-mail: Aleyudin@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0003-1901-1001